С.П. Мельгунов

АЛЕКСАНДР I
СФИНКС НА ТРОНЕ

Тайны Российской Империи

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Согласно официальной версии, император Александр I умер во время путешествия по России от стремительно развивавшейся болезни. Однако если попытаться внимательно рассмотреть события в жизни императора и его взаимоотношения со своими приближенными, то картина складывается совершенно иная. В своей работе известный историк С. П. Мельгунов пытается ближе подойти к разгадке царской трагедии путем детального описания лиц Александровской эпохи — тех, с которыми он замышлял либеральные реформы, и тех, кто оказался его соратниками в период переоценки его взглядов. Автор приходит к сенсационным выводам…

- С. П. Мельгунов
  - «ДНЕЙ АЛЕКСАНДРОВЫХ ПРЕКРАСНЫЕ НАЧАЛА»
  - ОТ АВТОРА
  - ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I, СФИНКС НА ПРЕСТОЛЕ
    - I
    - II
  - МЕЛОЧИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ
    - 1. АЛЕКСАНДР I И ЖЕНЩИНЫ[43]
      - I
      - II
    - 2. БЫЛ ЛИ АЛЕКСАНДР I КАТОЛИКОМ[57]
    - 3. АЛЕКСАНДР I – ФЕОДОР КУЗЬМИЧ[60]
  - В ЭПОХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
    - ВОЖДИ АРМИИ[62]
    - БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ И БАГРАТИОН
    - РОСТОПЧИН — МОСКОВСКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ[78]
    - КТО СЖЕГ МОСКВУ?[115]
    - ЕЩЕ О РОСТОПЧИНЕ
      - 1. РОДСТВЕННИКИ О РОСТОПЧИНЕ[125]
      - 2. РОСТОПЧИН В ОЦЕНКЕ А.А. КИЗЕВЕТТЕРА[128]
      - 3. РОСТОПЧИН И МАСОНЫ[132]
    - ПАТРИОТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ[133]
  - В ГОДЫ МИСТИЦИЗМА.
    - 1. ЛИКВИДАЦИЯ ВОЙНЫ
    - 2. МИСТИЦИЗМ
    - 3. МАСОНЫ

- 4. НАЧАЛО ЛИБЕРАЛИЗМА
- 5. РЕАКЦИЯ
- 6. ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
- 7. «АРАКЧЕЕВЩИНА»

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39

- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83

- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127

- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171

- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196

С. П. Мельгунов

АЛЕКСАНДР I
Сфинкс на престоле

«ДНЕЙ АЛЕКСАНДРОВЫХ ПРЕКРАСНЫЕ НАЧАЛА» (О книге профессора С. Мельгурова «Дела и люди Александровского времени»)

Из обширной библиографии о государе Александре I Павловиче, составившейся за почти два столетия со дня его кончины, книга профессора Мелыунова представляет в наши дни особенную ценность. Её автор столь долго и кропотливо собирал данные о своем герое, так вдумчиво анализировал события предыдущего и весьма краткого царствования его отца, императора Павла I, столь тщательно разбирал творчество современников, пытавшихся воссоздать художественный образ этого государя,[1] что, по существу, оказался самым качественным, после Н. К. Шильдера,[2] исследователем Александровского времени.

Волна читательского интереса к личности Александра I пришлась на время Серебряного века русского искусства, почтившего своим благосклонным вниманием образы эпохи Елизаветы Петровны, Екатерины II и Павла, вдохновивших творческих людей начала XX века на создание сюжетов в изобразительном искусстве и сочинительство.[3]

Эстетика той куртуазной повседневности привлекала многих художников, вынужденных довольствоваться современной условностью форм «века Модерна», и писателей, искавших случая выразить затаенную тревогу перед наступившим «ужасным веком», прячась в воображаемый уют елизаветинской архаики.

Именно в ту пору появилось сенсационное исследование, относящееся более к опытам построения альтернативных исторических линий, чем к подлинной истории императора, рисующее со всей убедительностью появление после его кончины в Сибири некого светского человека, путешествующего в крестьянском платье и именующего себя «старцем Федором Кузьмичом». События таинственной и полной загадок смерти государя давали подобной трактовке сюжета немало поводов. Исполненное подлинного величия царствование Александра, хотя и имело значительное количество прижизненных и посмертных критиков, в памяти русского человека осталось примером

торжества национального духа и избавления от иноземного вторжения. Загадочная таганрогская кончина жизненного пути Александра I стала в народной памяти, столь досадным и нелогичным завершением великого правления, что сознание многих современных ему людей и ближайших потомков отказывалось принимать этот весьма печальный факт на веру. Именно потому легенды о старце Федоре Кузьмиче, жившие до определенного времени в виде устных преданий, в начале XX века были облечены в форму наукообразных бытописаний этого необычного человека, в котором общество стремилось угадать сбежавшего от убийц государя.

Здесь читатель вполне уместно удивится такой постановке вопроса, ведь согласно официальной версии, Александр I умер во время путешествия по России от болезни, полученной и стремительно развившейся у него в Приазовском крае. Однако если внимательно попытаться оценить события в жизни императора и его взаимоотношения со своими приближенными — чинами двора и государственными деятелями, то картина складывается иная. Именно этим превосходным образом и занимался в своих работах профессор Мельгунов, пытаясь подойти ближе к разгадке царской трагедии путем детального описания лиц Александровской эпохи, чтобы подвести читателя к порой сенсационным для себя выводам.

Вся жизнь государя, которую Мельгунов делит на три тематических раздела — период царствования его отца императора Павла Петровича, время больших планов преобразований начала XIX века — охарактеризованное Пушкиным, как «прекрасное начало» правления Александра, и военную пору — годы великих побед в Отечественной войне 1812 года и европейских походов 1812—1814 годов, довольно полно раскрывающих картины эволюции общественных взглядов цесаревича и впоследствии молодого императора.

Вступив в зрелые лета, Александр поэтапно пересмотрел своё отношение ко многим, ранее казавшимся ему бесспорным истинам, познав их губительные для православного отечества истоки. Это самым роковым образом обрекло его в последующие годы на роль преследуемой жертвы, охота на которую велась русским масонством — большая часть их в разное время составила ближайшее окружение государя. Среди могущественных врагов императора оказались чины двора, гвардии и армии.

Трудно сказать, в какое именно время произошла смена нравственных ориентиров и освобождение от пут условностей, удерживавших императора от исполнения долга православного

государя, но еще в 1812 году он неожиданно продемонстрировал неожиданный для многих масонов шаг — выслал из столицы государственного секретаря М. М. Сперанского. Значимость шага можно оценить при условии понимания сущности данной персоны, бывшего долгое время приближенным к императору, и вместе с тем человеком, всегда тесно связанным с французскими масонскими кругами. Сперанский был заменен «без лести преданным» А. А. Аракчеевым, человеком с точки зрения современности сомнительных личных качеств, однако далекого от масонства, патриота своего Отечества, радеющего за интересы России. Русский масон, впоследствии «декабрист» Н.И. Тургенев, взявшийся в своей личной переписке оценивать деятельность императора, с горестным недоумением констатировал, что то был «один из тех актов деспотизма, которые до тех пор не наблюдались в царствование Александра».

1 августа 1822 года Александр I своим указом запретил в стране масонство, что вынудило все российские ложи к подпольному существованию, создав тем самым вероятность постоянной угрозы преследования со стороны властей. Так стало в России, а почти годом ранее масонские ложи были уже запрещены и в Царстве Польском, и в прибалтийских губерниях. В Польше были даже совершены аресты нескольких «вольных каменщиков» за некую «конспиративную деятельность».

В период 1823—1825 годов Александр содействовал закрытию Министерства просвещения, как института распространения масонской идеологии, отставку покровителя русских масонов А.Н. Голицына и депортацию за рубеж автора нашумевшей в Петербурге книги — директора Библейского общества Госнера. Последовавший именной указ государя об удалении из Петербурга в Симбирск известного масона ложи розенкрейцеров А.Ф. Лабзина, повсеместное закрытие ланкастерских школ, запрет на издание журналов «Друг юношества» и «Сионский вестник», издаваемый и финансируемый столичными масонами, создали невероятные затруднения на пути деятельности российских лож.

Не реализованные благие порывы юности цесаревича, мечтавшего о либеральном сообществе в России и трансформации русского уклада в рамки западной общественной жизни, обернулись разочарованием и озлобленностью «просвещенной» части русского общества. Н.И. Тургенев продолжал в переписке порицать императора: «А тот, которым восхищалась Европа и который был для России некогда надеждою, как он переменился! Одним словом, теперь ничего нельзя предвидеть хорошего для России».

Братья по ложам в Европе были обеспокоены ходом событий в Царстве Польском и остзейских землях. Некогда искренний покровитель «вольных каменщиков» раз и навсегда переменился в своих убеждениях в «худшую сторону», лишив их возможности чувствовать себя в безопасности на всем пространстве необъятной Российской империи. А ведь им был еще памятен тот период, когда по обещаниям Александра братьям по ложе, данным на заре его правления, его целью должна была стать идея дарования России конституции по восшествии на престол, чтобы облагодетельствовать ею народ и открыть для него повсеместные возможности «просвещения умов». Затем, подписав манифест об отречений, любоваться расцветом русской жизни при конституционной монархии, поселившись с женою частным образом в каком-нибудь из городков на благословенном Рейне.

И хотя этого не случилось, до времени, масонское сообщество не особенно тревожил «отход» молодого императора от первоначально намеченного графика исполнения совместных замыслов. Ведь и сами связи Александра с масонами оставались не просто крепки, но и практически казались неразрывными, ибо будущий августейший реформатор, на которого делало ставку европейское масонство, был введен в его ряды в 1803 году самим гроссмейстером великой ложи «Владимира к порядку» И. Бебером, что демонстрировало известную долю доверия и пиетета.

Пребывание Александра в ложах затянулось, и даже после окончания победоносного похода русских войск в Европу император еще продолжал состоять в ложе «К военной верности», в которой были многие офицеры лейб-гвардии Конного полка, возникшей в 1812 году и посвященной конногвардейцами самому императору. Вместе с братом, цесаревичем Константином Павловичем, Александр состоял и в «Великом Востоке Польши», а в течение 1815—1817 годов, в пору особенной увлеченности мистицизмом, неоднократно посещал ложу «Трех Добродетелей».

Переоценка роли масонства в жизни России, да и собственных взглядов на задачи православного государя, заставила Александра по-новому взглянуть на результаты деятельности лож, впервые заставив задуматься над собственным державным долгом — хранить самодержавие как гарантию целостности и величия страны.

Ставший исторической аксиомой факт, что сильная Россия никогда не нужна была Европе и всегда страшила её, объясняет выводы, к которым пришли европейские «братья», оценив поступки Александра в 1819—1823 годы, как случай «коварного отступничества» собрата по ложам, над умом которого

возобладала идея «великой России» вопреки «внутрипартийной дисциплине» лож. Игнорировать ее едва бы решился иной государь, хорошо осведомленный о последствиях такового «проступка».

В этом смысле книга Сергея Мельгунова дает любопытные характеристики современников императора, с которыми он только замышлял либеральные преобразования в России, но также и тех, кто оказался его новыми соратниками в период переоценки взглядов. Ведь без хотя бы воодушевления и прямого одобрения многих из них Александр едва бы решился на столь решительные меры по отношению к противникам. Вспомним хотя бы события, в ходе которых недовольным отходом царя от либеральных ценностей офицерам лейб-гвардии Семеновского полка Александром было недвусмысленно указано, кто правит в государстве. Увольнение генерала М.А. Фонвизина и полковника А.Ф. Бриггена, а также офицеров М. Муравьева и И.А. Фонвизина от службы, ссылка в Ярославль полковника П.Х. Граббе, снятие с должности при петербургском генерал-губернаторе Ф.И. Глинки, отстранение от командования дивизией генерала М.Ф. Орлова явились звеньями одной цепи. К слову сказать, почти все вышеупомянутые чины оказались в 1825 году в числе новых заговорщиков, именуемых в истории «декабристами», и получили по заслугам от взошедшего на престол императора Николая I.

Личности Александровской эпохи помогают понять и объяснить не только атмосферу борьбы и антимонархических заговоров того времени, но в изложении профессора Мельгунова масштабно рисуют исторический фон времени, открывая читателю смысл и значение происходивших событий. И хотя автор не успел реализовать задачу проследить дальнейшее после 1812 года развитие событий в жизни самого государя и страны в целом, начало, положенное в первой книге, позволяет оценить широту авторского замысла — характеристика лиц и их деяний в «переходные» годы царствования, ясно обуславливающая дальнейшее развитие хода истории.

О. Г. Гончаренко, к.п.н.
17 августа 2009 года

ОТ АВТОРА

Настоящий сборник составился из статей, напечатанных в старой еще России в разных изданиях за истекшие 10–15 лет.

Многие из статей появляются здесь в значительно переработанном и дополненном виде с привлечением некоторых еще неизданных материалов. К сожалению, одна из статей пропала у автора и восстановить ее в Берлине не представлялось возможности, почему очерк о вождях русской армии в период Отечественной войны, долженствовавший заключать параллельную характеристику Барклая де Толли и Кутузова, охватывает лишь образ Барклая и рисует его взаимные отношения с главным его антагонистом кн. Багратионом. Автор, тем не менее, ввел в сборник эту как бы незаконченную главу ввиду того, что она набрасывает общие черты состояния русской армии и психологии некоторых слоев общества описываемой эпохи.

Разрозненные статьи, написанные по случайным поводам, в совокупности дают некоторую общую канву для характеристики эпохи Александра I, столь близкой нам по своим настроениям в некоторых общественных кругах. Мистика и реакция александровского времени являлась непосредственным результатом мировых событий, пережитых русским обществом первой четверти прошлого столетия. Не в той же ли атмосфере нарождающихся общественных настроений живем мы под влиянием событий, ареной которых была наша родина за истекшее десятилетие? Нет нужды проводить аналогию, но история не так уже разнообразна в выборе своих мотивов, и подчас причины и следствия бывают однородны в эпохи, далекие друг от друга.

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I, СФИНКС НА ПРЕСТОЛЕ

(Черты для характеристики Александра I)

I

История давно уже сделала из императора Александра I своего рода историческую загадку: «Сфинкс, не разгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь», — сказал еще кн. П.А. Вяземский об Александре. И в самом деле, как объяснить «противоречия», которыми так богата вся деятельность Александра? Как объяснить удивительное совмещение «благородных» принципов ранних лет с позднейшей жестокой аракчеевской практикой? Дано немало уже объяснений этой непонятной и сложной психики соперника Наполеона, вызывавшего самые противоречивые характеристики со стороны современников.

Прежняя даже критическая историография[4] как бы реабилитировала перед потомством личность Александра. «Мы примиряемся с его личностью потому, — писал Пыпин в своих очерках «Общественное движение», — что в источнике его недостатков находим не дурные наклонности, а недостаток воспитания воли и недостаток понимания отношений, что в глубине побуждений его лежали часто наилучшие стремления, которым недоставало только школы и благоприятных условий». Александр был «одним из наиболее характеристических представителей» своего времени: «он сам лично делил различные настроения этого времени, и то брожение общественных идей, которое начинало тогда проникать в русскую жизнь, как будто отражалось в нем самом таким же нерешительным брожением. Так, сперва он мечтал о самых широких преобразованиях, о каких только думали самые смелые умы тогдашнего русского общества: он был либералом, приверженцем конституционных учреждений… в другое время, смущаясь перед действительными трудностями и воображаемыми опасностями, он становился консерватором, реакционером, пиэтистом». Теми «трудными положениями», которые ставила Александру сама жизнь, Пыпин в значительной степени готов был объяснять двойственность и неуверенность в характере Александра. Он был всегда искренен, когда в одно и то же время колебался между двумя совершенно различными настроениями. Та «периодичность воззрений», которую отмечает Меттерних, не являлась выражением какого-то сознательного лицемерия. Его внутренние тревоги даже в период реакционной политики показывают в нем не бессердечного лицемера или тирана, каким его нередко изображали, а человека заблуждавшегося, но способного вызвать к себе сочувствие,

потому что во всяком случае это был человек с нравственными идеалами.

Еще более теплую характеристику Александра дал Ключевский в своем знаменитом литографированном курсе: «Александр был прекрасный цветок, но тепличный, не успевший акклиматизироваться на русской почве: он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая погода, наполняя окружающую среду благоуханием, а как подула северная буря, как настало наше русское осеннее ненастье, этот цветок завял и опустился». Александр был воспитан в политических идиллиях, у него не было необходимого «чутья действительности», и те «слишком широкие мечты», с которыми он вступил в правительственную деятельность, разбились о встреченные препятствия, о незнание практической жизни. Неудачи вызывали утомление и раздражение.

Таков был «коронованный Гамлет», как назвал Александра Герцен. В духе этой прежней историографии характеризует Александра и автор новейшей его биографии проф. Фирсов. Александра нельзя изображать как «двуличного деятеля, как хладнокровного хитреца». Это была сложная, хрупкая психическая организация. Александр явился «моральной жертвой русской истории XVIII века, точнее — истории русского престола». Это — жертва среды; это — монарх, «морально не вынесший самодержавной власти, унаследованной им при помощи дворцовой революции с смертельным исходом для царствующего государя». Физическая гибель Павла повлекла за собой моральную гибель Александра. «Вечное терзание совести» надломило хрупкую психическую организацию. Поэтому судьба Александра полна самого «трогательного драматизма», «Я должен страдать, ибо ничто не в силах уврачевать мои душевные муки», — говорил Александр Чарториж-скому. И Александр страдал но, изверившись, все-таки не перестал видеть в «благородных принципах» идейную красоту, и они продолжали сохранять в его глазах известное эстетическое значение. Он «сохранил их в глубине своей души, лелея и оберегая от постороннего влияния, как тайную страсть, которую он не решался раскрыть перед обществом, не способным понимать его»…

Однако как проникнуть взором историка в то, что оберегается, как тайная страсть, в сферу «мистических созерцаний и покаянных молитв»? Слишком уж субъективен будет при таких условиях психологический анализ исторических деятелей. Быть может, современная скептическая историография в своем «иконоборстве», как выразился кн. Вяземский, понижает

«величавость истории и стирает с нее блеск поэтической действительности», но зато она оперирует только над реальными фактами. И число таких фактов, входящих в оборот исторических изысканий, с каждым годом увеличивается. Когда Пыпин писал свой очерк, он должен был сделать оговорку, что «подробности истории Александра еще слишком мало известны» для того, чтобы определенно объяснить резкие «противоречия», с которыми мы постоянно встречаемся и в характере Александра, и в его деятельности, и в отзывах о нем современников. История Александра еще далека, конечно, и теперь от полноты. Но многое из того, что прежде было неясным, достаточно вырисовывается уже на фоне новых изысканий. И, быть может, прежде всего та искренность Александра, в которую веровала прежняя историография, значительно потускнела под скальпелем современного исторического анализа; и все рельефнее под ним выступает та оборотная сторона медали, которая омрачала на первых же порах «дней александровых прекрасное начало». Многие из отрицательных черт Александра, отмеченные современниками, найдут себе конкретное подтверждение в действительности, очень далекой от осуществления «благородных принципов» и идеальных мечтаний в юной молодости.

Современный историк ныне уже без труда ответит на то недоумение, которое выражал декабрист Штейнгель в записке Николаю I: блеск царствования Александра сделал «особу его любезною и священною для Россиян современников». Но по непостижимому для нас противоречию, которое, к изумлению грядущих веков, может быть, объяснит одна только беспристрастная история, «царствование его»… «было тягостно даже до последнего изнеможения».[5]

Мы не будем останавливаться на подробностях воспитания Александра, в достаточной степени выясненного в литературе. Это «заботливое» воспитание, согласно всем правилам тогдашней философской педагогии, действительно чрезвычайно мало содействовало выработке сознательного и вдумчивого отношения к гражданским обязанностям правителя: Александра, по меткому выражению Ключевского, как «сухую губку, пропитывало дистиллированной и общечеловеческой моралью», т.е. ходячими принципами, не имеющими решительно никакого отношения к реальным потребностям жизни.

В лице своей бабки он видел, как модные либеральные идеи прекрасно уживаются с реакционной практикой, как, не отставая от века, можно твердо держаться за старые традиции. «В душе я республиканка, — говорила царица, — но для блага русского народа абсолютная власть необходима». Как кто-то метко

заметил, Екатерина любила философов подобно итальянским артистам. От своего воспитателя, республиканца Лагарпа, Александр в сущности воспринимал то же уменье сочетать несовместимое — либерализм со старым общественным укладом. Лагарпа по справедливости можно назвать «ходячей и очень говорливой французской книжкой», проповедовавшей отвлеченные принципы и в то же время старательно избегавшей касаться реальных язв, разъедавших государственный и общественный организм России. Республиканский наставник в практических вопросах был в сущности консерватором, отговаривавшим позже Александра от коренных реформаторских поползновений. Его идеалом было «разумное самодержавие», по выражению Шильдера. Как республиканство Лагарпа уживалось и мирилось с деспотическим правлением, так и теоретическое вольнодумство Александра, вынесенное из юных лет, было очень далеко от искреннего либерализма. В этом отношении Александр был типичным сыном своего века, когда отвлеченное вольтерьянство самым причудливым образом соединялось с ухищренными крепостническими тенденциями. Это характерная черта эпохи.

В «Азбуке изречений», составленной Екатериной, Александр вычитывал прописную мораль: «по рождению все люди равны»; в ходячих сентенциях Лагарпа ему открывались и другие непререкаемые догматы французских просветителей, и никто не проявлял в задушевных разговорах такой «ненависти» к деспотизму и «любовь» к свободе, как Александр в юношеские годы. Он давал клятвенное обещание «утвердить благо России на основании непоколебимых законов», вывести несчастное отечество со стези страданий путем установления «свободной конституции». Он считает «наследственную монархию установлением несправедливым и нелепым, ибо неограниченная власть все творит шиворот-навыворот». «Я никогда не привыкну царствовать деспотом». Единственное «мое желание, — говорит он Лагарпу в 1797 г., — предохранить Россию от поползновения деспотизма и тирании». Лагарп «в течение целого года» не слышал от Александра слов «подданные и царство», он говорит о русских, называя их «соотечественники» или «сограждане» и т. д. Пост, место, должность — только такими словами характеризует Александр свое правительственное назначение. За год перед тем при первом свидании с Чарторижским он глубоко оплакивает падение Польши и порицает действия Екатерины. Костюшко для него великий человек. Так как в России никто не способен понять его, он конфиденциально сообщает Чарторижскому свои мысли в духе бесед с Лагарпом. Нация должна выбирать достойнейшего на

пост правителя, и польскому патриоту с ссылкой на судьбы своей родины приходится возражать своему царственному другу. Чарторижский под влиянием этих бесед пишет записку о Польше, которую А. кладет в картон для того, чтобы о ней уже никогда больше не вспомнить.

Характеризуя «неимоверный беспорядок» в делах в интимном письме к Кочубею (10 мая 1796 г.), Александр говорит об отречении: «при таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством. Я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Вы вольны смеяться надо мною. Но подождите исполнения и уже тогда произнесите приговор…»

Исполнения пришлось бы Кочубею долго ждать. Уже в следующем году Александр соглашается, что он не должен отказываться от престола, но потому только, что «вместо добровольного изгнания» он сделает несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу.

Таков Александр-юноша в своих интимных беседах и мечтах…

Но не забудем, что в это время, в период и для дворянства кошмарного царствования Павла, ничто не могло снискать Александру большей популярности, как подобные признания.

Однако у некоторых современников, восторженно отзывавшихся о молодом Александре, возникают уже сомнения: не будет ли он при всех своих дарованиях пустоцветом. К ним относится Массой. «Несмотря на счастливые задатки, — замечает этот мемуарист, — ему угрожает царствование без славы». Почему? К сожалению, он человек «пассивных качеств» — чересчур «ранний брак смял его энергию». «Может быть, — добавляет Массой, — Бог предназначил его освободить тридцать миллионов рабов и сделать их достойными этой свободы». Только он «не забыл бы всех своих обещаний и лучших молодых порывов»…

Если чрез Лагарпа Александр приобщался к «лакомствам европейской мысли», то чрез другого его воспитателя, М.Н. Муравьева, в него усиленно внедрялось сентиментально-романтическое чувство, столь же характерное для эпохи. Напрасно в этом сентиментализме искать искренних эмоций. Их не могло быть, так как характерная черта сентиментализма именно «беспредметная чувствительность». Самые ничтожные

причины вызывают аффект, завершающийся слезоизливанием. Люди способны сидеть часами в глубокой меланхолической задумчивости, плакать, как Карамзин, когда сердцу «очень весело». Иногда совершенно непонятно, откуда только у современников могла являться эта слезотечивость. Происходит шумный праздник в Смольном институте в 1821 г. Гремит музыка, кругом иллюминация, на сцене веселый балет — и «все плачут», как сообщает Карамзин своему ДРУГУ Дмитриеву.

«Тогда находили удовольствие в том, чтобы плакать, и когда плакали, то были веселы» — так характеризует позднее (1829 г.) «Московский Телеграф» раннюю александровскую эпоху. Этот ухищренный сентиментализм, в свою очередь, прекрасно уживался с барственным укладом жизни. Любопытно, что сентименталисты были по преимуществу и крепостниками.

Вероятно потому, что русский мужик в действительности не годился в качестве объекта идиллических мечтаний: «продолжительное рабство, — как утверждал впоследствии В. Панаев, — сделало их (нынешних пастухов и земледельцев) грубыми и лукавыми».

Доктор Руа, врач наполеоновской армии, оказавшийся в плену после 1812 г. и проживший в России два года, рисует портрет волжской помещицы г-жи М., удивительным образом сочетавшей жесточайшее сечение крепостных за разбитие фарфоровой чашки с самой изысканной чувствительностью: «Это был человек столь нежной чувствительности, что готова была падать в обморок при малейшей испытываемой эмоции». Лай собаки, падение ребенка вызывали в ней настоящее нервное потрясение. Она без конца говорила всем и каждому о своей чувствительности, повторяя часто изречение, заимствованное ею из одной своей излюбленной книги: «Какой печальный подарок неба — чувствительное сердце». Но крики избиваемых крепостных не трогали ее чувствительного сердца — только изредка мешали «чтению романов», почему экзекуции иногда производились в дальних конюшнях.

И даже Аракчеев, отличавшийся редкой жестокостью, истязавший своих крестьян, собственноручно вырывавший усы у солдат во время смотра, весьма склонен был к сентиментальной чувствительности: он мог прослезиться при чувствительном рассказе и тут же приказать строго наказать десятилетнюю девочку за нечисто выметенную дорожку (Европеус); он любил наряду с самой изысканной порнографией почитать книжки «О вздыхании голубицы и пользе слез», «О нежных объятиях» и т. д. Да, щедринский градоначальник александровских времен Грустилов, с любовью смотревший, как токуют тетерева с такой

же любовью, как секут девочек, взят из самой подлинной жизни!

Детство приучило и Александра к этой чувствительности. Муравьев развивал перед ним свои сентиментально-дидактические идиллии о любви к человечеству. И Александр любил, как рассказывает Чарторижский, в духе модного сентиментализма мечтать о сельском уединении, восторгаться полевым цветком, бытом поселян.[6] Сельский пейзаж легко вызывал в нем разговоры о бренности и суетности жизни, и он выражал охоту даже уступить «свое звание за ферму». Я «жажду лишь мира и спокойствия», — писал он Лагарпу 21 февр. 1796 г. Можно было бы подумать, что инертность натуры заставляет мечтать о «ленивых досугах спокойной жизни». Этой инертности отнюдь не было у Александра, как мы отчетливо увидим дальше. Не было и той «особенной глубины», которую видела Екатерина в природе своего внука. Его чувствительность была скорее наносного характера, как вся позднейшая мистика. Он сохранял чувствительность до конца жизни, и в нем она уживалась так же, как и у других, с проявлением большой подчас жестокости.

Александр — «сама добродетель», говорит о нем Екатерина. Однако эти обычные суждения о личной мягкости Александра в значительной степени опровергаются его поступками. Он горько плачет, когда И.И. Дмитриев («Мелочи») докладывает ему о жестоком обращении помещицы с дворовой девкой. «Боже мой! можем ли мы знать все, что у нас делается», — с горечью воскликнет он. Но затем Александр узнает, что ген. Тормасов келейно наказал розгами дворового Кириллова, который позволил себе на Тверском бульваре в Москве произнести «неприличные слова» насчет помещиков. «Неприличные слова» заключались в разговоре о вольности и независимости крепостных людей. Александр вознегодует на слабость Тормасова: за «столь буйственный и дерзновенный поступок следовало наказать наистрожайшим образом и публично». Александр будет рыдать в объятиях Магницкого, когда тот будет докладывать о состоянии, в котором пребывает Казанский университет; он будет проливать «обильные слезы» в назидательной беседе с европейской пифией бар. Крюденер; его лицо оросится слезами в беседе с прибывшими в Петербург квакерами; он будет плакать, слушая, как Шишков читает свои глубокомысленные выкладки, почерпнутые из Священного Писания для объяснения современных событий и т. д. Он будет беседовать с квакерами о спасении души и веротерпимости, говорить в официальных указах, что человеческие заблуждения нельзя исправить насилием, а лишь просвещением и кротостью. Издаст знаменитый указ о духоборах, который «останется честью

России», по замечанию А.И. Тургенева, и прикажет расстрелять несколько духоборов за отказ сражаться во время войны. Будет выслушивать проповеди «искупителя» — скопца Кондратия Селиванова, и тут же, вопреки решению военного суда, прикажет наказать солдат-скопцов батогами.

Александр издаст в 1804 г. рескрипт ген.-лейтен. Украинской инспекции Бауру о прекращении жестокого обращения, но когда до него дойдет известие об усмирении Аракчеевым в 1819 г. бунта в чугуевских военных поселениях, — усмирения, во время которого многие умерли под шпицрутенами, Александр в ответном письме всецело одобрит своего друга и выскажет лишь сожаление о тех волнениях, которые должна была претерпеть «чувствительная душа» Аракчеева. «Жаль мне выше всякого изречения твоего чувствительного сердца», — повторяет он в письме к Аракчееву по поводу известия об убийстве крепостными свирепой любовницы последнего Анастасии Минкиной. Когда Александру будут говорить о вреде военных поселений, он скажет свою знаменитую фразу: «Они будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова».

Примером необычайной жестокости может служить позднейший приговор по семеновскому делу, где подсудимые солдаты за бытность в сражениях избавлялись от «бесчестного кнутом наказания», но присуждались к прогнанию шпицрутенами шесть раз через батальон, а затем к отправке в рудники. За что? За то, что они возмутились против жестокости командира полк. Шварца; за то, что Александр в их выступлении увидел политическую агитацию. Весь Петербург знал о зверствах начальника гвардейского гусарского полка В.В. Левашева. Вся гвардия, рассказывает М.И. Муравьев-Апостол, говорила о возмутительном случае с заслуженным вахмистром, вызвавшем его смерть. И Левашев не только оставался любимцем Александра, но находился в «еще большей милости».

Панегирист Александра и Растопчина Ал. Булгаков замечает по поводу пожертвования Александром 500 р. одной старухе, что «историографу Государя надобно бы следовать всюду за ним и собирать все сии ангельские черты доброты и великодушия». Но об этой доброте и великодушии приходится говорить очень относительно. И быть может, гораздо более прав официальный историк александровских дней, писавший, что Александр более «любил оказывать милость, нежели воздавать по заслугам», и охотнее дарил «тем, у которых и без того было много» (Русская старина. 1903 г. С. 1, 7). Сумасбродный Павел приказал было повесить смоленского помещика Храповицкого за то, что последний выслал крестьян чинить дорогу перед царским

проездом, благословенный Александр, колесивший в течение всего своего царствования без толку по большим дорогам, управлявший Россией, по выражению Вяземского, «с почтовой коляски»,[7] заставлявший для себя прокладывать дороги по диким местам, в аналогичном случае на представление малороссийского ген.-губернатора кн. Репнина, что дороги плохи потому, что пришлось дать льготы крестьянам, не высылать их на большие дороги, обмолвился циничной фразой: «Что они дома сосут, то могут сосать на больших дорогах» (Якушкин).[8]

Как, однако, характерны эти мелкие штрихи для обрисовки светлого идеализма Александра. Приходится поверить ген. С.А. Тучкову, отмечавшему прирожденную жестокость Александра.

Но Александр умел скрывать свои наклонности. Если «прекрасная Като», как называл Екатерину Вольтер, обладала редким даром обольщения людей, то, быть может, ее внук обладал им еще в большей степени.

Уже в детстве Александр необыкновенно «обходителен». Это — «редкий экземпляр красоты, доброты и смышлености», — писала о нем Гримму Екатерина. «О! он будет любезен, я в этом не обманусь» — эти слова относились к трехлетнему Александру. И действительно, «господин Александр» умел подходить к людям, умел им внушить по первому впечатлению симпатии и даже восторг.

«Это сущий прельститель», — сказал о нем Сперанский. Это «привлекательная особа, очаровывающая тех, кто соприкасается с ним», — повторил то же Наполеон Меттерниху. Привлекательная наружность Александра, «почти женская», по выражению Вигеля, сама по себе уже вызывала такое обольщение, и особенно среди женщин.[9] «Грациозная любезность» Александра, его «умелая почтительность», «величественный вид», «бесчисленное множество оттенков» в голосе и манеры, отмечаемые графиней Шуазель, чудные, красивые «позы античных статуй», «глаза безоблачного неба», — все это придавало внешнее обаяние его фигуре.[10]

Вот, напр., запись Жихарева в дневнике 2 сент. 1806 г.: «Какая величавая наружность. Какой красавец и ко всему этому — какая душа! Что за ангельское лицо и платоническая улыбка».

Система воспитания и условия, при которых протекали юные годы, лишь изощрили природные черты — «ce grand cЬаппеиг'а» — эту поистине виртуозную способность приспособляться и подносить при желании каждому «любимое его кушанье». Александр поражал своей «обходительностью» в три года, когда воспитание и среда не могли еще оказать влияния. Затем ему пришлось пройти хорошую школу угождения

властолюбивой бабке и подозрительному отцу. И тут помог воспитатель, опытный царедворец Н.И. Салтыков. Александр прекрасно умел лавировать между салоном Екатерины и гатчинской казармой Павла, хотя и писал Кочубею, что ему очень трудно держаться «золотой середины». Ему приходилось жить «на два ума, — говорит Ключевский, — держать две парадные физиономии».

Это, правда, была хорошая школа скрытности и неискренности, но школа, которую легко было пройти Александру: и в салоне, и в казарме он чувствовал себя как дома. От перемены он отнюдь не попадал в «страдательное положение», и тяжелая «служба» при Павле не могла надломить его «восторженной и благородной натуры». Как ни странно, но восторженный поклонник просветительной философии был страстный любитель всякого рода фронтовых обязанностей. Очевидно, это была врожденная, наследственная черта, — черта, отличавшая деда и дошедшая до нелепых пределов при отце. Эту любовь к «милитаризму» в юные годы отмечает нам и воспитатель Александра Протасов в 1793 г., и друг его юности Чарторижский (1797 г.). Александр жалуется Лагарпу, что при Павле «капрал» предпочитается человеку образованному и полезному, но и сам предпочитает Аракчеева любому из своих друзей и охотно с ним переписывается в это время на тему о муштровке солдат. Это «по нашему, по-гатчински», — с удовольствием констатировали великие князья, когда речь заходила о сравнении двух порядков (Чарторижский).

Любовь к военным экзерциям Александр сохранил на всю свою жизнь, уделяя им наибольшее время, и она, в конце концов, обращается действительно в «парадоманию», как назвал эту склонность Александра тот же Чарторижский. Молодой царь в периоде мечтаний о реформе одинаково занят и своими фронтовыми занятиями. Так, в 1803 г. он дает свое знаменитое предписание: при маршировке делать шаг в один аршин и таким шагом по 75 шагов в минуту, а скорым по 120 «и отнюдь от этой меры и каденсу ни в коем случае не отступать». Ген. С.А. Тучков в своих записках дает очень яркую картину казарменных наклонностей Александра, когда в 1805 г. автор записок попал в Петербург. Его двор, рассказывает Тучков, «сделался почти совсем похож на солдатскую казарму. Ординарцы, посыльные, ефрейторы, одетые для образца разных войск солдаты, с которыми он проводил по нескольку часов, делая заметки мелом рукою на мундирах и исподних платьях, наполняли его кабинет вместе с образцовыми щетками для усов и сапог, дощечками для чищения пуговиц и других подобных мелочей». Беседует

Александр с Тучковым на тему, что ружье изобретено не для того, чтобы «им только делать на караул», и вдруг разговор сразу прерывается, так как Александр увидел, что гвардия при маршировке «недовольно опускает вниз носки сапогов». «Носки вниз!» — закричал Александр и бросился к флангу. Александр целыми часами в это время мог проводить в манеже, наблюдая за маршировкой: «Он качался беспрестанно с ноги на ногу, как маятник у часов, и повторял беспрестанно слова: "раз-раз" — во все время, как солдаты маршировали». В то же время Александр тщательно смотрел, чтобы на мундире было положенное число пуговиц, зубчатые вырезки клапанца заменяет прямыми и т. д.

Помимо Тучкова мы имеем немало и других аналогичных свидетельств.

«С грустью видят, — говорила Мария Федоровна в письме 18 апреля 1806 г., заключающем материнский совет обратить внимание на неудовольствие, существующее в столице и в провинции, — что Вы отдаете слишком много времени мелким ежедневным упражнениям, которым должны заниматься субалтерн-офицера».

В самый разгар творческой как бы работы на Венском конгрессе, когда шла речь о Польше, в чем Александр был лично заинтересован, так как вопрос затрагивал его самолюбие, он отдает предпочтение гусарской форме. Анштет должен представить записку о Польше, но он не торопится, ибо в данный момент Александр «слишком занят гусарской формой и безутешен, не имея подходящей, тогда как король прусский уже появился в форме гусара» (Фурньер).

И действительно, Александр — в этом отношении совершеннейший отец. Он всегда готов заниматься смотрами. Он считал, как и отец, рассказывает М.И. Муравьев-Апостол, своей «священной обязанностью» присутствовать каждый раз при разводе в Семеновском полку. Даже в июне 1812 г. в Вильне разводы занимают первое место. На смотрах Александр видит только наружность: стойку, вытянутый носок, неподвижность плеч, параллелизм шеренг, как сообщает позднее — в 1820 г. — ген. Сабанеев, сам большой фронтовик. «У нас были шаги петербургские, могилевские и варшавские», — дополняет Муравьев. Эти шаги измерялись по хронометру, и надо было шагать так, чтобы султан на голове не шевелился.

В.И. Бакунина рассказывает в своих воспоминаниях, как 13 января 1812 г. арестовываются все офицеры третьего баталиона пешего полка гвардии за «плохую маршировку». Был сильный мороз, и офицеры озябли… Хорошо известен случай, столь сильное впечатление произведший на И.Д. Якушкина, в 1814 г.,

когда Александр бросился с обнаженной шпагой на мужика, пробежавшего через улицу перед лошадью императора, готовившегося отдать честь императрице. Блестящий маневр по всем правилам искусства не удался, и это взорвало всегда столь сдержанного Александра. Чем дальше, тем больше. И в конце концов «разводы, парады и военные смотры были почти его единственные занятия» (Якушкин).

Это был удел и для всех военных. В одном неопубликованном еще письме молодого кн. И. Щербатова к отцу и сестре в 1817 г. раздается горькая жалоба, что все время с 3 час. утра до 6 вечера уходит на военные экзерциции: с 7–11 в роте, с 11–1 $^1/_2$ развод, 2–5 $^1/_2$ ученье в манеже. «Странно ли после сего, — пессимистически замечает молодой служака, — что большая часть из нас никуда не кажет носу»… Военные занятия настолько поглощали самого Александра, что в 1824 г., узнав о смерти той, которую считал своей дочерью, Софьи Нарышкиной, он заливается слезами, но тем не менее отправляется на учение и, только окончив его, едет поклониться праху умершей… Вероятно, и военные поселения, достигшие под аракчеевской палкой изумительных совершенств в делах военных экзерциции, Александр любил преимущественно за эту сторону, которая так радовала его душу. Константин Павлович, большой любитель «гатчинской муштры» и аракчеевской шагистики, искренно восторгавшийся теми «штуками», которые на смотрах проделывала французская армия, и тот ужасался теми крайностями, к которым приводило увлечение Александра фронтом. В 1817 г. он выразил даже уверенность, что гвардия, поставленная на руки ногами вверх, а головой вниз, все-таки промарширует — так она вышколена и приучена танцевальной науке.

Какая же разница между Павлом и Александром? В данном случае никакой: «жестокость и грубость, заведенная Павлом, не искоренялись в царствование Александра, а поддерживались и высоко ценились» (М.И. Мур.-Апостол). Военщина возведена в идеал — недаром в период Веронского конгресса Александр с откровенностью говорил старой кн. Мещерской, что он презирает все, не носящее формы. «Люди гнусного вида во фраках» — так позднее характеризовал правительственный акт некоторых участников 14 декабря — очевидно, были глубоко антипатичны и Александру.

Быть может, любовь к фронту у Александра объясняется отчасти и свойственным ему формализмом. Ген. Ермолов говорил, что любовь к «симметрии» у Александра являлась наследственной хронической болезнью. Сенатор Фишер

рассказывает, что Александр сердился, если лист бумаги, на котором представлялся доклад, был 1/8 дюйма больше или меньше обыкновенного. Если первый взмах пера не выделывал во всей точности начало буквы А, император не подписывал указа.

С седыми волосами этот педантизм превращался в мелочную придирчивость. Он пишет, напр., Аракчееву 3 марта 1824 года: обратить внимание ст. секр. Оленина на то, что «писец сей мемории не соблюдает данного правила: более оставляет промежутков между словами». Немудрено, что и результатом наблюдений царственного путешественника по большим дорогам являлись почти исключительно указы, аналогичные следующим: при проезде через Серпухов замечено, что «почтальон имел неформенное одеяние и золотые канительные погоны (2 сент. 1823 г.); при проезде через Тверскую губ. усмотрено, что «Москва» не выкрашена положенною трехцветною краскою (21 авг.); при проезде через Новгородскую губ. он заметил, что нет узаконенного пограничного столба и что верстовые столбы стоят криво… Но любопытно, что Александр не заметил, что в «некоторых городах целая улица заносилась заборами, чтобы скрыть лачуги бедных жителей от взора императора».

Конечно, эта «фатальная мания», присущая, как заметил гр. Габрион в 1820 г., всей царской семье, была печальным наследием Павла I и Петра III. Только по какому-то недоразумению наблюдательный Массой мог сказать в своих воспоминаниях, что Александр от отца не унаследовал ни одной черты.

Гатчинский казарменный режим лишь усилил природные склонности Александра, которые не могло смягчить полученное им образование. Оно было в действительности слишком поверхностно, слишком рано кончилось (18 лет), не дав ему ни реальных знаний, ни дисциплины ума, ни самой элементарной привычки к умственной работе. При той праздности и лености, которую отметил в своем дневнике Протасов еще в 1792 г., не могло быть и речи о глубоком образовании, а какое было, легко выветривалось на вахтпарадах.[11]

Мы можем лишь пожалеть, что живой и проницательный ум и возвышенные нравственные качества, которые отмечают воспитатели Александра, не получили развития и совершенно стушевались перед отрицательными чертами его характера. Эти отрицательные черты отметили те же воспитатели: «лишнее самолюбие», «упорство в мнениях, т.е. упрямство», «некоторую хитрость» и желание «быть всегда правым». Александра можно было бы упрекнуть в «притворстве», пишет один из этих ранних наблюдателей характера великого князя, если бы его

осторожность «не следовало приписать скорее тому натянутому положению, в каком он находился между отцом и своей бабушкой, чем его сердцу, от природы искреннему и открытому». «В нем есть не свойственная его возрасту осторожность, осмотрительность, похожая на притворство», — замечает и Массой, рисующий облик молодого Александра, в общем, в крайне привлекательных чертах. Юность всегда скрадывает недостатки, она всегда до некоторой степени искренна. Но затем недостатки вырисовываются уже более рельефно. Однако и в юности неискренность Александра может удивить. Он пишет письмо Екатерине, в котором соглашается на устранение Павла от престола, а накануне в письме к Аракчееву называет отца «Его Императорское Величество». Недаром сам Павел считал сдержанность Александра, умевшего держаться перед бабушкой «добронравным автоматом», по выражению Кизеветтера, в действительности не чем иным, как простым лицемерием.

Гр. Эделинг (урожд. Стурдза) в своих воспоминаниях утверждает, что она знала человека, слышавшего непосредственно от Александра утверждение: «Если верно, что хотят посягнуть на права отца моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, про нас более не услышат». В действительности Александр не только не спасся в Америку, не только не уклонился от «несправедливости», но и принял непосредственное участие в заговоре, устранившем отца от престола и лишившем его жизни.

Правда, на другой день после убийства Павла он будет говорить шведскому послу Стедингу: «Я самый несчастный из людей». И тот убежденно ответил: «Да, Государь, вы действительно должны себя чувствовать таковым».

Каково было истинное самочувствие Александра, мы увидим. Но вот пока другой яркий пример его поразительного двоедушия.

В 1799 г. Аракчеев получает отставку. Александр, узнав, что на место его назначен Амбразанцев, выражает большую радость в присутствии людей, ненавидевших павловскую креатуру. «Ну, слава Богу… Могли попасть опять на такого мерзавца, как Аракчеев». А между тем незадолго до такого отзыва Александр изливается в дружбе и любви к этому «мерзавцу» и через две недели вновь пишет к своему «другу». С некоторой наивностью Мария Федоровна 14 марта 1807 г. дает мудрый совет своему сыну: «Вы должны смотреть на себя, как на актера, который появляется на сцене». Но Александр и так уж был хорошим актером. Проявляя самую нежную внимательность и почтительность к матери, он в то же время подвергает

перлюстрации письма вдовствующей императрицы к Беннигсену и следит за ее отношениями к принцу Евгению Вюртембергскому, опасаясь материнского властолюбия.[12] (Дневник-секрет М.Ф. Вилламова.)

В жизни Александр всегда, как на сцене. Он постоянно принимает ту или иную позу. Но быть в жизни актером слишком трудно. При всей сдержанности природные наклонности должны были проявляться. Не этим ли следует объяснять отчасти и противоречия у Александра?[13]

Понятно, что при таких условиях Александр производил самое различное впечатление на современников.[14] Их отзывы донельзя разноречивы. Правда, показания современников очень субъективны, далеко не всегда им можно безусловно доверять. Малую ценность для историка имеет официальное виршество Державина, его поэтическое предвидение высоких дарований нового императора: восторженно приветствуя одой восшествие на престол Александра, екатерининский гений с такой же восторженностью перед тем приветствовал и Павла. Мы не придадим ценности масонским приветственным песням: «он — блага подданных рачитель, он — царь и вместе человек». Ведь это тоже полуофициальное виршество. Но когда люди различных лагерей сходятся в определении черт характера, когда панегиристы отмечают отрицательные его стороны, когда эти отзывы совпадают с фактами, которые мы знаем, тогда мы имеем полное право доверяться таким показаниям современников. И факты лишь объясняют то, что современникам казалось непонятным в загадочной личности императора Александра.

Среди голосов современников наибольшую, конечно, ценность имеют те, которые изображают нам непосредственные впечатления. Впрочем, кратковременное знакомство неизбежно приводило весьма часто к обманчивому впечатлению. Так было с г-жой Сталь. Она была в восторге от Александра, увидев в нем «человека замечательного ума и сведений». «Государь, ваш характер есть уже конституция для вашей империи, и ваша совесть есть ее гарантия», — сказала известная своей наблюдательностью французская писательница. Она очень плохо поняла императора, и ее слова в 1812 г. после ссылки невинного Сперанского могли скорее звучать иронией. Александр скромно отвечал г-же Сталь: «Если бы это было так, я все-таки был бы только счастливою случайностью». Но Александр в этом отношении далеко не был «счастливой случайностью». Также обольщен был и знаменитый Штейн, видевший в Александре лишь орудие осуществления своих патриотических целей. «Александр только и думает о счастьи подданных и, окруженный

несочувствующими людьми, не имея достаточной силы воли, принужден обращаться к оружию лукавства и хитрости для осуществления своих целей». Но сам император «постоянно действует блестящим и прекрасным образом: нельзя достаточно изумляться тому, до какой степени этот государь способен к преданности делу, к самопожертвованию, к одушевлению за все великое и благородное». Хотя тут же и Штейн должен сделать оговорку: Александру, «быть может, вообще не хватает глубины чувства и способности к продолжительным привязанностям».

Этот «сущий прельститель» действительно умел обольщать людей при первом знакомстве, и распознать его можно было только во времени. Такое разочарование должна была пережить прусская королева Луиза, искренне увлекшаяся «единственным Александром», каким он явился для нее на первых порах. 13 июня 1802 года Луиза пишет своему брату: «он распространяет вокруг себя счастье и благословение каждым своим решением. Каждый его взгляд создает кругом счастливцев, людей, осчастливленных его милостями, его небесной добротой». «В вас воплотились все совершенства, — пишет она в 1806 г. самому Александру, — нужно знать вас, чтобы верить в совершенство». Правда, здесь со стороны Луизы звучал голос искреннего личного увлечения, находившегося в созвучии с той горячей любовью к родине, которая заставляла и Штейна верить в обещания Александра. Но для Александра все эти отношения к Луизе были лишь фазой расчетливого политического-флирта. Дипломатия побудила его холодно обмануть любившую его женщину. И с горечью после Тильзита Луиза должна была замечать своей подруге: «Нет, правда, мир не лучший из миров, и люди в нем не лучшие из людей. Не нужно Лагарпов для моих сыновей». Правда, ей еще подчас кажется, что во всем виноваты окружающие люди. Но постепенно карты раскрывались, — «политический флирт» со стороны Александра должен был окончиться. Открылись и глаза Луизы. Побыв в Петербурге в 1808 г., встретив со стороны Александра холодное официальное отношение, столь разительное после прежних интимных и душевных взаимоотношений, оскорбленная в Тильзите, Луиза с горечью пишет той же своей подруге: «Человек, который любит только форму, это еще очень мало».[15] В Луизе все еще говорит благородная любящая женщина, обманутая в своих ожиданиях.

Но несколько уже другой тон звучит в 1823 г., в отзыве французского посла графа Лафероне: «Я всякий день более и более затрудняюсь понять и узнать характер императора Александра. Едва ли кто может говорить с большим, чем он, тоном искренности и правдивости… Между тем частые опыты,

история его жизни, все то, чему я ежедневный свидетель, не позволяют ничему этому вполне доверяться…» «Самые существенные свойства его — тщеславие и хитрость или притворство; если бы надеть на него женское платье, он мог бы представить тонкую женщину», — говорит об Александре в своих записках Фарнгаген. «Характер Александра, — по отзыву Меттерниха, — представляет странную смесь качеств мужа и слабостей женщины». Отсутствие правдивости и прямодушия отметит нам и панегирист Александра Алисой. Притворство, по словам Михайловского-Данилевского, человека, близко сталкивавшегося с Александром, составляет «одну из главных черт характера» императора! «Я беспрестанно наблюдал Императора и во всех его поступках наблюдал мало искренности; все казалось личиной»; «Я сохраню навсегда истинное уважение к великим его дарованиям, но не испытываю одинаковых чувств к личным его свойствам». Близкий Александру человек, гр. П.А. Строганов, отмечает ту же черту: «Наружная обворожительная любезность, за которой никто не мог уловить настоящих чувств его, и какая-то кокетливая скрытность чуть ли не перед самим собой». «Нет на свете государя более подозрительного, — записывает в сентябре 1814 г. большой поклонник Александра известный идеолог реакции Жозеф де Местр, — у него удивительное чутье и осторожность, чтобы отгадывать в людях, к чему они склонны».

Отсюда удивительное уменье использовать людей, приспособляться к ним и строить свои собственные успехи на чужой доверчивости. «У Александра, — замечает А.А. Кизеветтер, — хитрость и лукавство, способность носить непроницаемую маску на своем прекрасном лице стало для него сознательным орудием самосохранения». Вернее, однако, орудием не самосохранения, а проведения своих целей. При таких условиях Александр мало кому из людей доверял. Непостоянство Александра прекрасно видели его друзья. «Поверь мне, — говорил кн. П.М. Волконский Данилевскому, — что через неделю после моей смерти обо мне забудут». Полагаться на благосклонность Александра нельзя — это общий голос всех его приближенных. Александр всегда говорил, что он не переменчив. Само по себе уже одно это постоянное упоминание кажется биографу Сперанского, бар. Корфу, подозрительным. Оно свидетельствует о противоположном. И быть может, только по отношению к Аракчееву мы видим известное постоянство, но «Аракчеев, — замечает Корф, — составлял не правило, а изъятие». [16]

Иначе и не могло быть при том болезненном самолюбии,

которое отличало Александра, — отличало, как мы видим, еще в детские годы. Он был самолюбив до крайности и вместе с тем злопамятен. «Государь так памятен, — говорил Трощинский, — что ежели о ком раз один услышит худое, то уже никогда не забудет». Александр всегда жаловался, что у него нет людей, что он окружен бездарностями, глупцами и мерзавцами.

Жалуется на это Державину, Энгельгарту, Киселеву и др.: «Я не верю никому, я верю лишь в то, что все люди мерзавцы». Такой вывод мог бы явиться результатом привычки играть в жизни на слабых струнах другого.

И однако, как метко заметил Кочубей Сперанскому: «Иные заключают, что государь именно не хочет иметь людей с дарованиями!» Способности подчиненных как будто даже ему неприятны: «Тут есть что-то непостижимое и чего истолковать не можно», — добавлял Кочубей. Но в действительности у человека болезненно самолюбивого, стремящегося играть во всем первенствующую роль, черта эта совершенно естественна и понятна. Александр не переносил, когда обнаруживалась какая-нибудь его слабость, даже не слабость, а намеки на то, что он поступил под чьим-либо влиянием. Шишков из авторского самолюбия неосмотрительно сообщил великой княгине Екатерине Павловне, что он автор записки, побудившей Александра в 1812 г. оставить армию. Когда это обнаружилось, Шишков принужден был оставить должность государственного секретаря. Сперанский на себе более, чем кто-либо, испытал непостоянство Александра. Александр, конечно, не верил в его измену. По словам Лористона, «главная вина Сперанского состояла в нескромных отзывах об императоре». Поддаваясь в данном случае требованиям реакционных кругов, Александр отнюдь не хотел признаться в этой слабости и с гневом рассказывал проф. Парроту об измене Сперанского.[17] Перед Сперанским он был другим: «На моих щеках были его слезы», рассказывал Сперанский. А потом тщетно Сперанский старается оправдаться перед Александром: письма его систематически остаются без ответа.

Очевидно, Греч в значительной степени был прав, сказав про злопамятность Александра: он никогда прямо не казнил людей, а «преследовал их медленно со всеми наружными знаками благоволения и милости: о нем говорили, что он употребляет кнут на вате».

Александр неоднократно говорил, что он любит правду, любит ее сам говорить, любит ее и слушать. «Вы знаете, — писал он Екатерине Павловне, — что я не люблю создавать себе иллюзий, я люблю видеть все так, как оно есть на самом деле». «Я слишком правдив, — писал он Ростопчину по известному делу

Верещагина, — чтобы говорить с вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна, в особенности ее отнюдь не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше». Это писал Александр 6 ноября 1812 г., когда невинность Верещагина была ясно доказана, когда против Ростопчина говорило все общественное мнение, возмущенное жестокой расправой. Александр мог в 1801 г. сказать Ламбу, возражавшему против какого-то распоряжения по военной части: «Ах, мой друг, пожалуйста, говори мне чаще: не так. А то ведь нас балуют». Ответ этот привел в восторг И.М. Муравьева-Апостола, сообщавшего в письме к СР. Воронцову: «Все подобного рода анекдоты нынешнего восхитительного царствования». Но в действительности Александр не терпел, чтобы ему говорили правду. Он никогда не мог простить Карамзину резкость тона в его записке, порицавшей начинания первых лет царствования, показывавшей ошибки Александра, с чем — под влиянием событий — Александр чувствовал себя вынужденным согласиться. Он не мог переварить малейшей откровенности, малейшей критики и порицания своих действий. Весьма не понравились Александру возражения старика И.В. Лопухина против милиции в 1806 г. Лопухин высказывался против побуждения со стороны правительства к денежным пожертвованиям и упоминал лишь о том, что он видел «от того ропот даже не между бедным купечеством». Болезненное самолюбие проявлялось даже в таких мелочах. Сам если не масон, то якобы сочувствующий масонству, Александр посещает ложу «Трех добродетелей». А.Н. Муравьев, согласно масонскому обычаю, давая объяснения императору, обращается к нему на «ты», как к брату. Александр был сильно шокирован подобным обращением и впоследствии не забыл этой карбонарской выходки будущего декабриста.

При таком отношении к людям, скрывая даже от близких свои потаенные мысли, Александр обосновал на этой своеобразной дипломатии всю свою правительственную политику. Часто его приближенные с удивлением узнавали post factum то или иное действие, предпринятое по инициативе императора. Эти действия предпринимались иногда без ведома даже ответственных руководителей того или иного министерства. Император был сам своим министром, — писал Лебцельтерн. И это действительно было так с первых же годов царствования, особенно в политике международной. Что может быть характернее того факта, что о назначении мемельского свидания с прусской королевской четой не знали ни Кочубей, ни Чарторижский. А это шло вразрез с той общей иностранной

политикой, которую вело как бы с согласия императора Министерство иностранных дел. Современников чрезвычайно поражала эта черта императора, скрывавшего от своих сотрудников не только свои предположения и действия, но иногда и факты. Чаадаев, прибывший за границу к Александру с сообщением о волнениях в Семеновском полку, был поражен, услышав от своего шефа приказ ничего не говорить об этом кн. А.С. Меньшикову, бывшему начальником канцелярии Главного штаба. В 1809 г. записки Сперанского передавались Александру через каммердинера Мельникова с вымышленными печатями, дабы об этом не узнал Аракчеев. Вспомним, как таинственно позже, что называется через заднюю дверь, вводится к императору арх. Фотий, дабы об этом не узнал преждевременно друг Александра и враг Фотия кн. Алекс. Голицын. И так было постоянно и по отношению ко всем. Когда в июле 1825 г. Александр по просьбе Аракчеева принимает Магницкого, он озабочен, чтобы последний не встретился с Карамзиным, которому также назначена аудиенция. Он просит Фотия утешить Аракчеева в связи с убийством Минкиной, ибо «служение графа Аракчеева драгоценно для отечества» и требует «хранить в тайне» его письмо.

Одним словом, вся внутренняя политика была построена у Александра на сплошном обмане. У него вошло в обычай посылать особых доверенных лиц для выполнения тех или иных заданий, минуя своих министров: так, посылается без ведома министра иностранных дел Румянцева в 1805 г. в Берлин с секретным поручением к Фридриху Вильгельму кн. П.П. Долгоруков, так посылается Винцегероде к Наполеону в 1812 г. или позже Мишо де Боретур к римскому папе.[18] Особенно ярко сказалась усвоенная Александром система управления в эпоху Отечественной войны, в период которой почти к каждому из главнокомандующих приставлялись особо доверенные для царя лица, которые должны были доносить непосредственно Александру. Надо ли говорить, что в это время подобная политика была особенно неуместной.[19]

Понятно, что при таких условиях ни один более или менее крупный человек не мог быть долгое время в фаворе у Александра. Понятно, почему русские министры приобрели, как отмечает Меттерних в одном из писем к Лебцельтерну, плохую привычку своим сообщениям придавать краску, которая, как им кажется, будет приятна их венценосцу.

И вся эта политика Александра основывалась исключительно на самолюбии и на жажде личной славы.

Этими именно чертами его характера можно объяснить много

загадочных противоречий в деятельности Александра. Искание популярности, желание играть мировую роль, пожалуй, и были главными стимулами, направляющими деятельность Александра. Как человек без определенного миросозерцания, без определенных руководящих идей, он неизбежно должен был бросаться из стороны в сторону, улавливать настроения, взвешивать силу их в тот или иной момент и, конечно, в конце концов подлаживаться под них. Отсюда неизбежные уколы самолюбия, раздражение, сознание утрачиваемой популярности. Быть может, такова неизбежная судьба всякого игрока — и особенно в области политики. Доведенная даже до артистического совершенства, подобная игра должна была привести к отрицательным результатам. Таков и был конец царствования Александра I, когда, в сущности, недовольство охватывало и реакционные и либеральные круги русского общества. Реформаторские порывы, парализованные своей половинчатостью, не удовлетворяли и тех, на кого мог опереться Александр и у кого он снискал популярность на первых порах, не удовлетворили они и тех, кто свято блюл заветы старины. Глубоко ошиблась Екатерина в своем предвидении: «Я оставлю России дар бесценный — Россия будет счастлива под Александром».

А между тем мы знаем, что Александр начал царствовать при самых благоприятных ауспициях. Его воцарение было встречено дворянством с восторгом. «После бури, бури преужасной, днесь настал нам день прекрасный», — распевала гвардия. Русский посол в Италии Бороздин, узнав о смерти Павла, дал бал.

«Самому Тациту, — подтверждает Булгарин, — недостало бы красок для изображения той живой картины общего восторга, который овладел сердцами при вести о воцарении Александра». «Наш ангел», — писал о нем упомянутый Муравьев-Апостол; Александр, «хотя и рожден на троне, носит в сердце все чувства, составляющие сущность гражданина и друга человечества», — продолжает восхвалять в своей переписке 1803 г. неудержимый дифирамбист молодого императора его прежний воспитатель Лагарп, по своей наивности не понимавший той прямой отставки, которую он к этому времени получил.

Невозможно, конечно, сказать, каковы были задушевные мысли самого Александра. Вряд ли, однако, Александр был так наивен, чтобы думать, что «достаточно пожелать добра, чтобы осчастливить людей», и что благоденствие само водворится без всяких усилий с его стороны. Быть может, в его голове и роились грандиозные планы реформы «безобразного здания империи», убаюкивающие его самолюбие. Его туманные мечтания давали

повод говорить о его величии, о молодом монархе, который горит желанием «улучшить положение человечества»; предрекать, что Александр вскоре получит в Европе преобладающее влияние; намекать на то, что это крайне нежелательно «для некоторых равных Александру по могуществу, но бесконечно ниже его стоящих по мудрости и доброте», т.е. намекать, что Александр может явиться достойным соперником великого Наполеона, как это делал Стон в письме к Пристлею. Наполеон нес с собой деспотизм. «Ныне это — знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории, — писал Александр в 1802 г. по поводу объявления Наполеона пожизненным консулом. — Завеса упала; он сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный… доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего отечества». Именно таким бескорыстным деятелем должен был стать сам Александр, с тяжелым сердцем отказавшийся от добровольного изгнания, от мечтаний блаженствовать в сельском уединении, променявший скромную ферму на порфиру и корону только для того, чтобы посвятить себя «задаче даровать стране свободу».

Нельзя забывать и того, что этот либерализм диктовался условиями времени. Русское дворянство, отнюдь не склонное к мечтательным идиллиям о человеческом благе, еще менее чувствовало симпатии после кошмарного царствования Павла к проявлению самодержавного деспотизма; в нем достаточно сильны были олигархические тенденции. Обещание царствовать по законам Екатерины означало водружение старого знамени — дворянской монархии. И первые либеральные меры Александра восторгом встречались безотносительно к их либерализму—это была оппозиция прошедшему «царствованию ужаса».

«При восшествии В.И.В. на престол, — свидетельствует позднейшая критическая записка, вышедшая из дворянских кругов, — блестящая перспектива открылась очам народа; торжественное обещание управлять по законам и сердцу августейшей бабки Вашей сосредоточило к Вам все надежды и сделало Вас предметом всеобщего обожания».

Если событие 11 марта 1801 г. «подобно коршуну терзало его (Александра) чувствительное сердце», если «наподобие гётевскому Фаусту» ничто не могло «заглушить в нем немолчного голоса совести», то в равной мере на него действовало и впечатление страха.

Убийство Павла теперь достаточно выяснено. Очевидна и роль в нем Александра. Переворот совершился с ведома Александра.

Много фактов подтверждают слова Палена Ланжерону: «Мне

казалось невозможным действовать без согласия и даже содействия вел. кн. Александра». Это содействие выразилось, как известно, в назначении на караул Семеновского полка вне очереди. Плац-майор Михайловского дворца Аргамаков утверждал даже, что Александр непосредственно убеждал его вступить в заговор «не за себя, а за Россию». Если Александр имел после убийства вид человека, удрученного грустью и растерянного неожиданным ударом рока» (де Саглен), то все же он косвенно был отцеубийцей. Недаром Александр, узнав об убийстве Павла, воскликнул: «On dira que je suis un parricide» (скажут, что я отцеубийца).

И можно скорее удивляться, как мало в своей жизни он от этого страдал, особенно в эпоху позднейших религиозных переживаний.

Для личности Александра чрезвычайно характерно отношение к заговорщикам. Естественно, что он их не мог карать, раз сам участвовал в заговоре, хотя этого и требовал, быть может, престиж трона, как то пытался доказать Александру Лагарп в письме от 30 октября 1801 г. «Убийство Императора в его собственном дворце, — писал бывший воспитатель молодого царя, — в лоне его семьи не может остаться безнаказанным, без того, чтобы не попрать божеских и человеческих законов, не скомпрометировать достоинство монарха, не подвергнуть нацию опасности стать добычей недовольных, достаточно дерзких, чтобы отмстить монарху, распорядиться его троном и принудить его преемника даровать им безнаказанность». «Государь! — продолжает Лагарп, — только беспристрастное, публичное, строгое и быстрое правосудие может и должно обуздать подобные покушения». В ответ на это письмо Александр постарался поскорее избавиться от надоедливого ментора и выпроводил его из России.

Таким образом, баварец Ольри, писавший к себе на родину из Петербурга, что Лагарп «сохранил за собою полное доверие своего августейшего ученика», что до отъезда Лагарпа из России и во время его последнего пребывания в Петербурге император именно у него искал отдыха от дел и черпал советы, — глубочайшим образом заблуждался.

Из всех участников заговора наиболее враждебное отношение к себе испытали гр. Н.П. Панин и кн. Яшвили. Первый не был даже в числе непосредственных убийц Павла. Почему же по отношению к нему так прочна была опала? Не потому ли, что Панин, по его словам, обладал «одним автографом» для доказательства, что все «получило санкцию» Александра. Каков был этот автограф, к сожалению, мы не знаем. Зато мы знаем

другой автограф, послуживший причиной ненависти Александра к кн. Яшвилю. Он напечатан у вел. кн. Ник. Мих. — это письмо Яшвиля к молодому царю. Письмо заканчивалось призывом быть на престоле, «если возможно, честным человеком и русским гражданином. Человек, который жертвует жизнью для России, вправе Вам это сказать. Я теперь более велик, чем Вы, потому что ничего не желаю, и если бы даже нужно было для спасения Вашей славы… я готов был бы умереть на плахе; но это бесполезно, вся вина падет на нас, и не такие поступки покрывает царская мантия!» «Дерзновение» Яшвиля никогда не было прощено самолюбивым Александром. Отсюда негодование Александра на Кутузова, осмелившегося во время Отечественной войны принять Яшвиля на службу: «Вы сами себе приписали право, которое я один имею». Мелочного Александра возмутило то, что Кутузов в объяснение оговаривался, что он не знал, что Яшвиль под присмотром, но что «по его разумению сей человек… может быть очень полезен». Характерный штрих для Александра: в выговоре Кутузову он подписывается «всегда благосклонный», в пометке же для Аракчеева это сопровождается припиской «какое нахальство».

Недаром императрица Мария Феодоровна позднее (1806) писала своему сыну: «Ужасные события Вашего царствования поколебали трон… Вы принуждены были почти целый год покоряться обстоятельствам». Но тут же Завалишин отметит в своих записках, что, по мнению некоторых, начальные действия Александра «легко объясняются необходимостью скрывать истинное свое мнение и расположение, как вследствие обстоятельств, сопровождающих вступление его на престол, так и страхом, который наводили Наполеон и Франция, — страхом, заставлявшим и всех государей искать опоры и противодействия в привязанности народа—и возвышении их духа».

Плохо разбирался в условиях русской жизни Стон, писавший Пристлею об Александре: «Этот молодой человек почти с таким же макиавеллизмом выкрадывает деспотизм у своих подданных, с каким другие государи "выкрадывают" свободу у своих сограждан». Хорошо знавший Александра Чарторижский дал совсем другой отзыв, более близкий к реальной действительности: «Император любил внешние формы свободы, как можно любить представление. Он любовался собой при внешнем виде либерального правления, потому что это льстило его тщеславию; но кроме форм к внешности, он ничего не хотел и ничуть не был расположен терпеть, чтобы они обратились в действительность, — одним словом, он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну только его волю». Аналогичные свидетельства мы имеем и у

других современников. Этой чертой и следует объяснять «странное смешение философических поверий XVIII в. с принципами прирожденного самовластия», которое отличало Александра и, по мнению Корфа, являлось результатом воспитания «не вполне царского, не вполне философического».

При самом вступлении на престол Александра «из некоторых его поступков, — записывает ген. Тучков, — виден был дух неограниченного самовластия, мщения, злопамятности, недоверчивости, непостоянства в обещаниях и обманов». Этот дух действительно был заметен, что и дало повод А.И. Тургеневу говорить, что лучше деспотизм Павла, чем «деспотизм скрытый и переменчивый», какой был у императора Александра.

Республиканец на словах, Александр в то же время имел твердое представление о власти самодержавной, как об установлении божественном.

Как хороший актер, Александр умел это показывать в жестах, соответствующих позах. «Невзирая на неподражаемую его любезность и на очаровательность в обращении, — записывает Михайловский-Данилевский, — у него вырывались по временам такие взгляды… иногда блистало у него во взорах нечто такое, которое явно говорило, что он помнит в эту минуту, что он рожден самодержцем». «Он был велик, — записывает лейб-медик Тарасов в 1820 г. — на троне Государь изволил стоять в обычной, ему исключительно одному принадлежащей, позе».

Александр «деспот в полном смысле слова», — говорит де Клемм, наблюдавший царя в Польше в 1818 г. — Он никогда ни на йоту не поступится своей самодержавной властью, несмотря на то, что он почти всегда собой владеет, всякий, бывший свидетелем, как когда он не следит за собой, во всех его чертах отражается черствость, жестокость, проявляющаяся в судорожных гримасах, — тот не ошибется в том, что он деспот…» Таким образом, французский пленный в 1812 г. Маркиз де Серан с полным правом мог характеризовать царскую власть того времени в таких чертах: «Государь России является настоящим собственником всего находящегося в стране; его воля — закон, и он никому не отдает в ней отчета: sic volo, sic Iubeo, sic pro ratione voluntas».

Понятно, что при столь твердых и определенных самодержавных воззрениях в либеральных мероприятиях первых лет правления Александра не было «энтузиазма», как отмечает современник. Правда, отсутствие этого энтузиазма современник объясняет тем, что либеральные мысли Александра не были связаны с «диким или чудаческим представлением о свободе». Но естественнее предположить другое. Вспомним, что на практике

либерализм Александра не выдержал самого элементарного экзамена на первых же порах. Сенату, как известно, в 1802 г. было дано право делать представления государю по поводу указов, несогласных с прочими узаконениями. Это право современники готовы были уже рассматривать «как ограничение самодержавной воли монарха». Но император в действительности на первых же порах «обнаружил полную нетерпимость к самому законному и умеренному проявлению самостоятельных взглядов» сенаторов. И когда сенат однажды воспользовался своим правом, он вызвал глубокий гнев Александра: «Я им дам себя знать». И было растолковано, что сенат вправе обсуждать лишь законы, изданные в предшествующие царствования, делать представления по поводу их отмены, но не должен касаться законоположений, изданных царствующим государем. А между тем только за год перед тем Александр говорил, что он не признает «на земле справедливой власть, которая бы не от закона истекала»; когда ему подносили для подписи «Указ нашему сенату», он восклицал: «Как нашему сенату! Сенат есть священное хранилище законов: он учрежден, чтобы нас просвещать», и своим восклицанием приводит в умиление корреспондента гр. Воронцова. Таков был Александр, когда эпитет «ангел во плоти» как будто бы был у всех на устах. Но играя в либерализм, Александр не сумел уловить тон господствующих настроений в дворянской среде, или, вернее, дворянство не осознало достаточно истинных политических и социальных чаяний молодого монарха. Естественно, что и политические консерваторы, и политические англоманы одинаково оказывались в числе неудовлетворенных и недовольных. Это недовольство очень скоро стало проявляться в общественных кругах. О петербургских «coteries» сообщается уже на следующий год по воцарении.

В изображении жившего в это время в Петербурге баварца Ольри, сообщения которого были опубликованы вел. кн. Ник. Мих., общественное неудовольствие носит характер даже заговорщических предположений. Ольри всю интригу приписывает участникам бывшего дворянского переворота. «Пален и Зубов, — пишет он 18 сентября 1802 г., — в качестве вожаков заговора поставили императору Александру как условие — ограничение верховной власти и довольно свободно произносили слово "конституция"». Эта дворянская олигархия потерпела фиаско. «Партия Зубова и Палена, — продолжает баварец, — отличается своей к нему (Александру) ненавистью и не боится открыто называть его человеком ничтожным, неблагодарным и бесхарактерным. Если жизни его когда-нибудь будет грозить опасность, то несомненно эта опасность явится с

этой стороны». Ссылаясь «на сведения из хорошего источника», Ольри свидетельствует, что партия Зубова начинает выдвигать вдовствующую императрицу: «в публике во множестве расточаются похвалы» по ее адресу. Наконец другие обращают свои взоры на императрицу царствующую. Общий вывод баварца таков: «Составляя гороскоп данного положения, я не считал бы слишком смелым высказать предположение, что этот кризис кончится или монархией аристократической, или же царствованием императрицы Елизаветы».

Несомненно, в изложении баварца все преувеличено. Но тем не менее нет дыма без огня. Александр не мог не знать о разговорах в обществе, и, быть может, этими слухами и надо объяснить резкость его по отношению к описанному инциденту с сенатом: партия во главе с канцлером Воронцовым, замечает Ольри, под предлогом восстановления первоначального значения сената замышляет просить ограничения императорской власти. Эти петербургские «coteries» усиливались с каждым годом, по мере того как внешняя политика Александра терпела крушение.

И, в сущности, в 1805 г. Александр уже восстановил Тайную экспедицию для наблюдения за вольномыслием, запрещенными сходбищами, вредными сочинениями, следит за матерью, женою и друзьями и т. д. Глубоко прав был Д.Н. Свербеев, заметивший, что Александр «вопреки всем прекрасным качествам сердца не оставлял без преследования ни одной грубой выходки крайнего либерализма и имел обыкновение отрезвлять иногда очень долгим заточением или ссылкой тех, которые считались противниками его верховной власти». Припомним хотя бы позднейшую печальную судьбу лифляндского дворянина Бока,[20] заключенного за свою конституционную записку в 1818 г., направленную при письме Александру, в Шлиссельбургскую крепость и пробывшего там до конца дней Александра…

Александр был «слишком философ», как выразился Жозеф де Местр, чтобы заниматься черновой домашней работой, которая не сулила сделать его великим человеком. Александр мечтал о более широком поприще славы; в нем явно сказывалось, по словам Фонвизина, «притязание играть первенствующую роль в политической системе Европы, оспаривать первенство у Франции, возвеличенной счастливыми революционными войнами». В излишней самоуверенности Александр слишком торопился «играть роль в Европе». Он воображал себя великим полководцем. Но мог ли им быть тот, кто все воинское искусство видел в парадах, кто из всей военной тактики Наполеона заимствовал лишь эполеты тамбур-мажоров? Говорят, что Александр проявлял личную храбрость. Так, по крайней мере, свидетельствует Жозеф

де Местр и позднее Шишков. Однако и эту черту приходится подвергнуть сомнению. Не придворный уже льстец, а заурядный полковник Карпов в своих записках по поводу прославляемой храбрости Александра при Фершампенуазе говорит, что император скакал «самым маленьким галопом почти на месте, осматриваясь назад, чтобы кто ни есть удержал его от сей чрезвычайной храбрости». И Александр сейчас же отъехал в безопасное место, когда ему какой-то офицер сказал, что его жизнь слишком дорога и нужна России.

Мания военщины побудила Александра проявить себя во что бы то ни стало в роли полководца. Пожалуй, не только мания военщины, а своеобразная черта в характере Александра, отмеченная де Кламом, — любовь «хвастаться больше всего тем именно качеством, которым не обладал». И в данном случае поистине «прирожденный дипломат» во что бы то ни стало хотел состязаться с полководцем «милостью Божьей» именно в области стратегии. За границей он любил говорить: «я ничего не понимаю в политике, я только солдат». Недаром говорят, что от великого до смешного один шаг. Единственно, чего достиг Александр в этой области — это того, что кто-то при отзывах о военных талантах как-то поставил Александра выше Шварценберга, чем, однако, Александр крайне интересовался, как свидетельствует его фраза Вольцогену в 1815 г.: «Посмотрим, кто из нас двоих, я или Шварцеиберг, был великим полководцем в последних походах». Что делать, пришлось соревноваться с dies minores, раз военная слава Наполеона оказалась недостижимой. Завидовал Александр Шварценбергу, завидовал успехам Веллингтона. Таково было его мелкое честолюбие. Соперничество с Наполеоном на поприще брани на первых порах привело лишь к поражению Александра. Его боевая слава померкла, не успев расцвесть, на полях Аустерлица, что весьма чувствительно отзывалось на самолюбии Александра.

Его стратегические таланты не только соотечественники не признавали, но «все были уверены, по словам Вигеля, что неудачи сопутствуют Александру и являются всегда, где он лично присутствует». И собственная его мать с надоедливостью пытается доказать сыну «неуместность» пребывания его в армии и советует «воздержаться от личного командования и всякого вмешательства в военные действия».

В то же время Александр знал о тех оппозиционных настроениях, о тех мнениях, которые вращались в обществе и о которых ему, между прочим, сообщала вдовствующая императрица в письме от 18 апреля 1806 г. Она констатирует, что недовольство существует и в столицах и в провинции. Публика,

«не видя государя в ореоле славы, критикует вольно». Россия утратила свое влияние; еще одно проигранное сражение, и империя окажется в опасности. Россия утратила свое былое влияние в международной политике. «Кто знает, что в это время делается в Петербурге!» — сказал, по словам де Местра, кто-то из придворных после Аустерлица, и этого достаточно, чтобы Александр скакал в Петербург. А здесь, как сообщает Стединг, 28 сентября 1807 г. говорят даже о заговоре, о возведении на престол Екатерины Павловны. Конечно, все это были вздорные слухи, преувеличенные как и в 1802 г., но показывающие, однако, усиление непопулярности Александра.

Так, в ряде донесений за это время шведского посланника Стединга свидетельствуется о все увеличивающемся неудовольствии направлением политики Александра. «Видна оппозиция решительно против всего, что только делает император», — доносит французский атташе Савари. «Среди друзей императора, — замечает он, — нет никого, кто сумел бы исправить зло». В конце концов этот непрошеный друг нашелся, нашелся в Москве, где преимущественно создавалась дворянская оппозиция французскому направлению русской дипломатии. Александру в 1807 г. была подана записка, в резких чертах рисовавшая судьбу, уготованную стране, если только линия поведения не будет изменена. Мы не знаем автора этой записки. Был ли то Карамзин или, быть может, Ростопчин, авторству которого ранее она приписывалась, во всяком случае, как и материнские советы, она лишь уязвляла болезненное самолюбие русского монарха. Наступил последний час, говорила записка, который «остается для избежания ужасного, но неизбежного падения, которое угрожает отечеству и его главе, как и последнему из его подданных». «Только измена, — продолжал автор, — может стараться скрыть пропасть, разверстую под ногами Вашими». Автор считает необходимым привести «на память» Александру «лестные обещания», им «отечеству данные», и в то же время показать «плоды иных, им полученных».

Центральным пунктом нападения является иностранная политика — «имени Россиян посрамление». В действительности здесь дело шло не столько о посрамлении «имени Россиян», сколько о тех имущественных интересах, которые реально или мнимо затрагивались континентальной блокадой: так, она понижала курс рубля на 50 %; она затрагивала крупное поместное дворянство, как хлебопроизводителя. Историки еще спорят о влиянии континентальной блокады на хозяйственную жизнь страны. Для современников, однако, внешняя по крайней мере картина государственного благосостояния в то время

вырисовывалась в крайне неприятных красках. Торговый агент Лесепс, бывший в этот период в России, говорит о полном застое в торговле после Аустерлица, о царящем повсюду безденежье и на почве всего этого о всеобщем неудовольствии: «Уважение и любовь к монархам, которые народ сохранял с незапамятных времен, до такой степени ослабели, что надо опасаться всего: ропот стал уже явным, и открыто порицают поступки и поведение правительства». Лесепс рассказывает, что при возвращении Александра в Россию пришлось даже принять «смешные предосторожности» и подстроить «проявления поддельной радости» со стороны населения.

Что же, Александр в действительности подпал под влияние Наполеона и так легко согласился заменить свои мировые мечты положением «капрала французской армии», т. е. помогать в осуществлении мировой политики тому, которого в интимных беседах он называл не иначе как «ce diable ГЬогшпе»? Что же, Александр шел слепо на помочах у Наполеона, невзирая на общественное нудовольствие в России? Отнюдь нет.

Французский историк Вандаль так охарактеризовал значение Тильзита: это «искренняя попытка к кратковременному союзу на почве взаимного обольщения». Ну относительно искренности Александра приходится сомневаться. Когда Александр говорил Савари: «Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему (т.е. Наполеону), но после беседы… оно рассеялось, как сон», — то здесь сказывалось только то «в высшей степени рассчитанное притворство», о котором упоминает Коленкур и которое в области дипломатии у Александра доходило до виртуозности. В этом, по-видимому, солидарны все современники. «Александр умен, приятен, образован, но ему нельзя доверять; он неискренен: это — истинный византиец… тонкий, притворный, хитрый», — сказал Наполеон уже на о. св. Елены. «В политике, — писал шведский посол в Париже Лагербиелне, — Александр тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». «Искренний, как человек, Александр был изворотлив, как грек, в области политики» — таков отзыв Шатобриана. И, действительно, к международной дипломатии, где искренность всегда затушевана политическим расчетом, характер Александра I чрезвычайно подходил. И, быть может, он очень тонко вел свою линию от Тильзита до двенадцатого года.

Это была выжидательная неопределенность: «изменятся обстоятельства, можно изменить и политику». Пока же союз с Наполеоном был неизбежен; по крайней мере, для авторитетного положения Александра в европейских делах. Этим только и

следует объяснять новую французскую политику Александра.

Он был ее яркий противник, как мы видели в первые годы царствования. Александр был царь «немецкого происхождения», как выразился Жозеф де Местр, и существенно расходился в воззрениях с помощником своим по дипломатии в первые годы кн. Чарторижским. Последнему очень скоро пришлось устраниться. И как раз тогда как будто бы началась перемена, началась тогда, когда «тщеславное выказание своих сил» привело к краху.

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра,

— остроумно заметил Пушкин в своем известном шифрованном стихотворении.

Перед счастливой звездой Наполеона меркло взлелеянное в глубине души соперничество на мировую роль. Для Александра «ce diable d'homme», этот выскочка был ненавистен, тем более что ему, самодержавному монарху с челом, отмеченным Божественным Провидением, приходилось быть «смирным», приходилось скрывать до времени свои планы и прятать свое самолюбие. Но Александр никогда не мог простить Наполеону, «несмотря на все лобзания в Тильзите и Эрфурте», по выражению вел. кн. Ник. Мих., ответ Талейрана по поводу протеста русского двора против убийства в 1804 г. гер. Ангиенского. В этом ответе напомнили, что при убийстве Павла никто из заговорщиков не был наказан. Таких намеков Александр действительно никогда не мог простить, ибо личный престиж для него был дороже всего. А между тем бестактность «parvenu» на троне ставила Александра подчас в затруднительное положение. Таково было сватовство Наполеона к Анне Павловне. Как отказать тому, с кем в это время заигрывали? Мать писала о «позоре», которым бы покрыла себя царская семья, «высказав такую неустойчивость в принципах и убеждениях». Любимая сестра императора дает мудрый совет: сослаться на молодость, но сказать, что «императрица и император сочувствуют этому браку». Пока в Петербурге размышляли, Наполеон уже договорился по вопросу о женитьбе с австрийским двором. Дилемма разрешилась благополучно, но, в сущности, Александру наносился новый укол самолюбию: решение Наполеона было принято до получения ответа. Истинное отношение Александра к Наполеону необычайно ярко вылилось в одном восклицании в интимной записочке к Екатерине Павловне

из Тиль-зита: «Moi, passer mes journees avec Bonaparte!» Но приходилось не только проводить дни и часы с Наполеоном, но любезничать с ним и обольщать своей внешней искренностью, «внушить, — по заявлению А.К. Дживелегова, — Наполеону уверенность, что под обаянием его величия готов преклониться перед мировым гением». Ему удалось это внушить, во всяком случае, во времена Тильзита и Эрфурта. Наполеон на о. Елены говорил: «Никто не поверит, какие споры происходили между нами. Он утверждал, что наследственность верховной власти есть зло, и мне в течение более часа пришлось употреблять все мое красноречие и пустить в ход всю мою логику для убеждения, что на этой наследственности зиждится спокойствие и благополучие народов». Любопытный спор самодержавного монарха от природы и монарха выскочки. «Впрочем, — должен был тут же заметить Наполеон, — быть может, он меня лишь дурачил, потому что он умен, притворчив и хитер». Стоит сопоставить эти беседы с одновременными записками к Екат. Павл., чтобы ответить, кто кого дурачил. Игра требовала тем более выдержки со стороны Александра, что окружающие, как утверждал впоследствии Наполеон, постоянно рассказывали Александру в Тильзите и Эрфурте о насмешках Наполеона за глаза. Самолюбивый Александр не терпел этих насмешек.

Сорель убежден, что уже в период Мемельского свидания у Александра вырисовывается план на счет гегемонии в Европе. Для этого надо сломить Наполеона. Поэтому он хлопочет так о привлечении в 1804 г. Англии к союзу против Франции, тратит столь много увлекательного пафоса для убеждения королевы Луизы, что борьба с Наполеоном единственный путь для Пруссии. Мирясь с Наполеоном, он с легкостью совершает вероломный акт по отношению к Пруссии, которую сам усиленно толкал на борьбу. Все это дипломатия, сознательная, тонкая и расчетливая. Королева Луиза, обратившаяся во время Эрфуртского свидания к Александру не поддаваться Наполеону, разделила в этом отношении судьбу многих близких Александру лиц, т.е. проявила непонимание и наивность. «Я заклинаю Вас, — писала она, — будьте осторожны с этим ловким обманщиком и прислушайтесь к моему голосу, который говорит только ради вас, ради вашей славы, которую я люблю, как свою собственную». Между тем «кукольный архангел» Пруссии, по выражению Сореля, шел очень определенно по тому пути к славе, который наметил себе.

Утверждая (в письме к Марии Фед. из Эрфурта 25 авг. 1808 г.), что «наши интересы последнего времени заставили нас заключить тесный союз с Францией» и «что мы сделаем все, чтобы доказать ей искренность (?) и благородство нашего образа

действия», Северный Тальма[21] намекает уже о возможном падении Наполеона, «если на то воля Провидения».

К этой борьбе надо готовиться: «Bonaparte pretend que je ne suis qu'un sot. Rira le mieux qui rira le dernier», — пишет все в ту же Эрфуртскую эпоху Александр Екатерине Павловне. Только этой подготовкой следует объяснить эпоху Сперанского, те либеральные начинания, о которых основательно Александр стал забывать с 1803 г., когда прекратились заседания так называемого негласного комитета.

Конечно, Александр никогда серьезно не думал осуществлять широкие замыслы Сперанского, весьма скептически относившегося к конституционным мечтаниям «на словах». Хотя Сперанский и говорит о своем проекте 1809 г., что он был «принят как руководящее начало действия и как неизменная норма всех предстоящих и желательных преобразований», однако в действительности Александр отнюдь не был склонен поступаться прерогативами монарха: «император хочет только полумеры» — по выражению Строганова в 1806 г. Александр жаловался впоследствии де Санглену: «Сперанский вовлек меня в глупость», т.е. не понял той игры, которую вел Александр в Тильзите и Эрфурте. Увлеченный Наполеоном, он думал, что и Александр находится под таким же обаянием. В этом и была «роковая ошибка» русского реформатора, за которую он поплатился немилостью императора. Понятно теперь, почему Александр так легко отступил от Сперанского. Полицейские агенты Меттерниха на Венском конгрессе подметили у Александра любовь «взваливать на других, когда не мог выполнить своих преувеличенных обещаний». Если Александр в действительности, по замечанию де Местра, «рассчитывал соединить неумолимый деспотизм с фиктивным конституционализмом, который воздвиг Наполеон на развалинах французской республики», то настойчивое и последовательное реформаторство Сперанского должно было лишь раздражать царя.

Александру нужны были лишь практические меры Сперанского, так сказать, минимальная реформа, которая придала бы некоторую хотя бы стройность «безобразному зданию империи». На опасность недоконченных мер указывала и оппозиция (письмо 1807 г.). В этих реформах была слишком осязательная потребность ввиду предвидения неизбежного столкновения России с Францией.

Не все обладали в достаточной степени этой политической прозорливостью, не все понимали и политику Александра, которая в своих конкретных проявлениях в связи с

континентальной системой затрагивала материальные интересы господствующего класса. Первоначально имя Наполеона не вызывало в России «ненависти»; многие из политических консерваторов, как Карамзин, скорее готовы были его приветствовать за то, что он «умертвил чудовище революции». Но затем Наполеон сам делается «исчадием» революции, носителем революционных принципов. Для правящего дворянства все либеральные реформы являются также порождением революционного духа. Вот почему и Сперанский в консервативных кругах вызывал такое негодование. «Не знаю, — говорит Вигель, — разве только смерть лютого тирана могла бы произвести такую всеобщую радость», как падение Сперанского. Александр недостаточно учитывал первоначально оппозиционное дворянское настроение: он думал весельем в столицах парализировать «уныние», о котором говорили противники Наполеона. Ему не мог нравиться призыв московской оппозиции опереться на дворянство (в цитированной выше записке).

Александр боялся дворянства, так как ему неоднократно напоминали о дворцовых событиях 1801 г., напр. бестактная Мария Феодоровна.

Он никогда не забывал фразы в письме кн. Яшвиля: «Поймите, что для отчаяния есть всегда средство, и не доводите отечество до гибели». В этом заключалась не только оценка заговора, удушившего Павла, но и намек на возможное всегда будущее.

Возжигая в дворянстве любовь по принуждению, Александр подумывал и о других, более сильно действующих, средствах для поддержания своего престижа. Аракчеев могуществен, «как никогда», — отмечает в 1806 г. гр. П.А. Строганов, тот, в личности которого как бы олицетворялось «дней александровских прекрасное начало». Авторитет Аракчеева в это время и Жозеф де Местр объясняет исключительно только внутренним брожением в обществе: Александр захотел «поставить с собой рядом пугало пострашней». Поставить пугало, но сохранить насколько возможно свою либеральную популярность, т.е. переложить непопулярность на другого.

Александр относился подозрительно даже к патриотическому движению в дворянстве, что особенно ярко проявилось в период Отечественной войны.[22] Несмотря на эти опасения, Александр должен был последовать советам, которые давал ему Ростопчин еще в 1806 г.: возжечь в дворянстве «паки в сердцах любовь, совсем почти погасшую в несчастных происшествиях».

В действительности же либерализму была дана окончательная отставка.

Правда, в дипломатии либерализм как будто бы еще царит. Призывая Штейна в Россию в начале 1812 г., Александр пишет: «Решительные обстоятельства должны соединить… всех друзей человечества и либеральных идей… Дело идет… спасти их от варварства и рабства». Но ведь все это было лишь внешней прикрасой, как и все аналогичные заявления европейских правительств, говоривших о возвращении свободы, обещавших конституции «сообразно с желанием» народа. Это было одно из знамен для борьбы с Наполеоном, которым при известных случаях пользовался Александр. Совершенно так же самые заядлые крепостники, вроде гр. Ростопчина, в обращении к народным массам говорили о крестьянской свободе. В сущности говоря, и правительственные манифесты обещали эту свободу. Как иначе было бороться против наполеоновских прокламаций! Во всяком случае, в эту пору «решительный язык власти и барства более не годился и был опасен», как метко заметил ростовский городской голова Маракуев.

В период Отечественной войны Александр проявил большую твердость, удивившую отчасти и современников и историков. Это была эпоха «наибольшего развития его нравственной силы, — говорит Пыпин. — Обыкновенно нерешительный и переменчивый, не находивший в себе силы одолевать препятствия», Александр в это время «удивил своим твердым стремлением к раз положенной цели».

Эта твердость дает повод одному из историков Отечественной войны (К.А. Военскому) даже говорить, что «с мягкостью обращенья император Александр соединил удивительную настойчивость и железную силу воли. В семейном кругу его называли кротким упрямцем — le doux entete». Но упрямство и сила воли далеко не синонимы. Первая черта скорее признак слабохарактерности. Но обычное суждение о нерешительности Александра, о его уступчивости, как мы уже старались показать, действительно, может быть оспариваемо![23] В Александре была большая доля упрямства,[24] желания во что бы то ни стало настоять на своем. Это отметили еще воспитатели его ранней юности,[25] а позднее шведский посланник Стединг: «Если его трудно было в чем-нибудь убедить, то еще труднее заставить отказаться от мысли, которая однажды в нем превозобладала.» И когда дело затрагивало его самолюбие, он был удивительно настойчив. История с военными поселениями может служить наилучшим показателем. Если Александр бросался из стороны в сторону, то это не потому, что он искренно верил последовательно то в прогресс, то в реакцию. Как у тонкого политика, у него все было построено на расчете, хотя, быть

может, часто этот расчет и был ошибочен: жизнь народа, жизнь общества не укладывается в математические рамки. Жизнь подчас путает все расчеты. Да и можно ли учесть переменчивые общественные настроения, их силу или бессилие? Здесь ошибки неизбежны, сильный человек их сознает. Александр под влиянием обстоятельств менялся, но ошибок своих никогда не сознавал.

Поэтому с некоторыми оговорками характеристика мировоззрения Александра, сделанная Меттернихом, правильна: ему «нужно было два года для развития мысли, которая на третий год получала характер некоторой системы, на четвертый менялась, а на пятый к ней охладевал и она оставлялась, как негодная». «Все в его голове было спутано; он хотел добра, но не знал, как за него взяться для осуществления», — писал Меттерних Лебцельтерну 2 янв. 1826 г. уже после кончины Благословенного.

В Отечественную войну Александр проявил большую настойчивость вопреки ожиданию многих из современников. Как рассказывает Сепор в своих воспоминаниях, после взятия Москвы «Наполеон надеялся на податливость своего противника, и сами русские боялись того». Этой твердости также удивляется и Греч. Ведь за окончание войны возвысились весьма авторитетные голоса: Мария Феодоровна, великий князь Константин, Аракчеев, Румянцев. И только Елизавета Алексеевна и Екатерина Павловна были решительными противницами мира.[26] «Полубогиня тверская», как именовал Карамзин Екатерину Павловну, действительно, по-видимому, отличалась большой и неутомимой энергией; к тому же это была женщина, искренно ненавидевшая все то, что отзывалось революцией. Елизавета Алексеевна — «лучезарный ангел», по характеристике того же Карамзина, в свою очередь, проявила энергию в ночь с 13–14 марта 1801 года. По родственным связям она должна была ненавидеть Наполеона. Что же, Александр поддался влиянию женщин? О нет! Для него борьба с Наполеоном была делом личного самолюбия, в жертву которому он готов был принести многое.

«Наполеон или я, — сказал Александр Мишо, явившемуся к нему с донесением Кутузова после Бородина. — Я или он, но вместе мы не можем царствовать; я научился понимать его, он более не обманет меня». Понятно, почему все предложения о мире со стороны Наполеона оставались без ответа. Александр чувствовал свою силу. И не нужно было вовсе Ростопчину лезть с непрошеным советом: «О мире ни слова: то было бы смертным приговором для нас (т.е. дворян) и для вас» (письмо 13 сент.). Непрошеные советы лишь раздражали уверенного в себе соперника Наполеона.

«Среди этой борьбы, — доносил в 1812 г. сардинский

посланник де Местр, — я любуюсь императором. Он принес великие жертвы, превозмог страшные затруднения и с большим искусством примирил страсти самые непримиримые. Я не сомневаюсь, что ему пришлось делать многое против своих склонностей и убеждений, но меня именно это и восхищает». Главная жертва, которую должен был принести Александр на алтарь Отечества, заключалась в том, что он обстоятельствами вынужден был отказаться от роли полководца и передать военную славу другим. Как не хотел он этого делать по отношению к Кутузову! И как он не любил Кутузова и Ростопчина, которым именно вынужден был предоставить играть первые роли в период Отечественной войны: первому, удовлетворяя общественное мнение — «c'etait le cris general», — писал Александр сестре Екатерине; второму, делая уступки оппозиционному дворянству. Про Кутузова он сказал гр. Комаровскому: «Общество желало его назначения, и я его назначил. Что же касается меня, то я умываю руки». Александра более всего задевали настойчивые советы родни не вмешиваться в военные распоряжения, эти убеждения, что даже его присутствие в армии портит дело, что армия не имеет к нему доверия, как к военачальнику и т. д.[27] С обычной для себя рисовкой, так сказать, кокетничая несколько с самим собою, Александр высказал свое затаенное желание довольно определенно в разговоре с гр. Эделинг. Собеседница впоследствии так воспроизводила эту беседу: «Мне жаль только, — говорил Александр, — что я не могу, как бы желал, соответствовать преданности этого удивительного народа. Этому народу нужен вождь, способный вести его к победе, а я, по несчастью, не имею для того ни опытности, ни нужных дарований. Моя молодость протекла в тени двора; если бы меня тогда же отдали к Суворову или Румянцеву, они меня научили бы воевать и, может быть, я сумел бы предотвратить бедствия, которые теперь нам угрожают»…

«Ваши подданные знают вам цену, — возражает Эделинг, — и ставят вас во сто крат выше Наполеона и всех героев своих». «Мне приятно этому верить, потому что вы это говорите, но у меня нет качеств, необходимых для того, чтобы исполнять, как бы я желал, должность, которую занимаю».

Таково было оправдание перед женщиной неудачливого полководца. Конечно, бальзам на душу Александра в виде комплимента женщины не мог в действительности залечить рану, нанесенную самолюбию.

Соперничество с Наполеоном заставило Александра быть столь же твердым в решении продолжить борьбу за границей и, воспользовавшись благоприятным моментом, сломить

могущество Наполеона.

Александр охотно отзывался на призывы Штейна быть освободителем Европы. Прусский патриот, как мы уже знаем, верил в искренность либерализма Александра. «Пусть не удастся низости и пошлости, — писал он в начале 1814 г., — задержать его полет и помешать Европе воспользоваться во всем объеме тем счастием, какое предлагает ей Провидение». И как бы следуя Штейну, Пыпин доказывал, что энергию Александра данного времени нельзя объяснить тем, что «борьба с Наполеоном, решение судьбы Европы представляли деятельность, завлекавшую его тщеславие и честолюбие»; энергия Александра была возбуждена тем, что «на этот раз он был вполне убежден в своем предприятии, в его необходимости и благотворности для человечества, а также тем, что на этот раз его деятельность находила полную, безусловную опору в голосе нации… К этому присоединился еще новый возбуждающий элемент, не действовавший прежде — элемент религиозный».

Конечно, в период Отечественной войны Александр находил «безусловную опору в голосе нации». Но заграничные походы были популярны только в некоторых либеральных кругах, еще не разочаровавшихся в Александре и окрашивавших всю его деятельность в розовый цвет: «Александра другого нет в веках, — писал кн. Петр Вяземский Ал. Тургеневу в апреле 1814 г. по поводу взятия Парижа. — Роль его прекрасная и беспримерная. Цель его побед — завоевание свободы и счастья царей и царств: история нам ничего прекраснее, славнее и бескорыстнее не представляет». В придворной среде они вызывали не меньшее возражение, чем нежелание Александра заключить мир после занятия Москвы Наполеоном. Прежде всего, «война 1812 г. принесла России более бесславия, нежели славы», как записал Погодин в своем дневнике в 1820 г. «Поход 1812 г., — писал Ростопчин Александру 24 сентября 1813 г., — охладил воинственный пыл генералов, офицеров и солдат». Старец Шишков очень боялся, что в более благоприятных условиях вновь разовьется военный гений Наполеона и Россия потерпит поражение. Фанатик реакции, Ростопчин, пессимистически смотревший на будущее («трудно ныне царствовать: народ узнал силу и употребляет во зло вольность», — писал он Брокеру в 1817 г.), только и думавший о борьбе с так называемым внутренним врагом, считал, что Наполеон уже «ускользнул» и что следует «подумать о мерах борьбы внутри государства с врагами вашими и отечества», как сообщал он Александру 14 декабря 1812 г. Не хотел этой новой борьбы и Кутузов, видевший в Наполеоне как бы противовес против Австрии и Пруссии. Но для

Александра заграничные походы открывали широкую арену для деятельности, для популярности, для влияния на Европу, чего он так давно добивался. И одна невольно вырвавшаяся у него фраза как нельзя отчетливее передает чувства Александра, когда он сделался победителем и в то же время освободителем Европы. Когда А.П. Ермолов поздравил Александра с победой при Фершампенуазе, император ответил торжественным тоном: «От всей души принимаю ваше поздравление, двенадцать лет я слыл в Европе посредственным человеком; посмотрим, что она заговорит теперь». Самолюбивый Александр страдал оттого, что его могли считать посредственным человеком, а низвергнутого им соперника — гением. Что Александра многие считали таковым, [28] показывает отзыв Наполеона, писавшего после Тильзита Жозефине: Александр «гораздо умнее, чем думают»… Александр в этом отношении мог бы считать себя удовлетворенным, если бы знал, что Наполеон на о. Елены, оценивая свои отношения к русскому царю, заявлял в конце концов: «Если мне суждено умереть здесь, то он по праву будет моим преемником в Европе». Недаром по поводу анонимной книги, появившейся в Англии в 1817 г., «Manuscrit venu de S-te Helene d'une maniere Inconnue», Меттерних замечал в письме к Лебцельтерну: Александр будет доволен, он поставлен в ней высоко. «Мир слишком долго был занят колоссом, который грозил всеобщему существованию; теперь, когда он уничтожен, взор обращается к другому колоссу», — писал австриец Лебцельтерн. Этим другим колоссом становился соперник Наполеона. Силою вещей макиавеллизм победил стратегию. Мечты начинали воплощаться в реальную форму. «Европа говорит только об Александре», — писал Вяземский Тургеневу. И Александр мог с гордостью и торжеством продолжать свое европейское шествие. «Наше вхождение в Париж, — сообщал Александр Голицыну, — было великолепным… Все спешило обнимать мои колена, все стремилось прикасаться ко мне; народ бросался целовать мои руки, ноги; хватались даже за стремена, оглашали воздух радостным криком». Как радостно должен был себя чувствовать русский император, въезжая в Париж в ореоле блеска и славы на сером коне, когда-то подаренном ему Наполеоном! «Ну что, Алексей Петрович, теперь скажут в Петербурге; меня считали за простачка», — самодовольно бросит тому же Ермолову великий человек и тем самым проявит и свои истинные вожделения и свою неглубокую натуру. В мелочах подчас познается истина.

Александр ищет до смешного этой популярности. Готов сам подчас навязаться. Незначительный, но характерный эпизод рассказывает де ла Гард в своих воспоминаниях о Венском

конгрессе. Дело происходит в венском Пратере. Императоров окружает толпа. Александр видит, что какой-то крестьянин усиленно работает локтями, чтобы пролезть вперед. Любезный и обходительный русский царь сам подходит к этому месту со словами: «Милый друг! вы, вероятно, хотите видеть русского императора; смотрите на меня, расскажите потом, что вы с ним говорили…»

И хоть война с Францией могла быть окончена без занятия Парижа, на что и склонялись союзники, Александр не мог отказаться от въезда в Париж, «русский император, — замечает английский министр иностранных дел Кесльри, — кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности, для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной столицы».[29]

В последнюю стадию борьбы с Наполеоном Александр также был одним из наиболее настойчивых и последовательных его противников. Вовсе не потому, что Европа, «упадая перед ним (Александром) на колени и с воздетыми к небу руками, молит его быть ее спасителем», как казалось наивным представителям александровского времени, братьям Глинкам. Александр готов был «положить меч свой», только низвергнув Наполеона, только разрешив дилемму, вставшую перед ним задолго до 1812 года: «Наполеон или я». Образ Наполеона, только один он стоял перед ним. Его самолюбивая политика вовсе не была дальновидной и, конечно, велась не в интересах русского государства, как целого. В одном из позднейших писем Гнейзенау к Чернышеву (1831) можно, пожалуй, найти разгадку и прусской политики Александра, очень в сущности далекой от рыцарского чувства к королеве Луизе: «Если бы император Александр, — писал Гнейзенау, — по отступлении Наполеона из России не преследовал завоевателя, вторгнувшегося в его государство; если бы он не продолжал войны; если бы он удовольствовался заключением с ним мира, то Пруссия находилась бы по сейчас под влиянием Франции, и Австрия не ополчилась бы против нее. Тогда не было бы острова св. Елены, Наполеон был бы еще жив и один Бог знает, как он возместил бы на других те невзгоды, какие ему пришлось вынести у вас. Вашему союзу мы обязаны настоящей нашей независимостью».

На словах Александр так часто выказывает себя чрезвычайно скромным. Это побудило даже, по словам Глинки, Моро воскликнуть в Праге: «Государь, вам одно вредит — собственная ваша скромность». В действительности здесь опять только поза Александра; по замечанию де Клама, он «притворно приписывает себе и России ничтожную роль». Мечты его распространяются на

весь мир. Он желает мира только во имя собственных интересов, во имя личной славы: «От него должны исходить покой и счастье мира, и вся Европа должна молча признать, что это его дело».

Поэтому, то Александр так раздражался в Европе, когда встречал противодействие в дипломатических планах других держав. И он готов был принять даже позу, что он «друг в несчастьи» Наполеона. Он подчеркнуто в Париже будет посещать Жозефину и Гортензию, будет кокетничать, определенно лгать Колленкуру, обвораживать Нея и Макдональда, говоря, что будет поддерживать идею регентства с Марией-Луизой во главе. Но как ни антипатичен был лично представитель Бурбонской династии Александру, вся его игра с наполеоновскими приспешниками была лишь ловким шахматным ходом.[30]

II

Какую же сыграл роль другой привходящий элемент, религиозный, в деятельности Александра? В юности у Александра была одна только религия — религия «естественного разума». После Отечественной войны он явно делается пиэтистом и мистиком — он все делает для Христова царствования, им руководит только Промысел Божий (из письма к Кошелеву). Так на него повлиял вихрь пережитых событий; в 1814 г. из-за границы он «привез домой седые волосы». «Пожар Москвы, — говорил Александр в беседе с немецким пастором Эйлером 20 сентября 1818 г., — просветил мою душу, а суд Господень на снеговых полях наполнил мое сердце такой жаркой верой, какой я до сих пор никогда не испытывал… Теперь я познал Бога… Я понял и понимаю Его волю и Его законы. Во мне созрело и окрепло решение посвятить себя и свое царствование прославлению Его. С тех пор я стал другим человеком». Мистическому настроению легко увлечь в свои недра. Мистики разного типа заполоняют внимание Александра. В их туманных, а подчас бредовых идеях черпается вся мудрость жизни. Александр в Карлсруэ при посещении баденского герцога поучается у самого Штиллинга — этого оракула западноевропейского мистицизма и такого же непреложного авторитета русских мистиков.

В полуночных беседах с баронессой Крюденер Александр является в виде кающегося грешника, сокрушающегося о прошлой жизни и прошлых заблуждениях. «Крюденер, — говорит Александр, — подняла предо мною завесу прошедшего и представила жизнь мою со всеми заблуждениями тщеславия и суетной гордости». Он часами беседует с религиозными энтузиастами квакерами-филантропами Алленом и Грелье, прочувственно плачет, когда ему говорят об ответственности, лежащей на нем, на коленях целует руки вдохновенным проповедникам и в глубоком, торжественном молчании, длящемся несколько минут, ожидает «божественного осенения»: это молчание, вспоминал потом Аллен, «было точно восседание на небеси во Иисусе Христе». Иисус Христос присутствует незримо и во время обеда Александра с Меттернихом и Крюденер — для Иисуса накрывается даже особый четвертый прибор (воспоминания Баранта). Точно так же Александр покровительствует и татариновским радениям: его сердце «пламенеет любовью к Спасителю», когда он читает письма вице-президента Библейского общества, обер-гофмейстера Р.А.

Кошелева по поводу кружка Татариновой, платить которой 8000 р. в год Александр получает распоряжение «на молитве». Он обращается ко всякого рода пророкам и пророчицам, чтобы узнать намерения Провидения: юродивый музыкант Никитушка Федоров, вызванный к Александру, как пророк, награждается даже чином XIV класса и т. д. Из подобных бесед, из библейских выписок, сделанных Шишковым в Германии применительно к современным политическим событиям из глав пророка Даниила, Александр черпает идеи Священного союза и убеждается, что он — избранное орудие Божества. Как Наполеон послужил бичом Божи-ем для выполнения великого дела Провидения, так и Александру предназначена великая миссия освобождения Европы от влияния «грязной и проклятой» Франции (Михайловский-Данилевский). Можно ли здесь заподозрить какую-либо неискренность? Тенёта мистицизма и ханжества очень цепки, но нельзя забывать и того, что новая идеология, обосновывающая европейскую политику Александра, чрезвычайно гармонировала с его старыми мечтами. Серьезно ли было влияние Крюденер на Александра? Быть может, глубоко прав был один из первых биографов г-жи Крюденер, сказавший: «Очень вероятно, что Александр делал вид, что принимает поучения г-жи Крюденер, для того, чтобы думали, что он предан мечтаниям, которые стоят квадратуры круга и философского камня, и из-за них не видели его честолюбия и глубокого макиавеллизма». Александр любил выслушивать пророчества и тонкую лесть Крюденер и ей подобных оракулов. «Чей образ должен стоять перед глазами каждого христианина, как не образ Александра Освободителя», — восклицал Штелинг. «О, какое счастье для русских иметь христианина монархом», — вторит Крюденер. «Я ничего не хочу, кроме Вашей славы»… «Моя жизнь посвящена Вам, и я Вас прославляю среди народов и государств как Божьего избранника».

Но Александр очень не любил, когда эти пророки реально вмешивались в область дипломатии. И когда Крюденер, окруженная славой, явилась в петербургские салоны и попробовала вмешаться в неподлежащую ей сферу, слишком назойливо уже выставляя свои заслуги и свое пророческое положение: «мой голос Вас призывает» — Александр сначала учредил за ней негласный надзор, а затем и выслал ее из Петербурга.[31] И любопытно, что и в данном случае все попытки Крюденер в течение двух месяцев, как она свидетельствует в большом письме к Александру 2 мая 1822 г., увидаться с ним и объясниться были тщетны. Конечно, и письмо с напоминанием о старых обещаниях, о великих пророческих талантах осталось без последствия. Письмо достигло скорее противоположного

результата, так как Александр не любил упреков за нарушение даваемых им обещаний.

Не надо забывать и того, что новые религиозные идеи дали новое освещение и Отечественной войне.[32] Наполеона победила природа. Войдя в Россию, предсказывал Шишков, Наполеон «затворился в гробе, из которого не выйдет жив». Это слишком простое объяснение потрясающим событиям, только что пережитым, казалось уже неудовлетворительным для современников. Надо было найти более глубокий смысл. Если прежде Отечественная война выставлялась, как борьба за свободу, то ее теперь готовы рассматривать в соответствии с новыми мистическими настроениями, как тяжелое испытание, ниспосланное судьбой за грехи. Суд Божий произошел на снеговых полях… Современное дело выше сил человеческих. Здесь явлен «Промысел Божий». Новое объяснение упрощенно разрешало целый ряд сложных обязательств, ложившихся на правительство. Истинным героем отечественной войны был русский крестьянин.. Его надо было вознаградить. Только одну награду ждали — освобождения от рабских цепей. Но если отечественная война наслана была Провидением, кто из смертных может воздать должное народу, который Сам Бог избрал орудием мщения! Русский народ совершил великую миссианскую задачу. Он должен гордиться тем, что Бог избрал его «совершить великое дело», и, не предаваясь гордости, смиренно благодарить «Того, Кто излиял на нас толикие щедроты». «Кто, кроме Бога, кто из владык земных и что может ему воздать? Награда ему — дела его, которым свидетели небо и земля», — гласил манифест 1 января 1816 г. «Не нам, не нам, Господи, а имени Твоему» — вот эпилог войны. И в виде утешения в горестях народу дана была Библия.

Обоснование международной и внутренней политики на христианских началах, вступление России на «новый политический путь — апокалипсический», как метко выразился Шильдер, влекло за собой реакцию во всех сферах общественного и государственного уклада. Мрачная реакция, реакция без поворотов, без отступлений, без колебаний и характеризует вторую половину царствования императора Александра. Скоро мистицизм был, в свою очередь, заподозрен в революционизме. Мистицизм сменила реакция ортодоксальная, и просветов, которые отмечали «дней александровых прекрасное начало», уже не повторялось.

Александр разочаровался, говорят, в своих прежних политических идеалах. Реформаторские неудачи вызывают раздражение, скептическое отношение ко всему русскому, нравственное уныние завлекает Александра в тенёта

ухищренного мистицизма. Россия оказалась неподготовленной к осуществлению благожелательных начинаний императора, и он охладевает к задачам внутренней политики. Он «удаляется от дел». Но в это обычное представление надо прежде всего внести один существенный корректив. Может быть, некоторым из современников и казалось, что Александр, возненавидевший Россию (Якушкин), удалился от дел. Европа и мрачная непрезентабельная фигура временщика Аракчеева закрывали собой Александра.

В действительности, однако, как неопровержимо теперь уже выяснено, в период реакции и охлаждения к делам Александр следил за всеми мелочами внутреннего управления. Дела Комитета министров не оставляют никакого сомнения в этом. Если различные мемории Государственного совета и Комитета министров нередко и валялись долгое время под императорским столом в особых «чемоданчиках» в «ожидании царского взгляда», то причина этого была в ином: припомним, как записка Анштета по польскому вопросу должна была стушеваться перед гусарским мундиром, который заполнил помыслы императора в те дни, когда должна была быть представлена записка. Солдатчина и форма всегда у него на первом плане. Отступление от установленного само по себе есть уже проявление революционного духа. Царь пишет личное письмо М.С. Воронцову 2 мая 1824 г.: «Я имею сведения, что в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из польских губерний и даже из военнослужащих без позволения своего начальства. Многие такие лица, как с намерением или по своему легкомыслию, занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние». Наряду с вопросом о толках политических Александра будет занимать и вопрос о том, что «военные чины не наблюдают предписанной формы в одежде». Узнав в Лайбахе, что полк. Корсаков позволил себе расстегнуться на балу в дворце, он пишет Милорадовичу об этом, — добавляя, что «чинопочитание» надо особенно соблюдать в «нынешние превратные времена» и что Корсаков замечен «вольнодумством» в происшествии Семеновского полка.

Аракчеев, которого любили выставлять каким-то злым гением второй половины царствования Александра, был лишь верным исполнителем велений своего шефа. Аракчееву приписывали инициативу и военных поселений, но несомненно, что творцом этого неудачного детища александровского царствования, вызывавшего наибольшую ненависть и оппозицию в обществе и народе, был сам император. Мы знаем также, что многие из знаменитых аракчеевских приказов правились самим

Александром, некоторые из черновиков написаны его рукою (свидетельство П.А. Клейнмихеля). Таким образом Александр сознательно скрывался за Аракчеева, как бы возлагая на него всю ответственность перед обществом за ход государственной жизни и тем самым перекладывая на «злодея»-временщика свою непопулярность. Это, как мы видели, отметил еще де Местр. На это жаловался подчас сам Аракчеев, напр., в 1812 г., когда он был назначен быть в армии «без дела, без пользы; а только пугалом мирским». А популярность Александра с каждым годом падала. Росла оппозиция — оппозиция не консервативно-дворянского характера, а прогрессивная. В этом отношении Александр не учел той роли, которую могли иметь заграничные походы, так называемая освободительная война. Ответом на оппозицию была реакция; в ответ на реакцию усиливалось оппозиционное настроение с революционным оттенком. Это типичное историческое явление не миновало России. Отсюда понятны и раздражение и скептицизм Александра.

В Западной Европе «мирно-религиозная» идиллия Священного союза с ее заветами христианской морали приводила к тем же результатам — к воплощению в жизни меттерниховской «системы». Но там для Александра была привлекательна лишь авторитетная роль, которую он играл на конгрессах, как освободитель Европы, как самый могущественный европейский государь, как самый надежный оплот престолов и монархических принципов. Ему льстило внимание, которое ему уделяли монархи и избранные члены европейского общества. Там его самодержавной власти непосредственно не угрожали никакие потрясения, там он был в стороне от той неурядицы, от того хаоса, который охватывает Россию в последние годы царствования Александра. Там все для него облекается в радостный «вид», и он не видит «только разорение», не слышит только одни «жалобы». Для Михайлфо на самом деле это для Александра психологически совершенно естественно. Отечественная война выставлялась как народная и таким образом фигура Александра тем самым заслонялась. В эпоху наполеоновского нашествия не Александр играл первую роль. Не то было в походах 1813—1814 гг. Отсюда и вытекал тот преимущественный интерес, который удивлял современника-мемуариста. В России, рассказывает Михайловский-Данилевский, Александр «редко во время путешествия входил в разговоры о нуждах жителей», за границей он охотно «посещал дома поселян». За границей Александр иногда не прочь надеть и либеральную тогу, которая ни к чему не обязывала. Меттерних в общественном мнении выставлял Александра истинным вдохновителем

реакции, и Александр, как бы в ответ, на Ахенском конгрессе в 1818 г. выскажет мудрую мысль, что правительства, став во главе общественного движения, должны проводить либеральные идеи в жизнь. Добрый «угодник Запада» вовсе не хотел слыть в Европе за реакционера. Он чрезвычайно интересовался, по словам Греча, что говорят о нем в салоне Сталь, как отзывается о нем Шатобриан и др.

Он сумеет сделать свой обычный красивый жест в Париже в 1814 г. при виде знаменитого польского патриота Косцюшко: «Дорогу, дорогу, вот великий человек».

Личная переписка Александра с Аракчеевым дает обильный материал для характеристики мелочной политической подозрительности благословенного монарха. Он пишет, напр., Аракчееву 4 марта 1824 г.: прикажи «обратить бдительное внимание на приезжающих из Петербурга в ваш край». Оказывается, что также бдительно за всем, что «относится до наших военных поселений», смотрит сам Александр: «глаза мои ныне прилежно просматривают записи о проезжающих». Он усмотрел, что в Руссу проехал ген.-м. Воронов и некоторые другие. В числе их некий полк. Аклечеев, замеченный между «либералистами» во время происшествий Семеновских. Это и послужило поводом напомнить Аракчееву о необходимости бдить. «Может быть, — добавляет Александр, — они поехали и по своим делам, но в нынешнем веке осторожность не бесполезна», ибо, — добавляет Александр через несколько дней по поводу допроса одного арестованного крестьянина, — «петербургская работа кроется около наших поселений», но «на настоящий след мы еще не попали».

Александр не ошибался, что деятели тайных обществ рассчитывали на неудовольствие военных поселян. Но напрасно думать, что именно в последние годы началась бдительность Александра, когда Аракчеев становится единственным реальным советчиком царя, уже один Аракчеев удостаивается приглашения обедать вдвоем с Александром. И в эти годы дело было не во влиянии каждодневного Аракчеева. Из Троппау Александр предписывает Васильчикову усилить «бдительное наблюдение за подозрительными лицами». Хотя он и писал тут же, что «Dieu fera le rested, однако Бога в действительности заменяла полицейская палка. До Семеновской истории, узнав о каком то случае в театре, показавшемся императору неблагонадежным, последний предписывает Аракчееву из Ахена (24 октября 1818 г.) наблюдать за актерами и «при первой дерзости» с их стороны арестовать и посадить в смирительный дом; «я предпочитаю иметь дурной спектакль, нежели хороший, но составленный из наглецов. В

России они терпимы не должны быть».

Таким образом, русский император был не только своим собственным министром, но и своим собственным полицмейстером. Пожалуй, подчас и своим собственным цензором задолго до той поры, как усталый удалился якобы от дел, предоставив управление своему доверенному временщику. Так было еще в 1812 г., когда суровая цензура, исключавшая все неблагоприятное для русской армии, руководилась непосредственно Александром. На Аракчеева долгое время возводился незаслуженный поклеп, что он, руководя военной цензурой, скрывал правду от своего шефа. Так было якобы, напр., с донесением Кутузова о Бородинской битве, что и дало повод Александру писать своей сестре Екатерине Павловне, с которой находился в интимной, откровенной переписке, о победе. Теперь, однако, доказано, что все поправки, все пропуски в официальной реляции сделаны непосредственно рукою Александра. Как, однако, это показательно для искренности Александра, обманывавшего свою сестру даже в личной, интимной переписке!

Он внимательно будет выслушивать мечтательные планы энтузиаста Овэна, признавать всю их важность, будет соглашаться с квакерами, что царство Христа есть царство справедливости и мира, что союзные государи должны руководиться правилами христианской морали, «если кто тебя ударит по щеке, подставь ему другую!», быть отцами своих подданных, будет говорить против рабства, возмущаться в парижских салонах торговлей неграми, а когда речь зайдет о крепостном праве в России, скажет: «С Божьей помощью оно прекратится еще в мое управление».

Иногда в России он намекнет на возможность установления «законосвободных учреждений». Он будет в 1811 г. говорить Армфельду, что конституционные порядки в Финляндии ему гораздо более по душе, чем самовластие, — и такое убеждение не помешало ему не собирать финляндского сейма. Он то же скажет и при открытии польского сейма в 1818 г. Тогда же Новосильцев, по его поручению, будет составлять свою «уставную грамоту». Любовь к «конституционным учреждениям» будет фигурировать в беседе с Лафероне даже еще на конгрессе в Тропау, а в 1825 г. с Карамзиным, этим «республиканцем в душе». Лафероне он будет утверждать даже, что дал бы России конституцию, если бы не надо было «сдерживать революцию». Он будет утверждать, что жил и умрет республиканцем, — и особенно будет это делать в дамском обществе, что наименее обязывает. «Я не признаю на земле справедливой власти, которая бы не от закона истекла», — будто говорит он кн. М.Г. Голицыной. «Государь! Вы все можете

сделать», — скажет ему некая помещица в Перми в 1824 г. «Не могу, — ответил государь, — законы не дозволяют». «Законы во власти царя». — «Нет, сударыня, законы выше царей».

Диалог записан в воспоминаниях Свиязева.

Каждому преподносится при случае кушанье в его вкусе. Конституционалистам он будет говорить в 1817 г., что «государь должен оставаться на своем месте лишь до тех пор, пока его физические силы будут ему позволять это; после этого он должен удалиться». Людям типа А.Ф. Орлова, будущего шефа жандармов при Николае I, он скажет иное по поводу восстания в Неаполе, результатом которого является конституция; в его присутствии он будет удивляться, как может неограниченный государь по собственному добровольному почину давать конституцию, связывающую его свободу воли.

Таким образом, все эти либеральные фразы были одной из тех многочисленных поз, которые, в конце концов, повергали в полное недоумение современников: что же, Александр говорит «от души или с умыслом дурачит свет?» Это одна из черт того арлекинства, которое отметил Пушкин. В устах самодержавного монарха республиканские идеи были красивы и эстетичны. Напоминания о них в период реакционных вакханалий мистицизма и аракчеевской военщины будили надежды, привлекали сердца прогрессивных слоев общества, мечтавших о реформе. «Возложите надежды на будущее», — говорил Александр Парроту при посещении Дерпта, когда гуманный профессор говорил о необходимости великодушных преобразований, о необходимости призвать к общественной жизни «несчастный народ, пользующийся только призрачным существованием». «Я думаю об этом, я работаю над этим и надеюсь осуществить это дело», — отвечал Александр. Александр занимался либерализмом, как «игрушкой детства», по замечанию Чарторижского.

Можно было бы поверить искренности Александра, если противоречия между «мудрым словом» и «поступками», чему так удивлялся Паррот, не проходили бы красной нитью через все дни жизни этого «благожелательного неудачника на троне»; если бы эти противоречия не касались бы тех областей, где элементарная справедливость должна была бы поднять свой голос. Неужели можно поверить наивности, проявленной Александром в 1820 г., когда в Государственном совете шли прения о непродаже крестьян без земли и когда Александр высказал убеждение, что «в его государстве уже двадцать лет не продают людей порознь». Эта наивность удивила даже Кочубея. Высказанное императором убеждение не помешало, однако, Государственному совету

отвергнуть внесенный законопроект. Благожелательность Александра, таким образом, разбилась о дворянскую косность. Но не слишком ли большую роль придают этой дворянской оппозиции? Александр был всегда противник рабства на словах, «всем сердцем желал уничтожить в России крепостное право». «Император неоднократно выражал желание отменить крепостное право, — писал Ольри, — но это желание подавлялось тотчас, как возникало, ибо не к этому стремится дворянская партия». Штарк показывал французу Дюмону в 1803 г. личное письмо Александра своему дяде герц. Вюртембергскому с отказом дарить поселенные имения. Но дело в том, что в вопросе о крепостном праве дальше обычных словесных желаний дело не шло у Александра. Он освободил бы крестьян ценою собственной жизни, «если образованность была бы более высокой степени». Так говорил Александр Савари в 1807 г. Итак, опять независящие обстоятельства, которые Александр не сумел преодолеть.

Нерешительность Александра в молодые годы была вызвана в значительной степени другими причинами: в намерении Александра освободить господских крестьян, по мнению Тучкова, «скрывалась цель большего еще утверждения деспотизма». Т. е. в крестьянстве он думал найти оплот против олигархических стремлений дворянства, но другая сторона его останавливала: это «боязнь снять узду», как говорит Завалишии. Отсюда вытекала нерешительность.

Позднее опасения перед дворянством улеглись. И для Александра в вопросе о рабстве важна лишь внешность. «Патриархальность» крепостного права всецело оправдывала существование рабства: как государь — «отец» народа, согласно идеям Священного союза, так и помещик — отец крепостной семьи. Русский крестьянин благоденствует под игом крепостного ярма. И можно ли было говорить о «варварских обычаях» в стране, руководимой просвещенным монархом! Александр поэтому вполне удовлетворился тем, что сделанный им намек «о варварском обычае» продавать людей «понят», как писал Стон Пристлею: «Объявлений о работоторговле ныне нет, ибо никто не желает быть причисленным к потомкам варваров». И Александр мог убежденно говорить в 1820 г., что продажи не существует. Александру много раз указывали на ужасное положение крестьян: «Вникните в гибельные последствия рабства владельческого и казенного, — писал ему надворный советник Извольский в 1817 г., — ваше сердце обольется кровью». Он от «искреннего сердца», как говорит Фонвизин, хотел улучшить положение. Так, по поводу положения Комитета министров 1819 г., запрещавшего принимать жалобы от крестьян помимо местного начальства,

Александр писал: «Известно мне, что были случаи, где крестьяне, жалующиеся на помещиков, взамен удовлетворения, были еще наказаны». И вот предписывалось не возбранять подавать жалобы и прошения. Жалобы на первых порах посыпались как из рога изобилия: по свидетельству Михайловского-Данилевского, при путешествии Александра близ Байдар на пространстве 32 верст было подано 700 прошений. Как, однако, реагировал сам Александр на подаваемые ему прошения? Тот же современник рисует бесподобную картину: Александр гуляет, «взгляд его выражает кротость и милосердие». А между тем он только что велел «посадить под караул двух крестьян, которых единственная вина состояла в том, что они подали ему прошение»… «Чем более я рассматриваю сего необыкновенного мужа, тем более теряюсь в заключении», — добавляет рассказчик. Не то же ли было с военными поселениями, т.е. с рабством гораздо более ужасным, чем крепостное право? Мы уже приводили знаменитый ответ Александра по поводу указания на вред поселений. Он знал ужасное положение поселений, где процент смертности дошел до необычайных пределов. Бунты постоянно свидетельствовали об ужасе, к которому приводило «великодушное» побуждение облагодетельствовать крестьянский мир, умолявший о защите «крещеного народа» от Аракчеева. Несколько сот поселенцев в 1817 г. останавливают Николая Павловича и на коленях просят их пощадить: «Прибавь нам подать, требуй из каждого дома по сыну на службу, отбери у нас все…, но не делай всех нас солдатами». Аналогичный случай происходит и с Марией Феодоровной. Александр все это знал. Но военные поселения — его затея, долженствовавшая обеспечить России постоянную сильную армию, а вместе с тем — авторитетное положение в Европе; при помощи этой армии, доносит французский посланник гр. Ноаль 28 сентября 1816 г. Александр «хочет продолжать играть роль защитника Европы».

Такова была оборотная сторона всех великих государственных начинаний первой четверти XIX века.

Напрасно видят какое-то исключение в деятельности Александра в Польше, видят в этой деятельности после 1812 г. отблески либерального начала царствования.[33] «Александр, разочарованный в России, во вторую половину царствования жил умом и сердцем по ту сторону Вислы». Так казалось отчасти современникам, оскорблявшимся предпочтением, которое оказывал Александр Польше перед Россией. Для Александра Польша («азиатская нация Европы», по выражению Дюмурье) все-таки часть той Европы, которая всегда занимала первенствующее место в его помыслах.[34] Положение России и Польши, конечно,

было различно. Но это различие объясняется всем предшествующим положением вещей, а не высокими либеральными идеями Александра. То, что говорил про Россию Жозеф де Местр, можно по преимуществу отнести именно к Польше. Здесь Александр рассчитывал соединить неумолимый деспотизм с фиктивным конституционализмом, с тем самым, какой воздвиг Наполеон на развалинах французской республики. Александр «бонапартничал» в Польше, по выражению Вяземского, т.е. «мазал по губам». И «carte ЫапсЬе», которую дает Александр Константину, как наместнику Польши, служит, пожалуй, лучшим подтверждением правильности этой оценки. Недаром и Новосильцева, реального проводника политики Александра в Польше, последний ценил именно потому, что нашел в нем человека, умевшего дать русскую форму его европейским стремлениям (слова Чарторижского).

В самом деле Александр заигрывал с Польшей при Чарторижском, говорил многообещающие слова, впрочем, в те редкие моменты, когда видел Чарторижского обескураженным, но, как всегда был очень уклончив в определенных обещаниях в ответ на запросы Чарторижского. В готовящейся борьбе с Наполеоном ему важно было привлечь Польшу на свою сторону. Весы Наполеон, однако, перетянул; поэтому особенной любви к полякам по природным свойствам своего характера Александр не мог чувствовать. «Государь, — заметил Михайловский-Данилевский, — с поляками обращается ласковее, нежели с русскими, что происходит не от душевного к ним расположения, а от политических видов». Во время Венского конгресса Александр «по очереди» очаровывал являвшихся к нему поляков, но никому не раскрывал своих карт. Планы Александра, которые он лелеял, по мнению Сореля, еще со времен Мемельского свидания — объединить всю Польшу под властью России или воссоединить польское королевство под скипетром Александра, — осуществились не целиком. Но тем не менее после конгресса русский самодержец надел тогу польского конституционного короля. Польская конституция 1815 г. явилась таким образом до известной степени компромиссом западноевропейской дипломатии. Если эта конституция и была «аномалией», возможной только в незрелой голове Александра, по замечанию Константина Павловича, то исключительно потому, что Александр был очень плохим конституционалистом. «Здесь всякий день наносят важные оскорбления конституции…», — писал Вяземский в 1819 г. Кровь «вчуже так и клокочет». Сперва антиконституционные меры в Польше объяснялись тем, что необходимо, чтобы поляки «забыли революционный дух, которого

они набрались» (донесение Вильмодена, 1816 г.); затем явилось опасение в силу «революционного движения во Франции» (Лебцельтерн, 1819 г.). Но как бы то ни было, малейшая оппозиция раздражала конституционного монарха;[35] раздражала совершенно так же, как раздражало и противодействие в России. «Конституционные сени в деспотических казармах, — чрезвычайно метко заметил кн. Вяземский в 1819 г., — уродство в искусстве зодческом, и поляки это очень чувствуют». Вяземский предсказывал, что «самовластный император задушит царя конституционного». В переписке с А. Тургеневым из Варшавы Вяземский в 1819 г. систематически возвращается к полякам: «У нас в нашем либеральном царстве Бог знает что делается», или: «Эти правители такие олухи, что я им не дал бы конюшнею управлять. Они не только людей, да и лошадей взбесить бы в состоянии»… «Вечно сидеть на иглах невозможно», — добавляет пророчески Вяземский.

У Польши получалась только «иллюзия независимости» (Лаферонэ, 1820 г.), иллюзия, которая сохранялась только во имя западноевропейского мнения. Сторонникам польской конституции, как напр., Капо д'Истри, приходилось играть на самолюбии Александра и указывать в противовес Новосильцеву, что уничтожение польской конституции плохо отзовется в общественном мнении Западной Европы: «Что же мы скажем в Троппау? Как провозглашать либеральные идеи после такого скандала».[36]

Вяземский верно заметил: «Ни быть им (полякам) свободными, пока мы будем в цепях». Но для России Александр никогда и не думал отказываться от своего самовластия. И как характерно, что Александр, получив две записки Бентама (1814—1815 гг.), в первой из которых говорилось о Польше, а во второй о пересмотре русского законодательства, любезно ответил на первую и решительно промолчал на вторую. Понятно, почему Александр, по словам Штейнгеля, негодовал на министра внутренних дел Козодавлева, разрешившего напечатать в «Северной Почте» речь императора при открытии польского сейма: «Все хотят вмешиваться в политические дела», — заметил Александр. Министр не угодил политике императора. «Варшавские речи», по свидетельству Карамзина, «сильно отозвались в молодых сердцах; спят и видят конституцию». Такой отзвук в России был вовсе не в видах Александра, ибо он склонен был играть в конституцию в Польше только до тех пор, пока игра не затрагивала его самодержавных прав в России.

Постепенно практика Священного союза в связи с ростом революционного настроения в обществе стала изгонять

либеральные идеи и из европейской политики Александра. После Семеновской истории — свидетельствует один из самых тонких наблюдателей той эпохи декабрист Якушкин — Александр совершенно поступил под влияние Меттерниха… Тут прекратилось в нем раздвоение: и в Европе, и в России политические его воззрения были одни и те же.

После всего сказанного едва ли должно оставаться сомнение в том, что не одурманивание русского императора тонким австрийским дипломатом гр. Меттернихом играло роль в определении реакционной линии поведения Александра I. В дипломатической ловкости последний еще мог поспорить с руководителем австрийской политики. На Венском конгрессе противник Меттерниха многим казался только «простой куклой в руках французского сената» («lapoupee de senat» — герцог Веймарский), или, другими словами, в руках Шатобриана. В действительности было по-иному. Резкая вражда Александра к Меттерниху во время конгресса, доходившая до того, что Александр, любивший всякого рода позы, послал даже вызов на дуэль австрийскому министру, объясняется как раз той настойчивой линией, которую гнул Александр. Третий искуснейший дипломат Венского конгресса — Талейран, обошедший в своей закулисной игре и Александра и Меттерниха, сумел объединить в противодействии России Австрию, Францию и Англию.[37] Международное положение стало вновь крайне острым. И трудно сказать, как бы оно разрешилось при упрямстве Александра, при его высокой оценке своей европейской роли, если бы запутанное положение не распутал Наполеон, покинув Эльбу. В предвидении возможного будущего дипломатические враги вновь объединились. Сговор совершился. Если с годами враждебность к Меттерниху сменилась дружелюбием, то это надо объяснить не тем, что Александр подпал под влияние Меттерниха. Их цели и задачи теперь совпадали, хотя «наиболее скептический человек в Европе», как называл себя Меттерних в письмах к Лебцельтерну, никогда не мог, в сущности, понять библиомании русского императора. Но раз все пути шли в Рим, между ними должно было установиться полное согласие. Если еще в 1819 г. Александр, весьма, в сущности, склонный подавить опасные революционные тенденции в Германии (Лебцельтерн), внешне противился и говорил либеральные фразы, то очень скоро, именно после Семеновской истории, которую он рассматривал, как начало революционного проявления в России, он займет совершенно иную позицию на конгрессе в Троппау. Отсюда Александр пишет Аракчееву: «Никто на свете меня не убедит, что сие происшествие было вымышлено солдатами. Тут

внушение чужое, но не военное… Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам…» Да, «сия их работа есть пробная», — вторит в ответ Аракчеев. С этой поры Александр уже идет впереди Меттерниха по стезе реакции. Меттерниху приходится подумывать о том, чтобы воспрепятствовать Священному союзу «перейти за границы справедливости и блага, ибо зло начинается там, где кончается благо». «Если когда-нибудь кто делался из черного белым», так это именно Александр. «Да, — писал Меттерних Лебцельтерну после смерти Александра, — если бы бедный Александр не наделал грехов в своей юности; если бы в зрелом возрасте ему "не не хватало чего-то", как говорил Наполеон, где был бы теперешний либерализм!..» Конечно, нельзя отрицать к этому времени определенной пресыщенности жизнью у Александра. Можно поверить, что он устал, как то не раз говорил он Лебцельтерну: напр., 7 Ав. 1816 — «я ненавижу войну, видел ее слишком много». В жизни Александру действительно пришлось испытать достаточно.

Утомленный славой, он готов был передать руководство европейской политикой Меттерниху. Слава Меттерниха не могла быть к тому же конкуренцией для Александра. Скорее Меттерних в Европе охранял популярность Александра, как это делал Аракчеев в России. Да и русские дела заставляли Александра быть более пристальным в своей внутренней политике. Не для того, чтобы устранить возрастающее неудовольствие (как свидетельствовал еще в 1815 г. А. Тургенев в письме к Вяземскому), тем, что он пренебрегает государством, интересуясь Зап. Европой;[38] не для того, чтобы заняться внутренними преобразованиями, как он говорил Державину, жалуясь на отсутствие людей: «Мне Бог помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние».[39] Нет. Надо было подтянуть возжи у себя. И если здесь иногда казалось, что Александр стушевывается перед аракчеевщиной или бездействует в борьбе с революцией, то это проистекало не от того, что Александра мучила мысль, что ему придется наказывать людей, стремления которых он разделял в молодости (так будто бы утверждала императрица Елизавета Алексеевна в разговоре с кн. С.Г. Волконским). Здесь просто была попытка играть двойную роль, объясняемую тем личным страхом, который испытывал Александр перед революцией в России.[40]

Характер и деятельность Александра I, таким образом, вовсе не представляет из себя какой-то исторической загадки. Таких людей, как Александр, история знает много. Не таков ли и современник Александра Каразин, который также долгое время был среди непонятных и загадочных личностей. Энтузиаст,

либерал, крепостник и реакционер, Каразин вызывал много споров. Но Во-йеков уж дал ему в «Доме сумасшедших» эпитет «Хамелеона». Злая сатира Войекова не принадлежит к числу объективных исторических источников, и однако теперь уже, пожалуй, мало найдется таких исследователей, которые не вынуждены будут согласиться с наблюдательным современником. Факты уничтожили романтический облик русского «маркиза Позы». Факты снимают ореол загадочности и драматичности и с императора Александра I. Он был простой игрок в жизни. Но играть в жизни, быть может, труднее, чем на сцене. Отсюда все те противоречия, вся та непоследовательность, которые можно отметить в отдельные моменты деятельности Александра. Натура должна была проявляться в отдельных случаях, несмотря на уменье маскироваться. «У него постоянно чего-то недостает», — заметил Наполеон Меттерниху про Александра. Недоставало элементарной прямоты и искренности. Современники в конце концов поняли прекрасно эту загадочную личность.

Английские и американские друзья Александра, обольщенные отзывами Лагарпа и письмами Александра, признавали в 1802 г. «появление такого человека на троне» феноменальным явлением, которое создаст целую «эпоху». «Однако, — должен был отметить Джефферсон в письме к Пристлею 29 ноября 1802 г., — Александр имеет перед собою геркулесовскую задачу — обеспечить свободу тем, которые неспособны сами позаботиться о себе». Но первые годы уже несли с собой противоречие. И эти друзья должны утешаться тем, что для Александра было нецелесообразным возбуждать опасения среди привилегированных сословий, пытаясь создать сейчас что-либо вроде представительного правления; быть может, даже нецелесообразным было бы обнаружить желание полного освобождения крестьян. Проходят годы, и прежняя «нецелесообразность» остается все в том же положении… Через шестнадцать лет (12 декабря 1818 г.) Джефферсон должен уже выразить сомнение: «Я опасаюсь, что наш прежний любимец Александр уклонился от истинной веры. Его участье в мнимо-священном союзе, антинациональные принципы, высказанные им отдельно, его положение во главе союза, стремящегося приковать человечество на вечные времена к угнетеньям, свойственным самым варварским эпохам, — все это кладет тень на его характер». Эта «тень» все отчетливее выступает в сознании современников. Недаром агенты Меттерниха, подслушивавшие и доносившие своему шефу все общественные пересуды во время Венского конгресса, единогласно свидетельствуют о перемене во взгляде на русского императора. Александр с каждым днем

теряет в общественном мнении. Талант императора «на любезные слова», отмечаемый Вельмоденом, уже не привлекает,[41] его «фразы» не захватывают слушателей. Недавнего кумира «не только не любят, но презирают и ненавидят». Полицейские рапорты, изображающие закулисные мнения политических кругов на Венском конгрессе, дают, таким образом, несколько иную характеристику роли Александра в Европе, чем письма и воспоминания многих из русских современников. Напр. гр. Д. Х. Ливен, возлюбленная Меттерниха и в то же время большая поклонница Александра, так характеризует в письме к брату своему, будущему николаевскому шефу жандармов, положение Александра на конгрессе: «Европа счастлива тем, что ее судьба находится в руках Александра. Император великолепен — я могу засвидетельствовать, что все восхищены им. Его слава вполне упрочена». Каково было это восхищение в действительности, показывают отзывы политических агентов.

Александр «фальшив» — утверждает по рапортам общественное мнение; у него нет «морали в практических вопросах». Он «лишен нравственных основ, хотя говорит о религии, как святой, и соблюдает всю обрядовую внешность». Для него все, кончая филантропией, вытекает из неограниченного честолюбия. Ему кажется, что «весь мир создан только для него». Он «пустозвон» (Schall und Rauch), как характеризует Александра гр. де Линь. Александр «постепенно сбрасывает маску» — таково заключение, которое можно вынести из общественного говора.[42] Многие из тех, кто относился с большим преклонением к Александру, начинают изменять свою точку зрения: Александр «фальшив и коварен». Гарденберг жалуется в письме к Гнейзенау на «властолюбие и коварство под личиной человеколюбия и благородных, либеральных намерений». На устах Александр носит «любовь и человечество, а в сердце ложь», — говорит архиепископ Игнатий. Еще более резок отзыв английского посла: «честолюбивый, злословящий дурак».

Как очевидно, освободитель Европы очень скоро потерял свою мировую популярность. До некоторой степени прав упомянутый историк Венского конгресса, заключающий, что «воображаемое всемогущество» в Европе Александра выражается «во всевозможных обещаниях и словах, даваемых направо и налево». И когда эти обещания не выполняются, Александр по глубоко вкоренившейся в нем подозрительности приписывает все личным интригам.

Всемирная слава должна была разочаровать Александра, ведь, в сущности, он и здесь не преуспел.

Тайная венская полиция предсказывает и последующую судьбу прежнего любимца, баловня Европы: «Он кончит, как отец», — это мнение лиц, хорошо изучивших русского императора. То, что становится известным о нем в Европе, знают гораздо лучше в России.

Конечно, для русских современников «тень» характера Александра вырисовывалась еще рельефнее. Пушкин вспоминает впоследствии (1836 г.), как «прекрасен» был Александр, когда «из пленного Парижа к нам примчался»: «народов друг, спаситель их свободы».

«Вселенная, пади пред ним: он твой спаситель! Россия, им гордись: он сын твой, он твой царь!» — так передал свое впечатление о московском пребывании Александра в 1814 г. кн. П. А. Вяземский.

Но куда же исчез энтузиазм через несколько лет? «Варшавские речи» (1818), по свидетельству Карамзина, «сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят конституцию»; не у всех, однако, нашли они такой отзвук. Уже немногие, пожалуй, как декабрист М.А. Фонвизин, продолжали верить в «искренность свободолюбивых намерений и желаний» императора Александра. Становилось ясно, что Александр, в Европе «покровитель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но что хуже этого, бессмысленным деспотом» (Якушкин).

«Пора уснуть бы, наконец, послушавши, как царь-отец рассказывает сказки» — вот вывод, сделанный Пушкиным в его «сказках». «Владыка слабый и лукавый… плешивый щеголь, враг труда. Нечаянно пригретый славой»— вот другой отзыв Пушкина в известном шифрованном стихотворении. «Тот, которым восхищалась Европа и который был для России некогда надеждою — как он переменился», — пишет Сергей Тургенев 26 июня 1819 г. «Не было очевиднее факта, до какой степени государь потерял в последнее время уважение и расположение народа» (Завалишин). «Сомнение, что он ищет больше своей личной славы, нежели блага подданных, уже вкралось в сердца членов общества», — добавляет другой декабрист — Трубецкой — в 1818 г.

Декабристы ярче других оттенили изменение взглядов на Александра. «Император Александр много нанес нам бедствия, и он, собственно, причина восстания 14 декабря», — заявлял Каховский в письме к Николаю…

И даже старый воспитатель Александра, Лагарп, учивший своего воспитанника мудрости править, и тот должен был не без разочарования признаться в 1824 г.: «Я обольщался надеждой, что воспитал Марка Аврелия для пятидесятимиллионного

населения… я имел, правда,… минутную радость высокого достоинства, но она исчезла безвозвратно, и бездонная пропасть поглотила плоды моих трудов со всеми моими надеждами».

В этом Лагарп был сам виноват, но за «минутную радость» вознесет ли потомство Александра на высокий пьедестал?

Может быть, в истории действительно есть закон, о котором говорил ген. Ермолов: кто раз прикоснется устами к чаше власти, тот не оторвется уже от нее, если не отнимут у него ее насильно. Может быть, в исторической перспективе многое должно быть объяснено влиянием того рока, которого не мог избегнуть Александр. Но от такого объяснения все же мало выиграет сама личность императора, вошедшего в историю с титулом «Благословенного».

Александр останется, конечно, в Истории фигурой поистине примечательной, ибо такого артиста в жизни редко рождает мир не только среди венценосцев, но и простых смертных.

МЕЛОЧИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ

1. АЛЕКСАНДР I И ЖЕНЩИНЫ [43]

I

Император Александр, как никто другой, умел обольщать людей. Особенно его талант прельстительства сказывался в женском обществе. Тут Александр был в своей сфере. Ему нравилось вращаться в атмосфере кокетства, полунамеков и полуслов; в той среде, где изощрялся его актерский талант, где неизбежно царила неискренность и полурисовка, к которым так подходила присущая ему любовь к позам.

Женщины действительно были без ума от привлекательного монарха, — об этом говорят нам почти все современники. Он умел заставить себя обожать не только стареющих светских дам вроде баронессы Крюденер, впадавших в мистический транс и игравших самой грубой лестью на самолюбии Александра. Австрийский посланник в Варшаве в 1816 г. специально отметил в своем донесении исключительное уменье русского царя привлекать дамские сердца. Венценосный рыцарь вовремя скажет любезную фразу: «J'obeis volontiers et surtout aux dames»; публично станет на колени на балу у Коленкура перед М.О. Осиповой с восклицанием «homage a la plus belle des belles»; самолично будет перевязывать обожженные «нежные» пальчики г-жи С. и т. д. и т. д.

Это делает Александра столь неотразимым в дамском обществе, что одна из современниц считает необходимым отметить удивительный факт, что ее кузина осталась равнодушной «даже к человеку, которому не пыталась противиться ни одна женщина, кроме нее». Правда, это была «девственница» в замужестве.[44] Но подобные типы, пожалуй, и наиболее подходящи были к личности Александра. Арндт, рассказывая в своих воспоминаниях, как Александр в России, в Германии и Франции усердно ухаживал за всякой смазливой дамочкой в салонах, добавляет: «Придворные врачи говорили по этому поводу, что все это — одна видимость, совершенно безопасная, что мужья без тревоги позволяют ему увиваться вокруг своих жен». Характерно для Александра то, что его обуревала жажда преклонения женщин, — ему нужен был хоть внешний успех на всех поприщах. Для «Северного Тальмы» движущим поводом был не темперамент, а опять-таки довольно мелкое тщеславие.

«Редко, чтобы женской добродетели действительно угрожала опасность», — добавляет друг юношества Александра Чарторижский при рассказе об ухаживании Александра за наиболее «эффектными дамами» в эпоху еще Павла.[45]

«Государь любил общество женщин, — свидетельствует одна из поклонниц Александра, гр. Эделинг, рожденная Стурдза, бывшая близкой фрейлиной его жены, — вообще он занимался ими и выражал им рыцарское почтение, исполненное изящества и милости. Что бы ни толковали в испорченном свете об этом его расположении, но оно было чисто и не изменилось в нем и тогда, когда с летами, размышлением и благочестием ослабли в нем страсти.» Графиня Эделинг права относительно того, что отношение к женщинам у Александра не изменилось с летами и что благочестие отнюдь не препятствовало веселому времяпрепровождению, но что касается до «рыцарского почтения», то приходится сказать, что более правильно было бы определить женолюбие Александра термином «ферлакурства», подчас принимавшего довольно грубые формы.

«Всем известны, — писал в 1802 г. баварец Ольри, — посторонние привязанности императора». Общество определенно говорит о связях с артисткой Филисс, Шевалье, Жорж. По пути в Мемель отмечается «дорожный роман с двумя рижскими дамами». В Тильзите, — свидетельствует прусский король, — «мелочи из военного быта французской армии интересуют его (Александра) очень сильно, но не меньше и хорошенькие тильзитские девицы». В Петербурге царь ездит пить чай к немецким купчихам Бахара и Кремер — «порядочным дурам», по выражению Греча. Говорят о некой госпоже Шварц, жене коммерческого дельца. То же волокитство отмечает в своих воспоминаниях В.И. Бакунина — в Вильне в июне 1812 г., и т. д. И все это в разгар любви к прекрасной Марии Антоновне Нарышкиной, урожденной княжне Четвертинской.

На Венском конгрессе в этом цветнике европейских красавиц, собранных из великосветского и артистического мира для обольщения съехавшихся монархов и их министров, натура Александра проявилась во всем своем объеме. Агенты тайной великосветской полиции Меттерниха систематически доносили, что «русский император проводит время в дамских будуарах». Причем «ce grand cЬагтеиг» имеет дело только с красавицами. Его тщеславию льстит та предупредительность, с которой относятся к нему дамы высшего света. Идет какой-то сплошной флирт с кн. Эстергази, гр. Зичи, кн. Ауэршперг, принцессой Лихтенштейн, гр. Чешени и др., сообщениями о котором пестрят полицейские донесения. Наряду с этим де ля Гард рассказывает о «романе» с

артисткой Л.

На первый взгляд, все интересы императора на конгрессе исчерпываются этим «платоническим кокетством» и увлечением танцами, которым Александр предается с какой-то непонятной страстностью. «Конгресс не ходит, а танцует», — сказал принц де Линь, и эта «dansemanie» преимущественно захватывает Александра и соперничает с его «paradomanie».

Александр не любит мужского общества, — отмечают агентские донесения. Как и у себя на родине, он избегал «бесед с людьми умными» (Греч). Среди представительниц прекрасного пола его таланты расцветают и лучше оцениваются, напр., дамы любят аккомпанировать русскому императору, обнаружившему «особенный талант свистеть». Как плоско, однако, было ухаживанье Александра, показывает следующий, подслушанный великосветским агентом на балу у Пальди, диалог между русским императором и гр. Гюльфорд: «Ваш муж в отсутствии, было бы весьма приятно временно занять его место». — «Разве Ваше Величество принимает меня за провинциалку?» — отвечает дама.

Как это действительно, однако, далеко от истинного рыцарского отношения к женщине.

Также далек был от рыцарского отношения и платонический роман Александра с прусской королевой Луизой. Великий кн. Николай Михайлович необычайно заблуждался, приписывая видимое пристрастие Александра к Пруссии каким-то рыцарским отношениям к Луизе. Если у русского императора и было какое-нибудь пристрастие к Пруссии, то большую роль играло немецкое происхождение царствовавшей династии, как отмечал Жозеф де Местр. В действительности, роль Александра в делах Пруссии и отношения его к несчастной прусской королеве исключительно объясняется той дипломатией, которую вел Северный Тальма. Как показывает отчетливо в этюде, посвященном королеве Луизе и Александру А. К. Дживелегов,[46] Александр, стараясь покорить Луизу, думал не о флирте, а о том, «чтобы сделать самого влиятельного человека у прусского трона слепопреданным себе». К несчастью для Луизы, как для женщины, так и для политического деятеля, она искренно увлеклась красивым, молодым и обольстительным монархом, представляющим столь разительный контраст с ее мужем, «личностью глупейшей и незначащей», по выражению дневника Вилламова, ст. секретаря императрицы Марии Феодоровны. В результате Луиза предлагает Александру «любовь», а последний вел только холодный, расчетливый «политический флирт». «Платоническое кокетничание» с Луизой со стороны Александра привело к тому, что, будучи в Потсдаме в 1805 г., Александр должен был, подобно

омским девицам того времени, запирать на два замка свою опочивальню, чтобы его не застали врасплох. Об этом он рассказывал сам Чарторижскому. И действительно, как видно из личной переписки с ним Луизы, последняя готова была совершить неосторожный поступок, к которому Александр, очевидно, не был склонен, ибо для него игра с Луизой сводилась прежде всего к игре политической. Всякая связь могла быть только помехой дипломатии. Луиза поняла это только через несколько лет, когда перед ней до некоторой степени вскрылся истинный характер ее «друга».

Очарование прусской королевы было общеизвестно. Если Наполеон после свидания с ней в Тильзите писал Жозефине: «Я — как клеенка, по которой все это только скользит», то почти так же мог бы сказать и Александр. Разница была лишь та, что Наполеон не надевал рыцарских лат, в которых являлся Александр перед Луизой.

В эпизоде с Луизой довольно ярко проявлялась дипломатическая тактика Александра, склонного всегда пользоваться женским сердцем в целях оказания влияния на политику. Эта тактика достигла своего апогея на Венском конгрессе, где Александр далеко не был в ней одинок. Именно в дамских салонах во время конгресса плетется закулисная политическая интрига. Ими одинаково пользуется как и Александр, так и Меттерних, его соперник в дипломатии и определенный враг во время конгресса.[47] Через женщин действует третий знаменитый дипломат — Талейран, обошедший своей изворотливой хитростью и Александра и Меттерниха. Два салона царствуют в Вене, Багратион и Саган — двух соперниц, бывшей и настоящей любовницы австрийского министра. И к обеим подходит Александр в видах достижения своих политических целей и осведомления о планах противника. Но применяет разные методы. С княгиней Багратион ведется игра в любовь. Агенты полиции свидетельствуют о «многих чарующих часах», которые проводит русский император глаз на глаз с Багратион во время посещений «далеко за полночь». Но те же наблюдатели утверждают, что в данном случае «любовь к политической интриге» взяла верх над более нежными чувствами.

Что же касается Саган, то тут метод воздействия иной. Требование разрыва с Меттернихом подтверждалось давлением на связанные с Россией имущественные интересы герцогини. По-видимому, Александр достиг своих целей в обоих случаях, так как обеим авантюристкам впоследствии выплачивалась пенсия за какие-то особые заслуги. Эта своеобразная дипломатическая политика, через женщин, равным образом далека от того

рыцарства, о котором говорит в своих записках Эделинг.

II

Александровская историография, в стремлении обрисовать хотя бы юношеский идеализм своего героя, склонна и по сие время рисовать в привлекательных красках его семейные добродетели. В действительности же Александр был крайне плохим мужем, непостоянным в своих отношениях к жене с молодых лет. Верно охарактеризовал еще Герцен: Александр любил всех женщин, кроме своей жены.

Биограф Александра и Елисаветы Алексеевны покойный в. кн. Николай Михайлович считал, что до 1804 г. между супругами существовали нежные отношения вплоть до увлечения Александра Нарышкиной. Считал это он явно вопреки всем показаниям современников. Напомним хотя бы слова баварца Ольри, донесения которого были опубликованы именно Николаем Михайловичем: «всем известны посторонние привязанности императора». Настойчивость в данном случае историка, принадлежащего к царствовавшей семье, чрезвычайно характерна для некоторых свойств его работы, — в них постоянно мы видим некоторую коллизию между стремлением к исторической объективности и влиянием семейных традиций. Тенденция эта ярко сказалась и в самой последней работе, посвященной Александру, где в сущности дается довольно резкая характеристика «благословенного монарха».

Не подлежит сомнению, что охлаждение к Елисавете у Александра произошло еще при жизни Екатерины, чем и объясняется связь Елисаветы с кн. Чарторижским, связь, которую очень решительно, и притом с большой запальчивостью, пытался опровергнуть в. кн. Николай Михайлович в полемике с профессором Ашкенази.[48] Александр любезничал со всеми женщинами, но сердце его любило одну женщину и любило постоянно до тех пор, пока она сама порвала связь, которую никогда не умела ценить, — говорит гр. Эделинг. Александр охладел к супруге по «холодности ее темперамента», — свидетельствует царский друг кн. А.Н. Голицын. «Овладеть этой женщиной легче умом, чем сердцем», — замечает француз Савари.

Представление об Елисавете Алексеевне как-то не вяжется с изображением ее холодной натурой. В историю она вошла с привлекательными чертами чарующей женственной прелести.

Таковой, по-видимому, и была эта женщина с наружностью Психеи и с умом мужчины: «le seul homme de la families, — говорит про нее кн. П. Вяземский. Ее трагический роман с корнетом Охотнико-вым поистине романтическая эпопея, которая показывает, что не холодность натуры,[49] а нечто другое было причиной охлаждения и разрыва с Александром.

Нет ничего само по себе удивительного, что между людьми, слишком рано связанными формальными брачными узами, как это было с Александром и Елисаветой (одному было 16 лет, другой 15), наступило охлаждение: ведь духовная связь зиждется не только на законах физиологических.

Французский актер Домер, оставивший весьма ценные воспоминания о своем пребывании в России, вращавшийся в разнообразных общественных кругах, вплоть до великосветских салонов, передает сплетню, что Александр разрушил свой темперамент в период так называемого медового месяца. Однако даже супружеская страстность едва ли могла покрыть то в сущности оскорбление, которое наносил Александр женскому самолюбию Елисаветы, спокойно относясь к назойливым ухаживаниям за его женой со стороны екатерининского фаворита Платона Зубова. Головин в своих записках утверждает, что ухаживание Зубова якобы объясняется «желанием Екатерины II видеть внука». Об этих приставаниях Зубова говорит в своих письмах к Кочубею сам Александр. Он жалуется в них на трудность того двойственного положения, в котором приходится ему пребывать, — другими словами, на боязнь обидеть всемогущего фаворита. Но это все. Не должна ли была оттолкнуть подобная пассивность молодую Елисавету, еще не пропитавшуюся развращенными нравами екатерининского общества?

Усиленные занятия не позволяли до 1804 года, говорит в. кн. Николай Михайлович, Александру заниматься супругой. Мы знаем, каковы были в действительности эти «усиленные занятия», сводившиеся на первом плане к военным экзерциции-ям, которые едва ли могли серьезно интересовать Елисавету. А здесь постоянно в интимной обстановке блестящий и умный кн. Чарторижский.

В конце концов вопрос о том, каковы были реальные отношения Елисаветы и Чарторижского, имеет совершенно второстепенное значение. Для характеристики действующих лиц и их психологии важнее факты, свидетельствующие о необычайных отношениях романтического характера, установившихся между Елисаветой и Чарторижским.

Ольри записывает, что Елисавета «не пользуется любовью государя»: «Известно самым достоверным образом, что

единственный мужчина, которого императрица видит с удовольствием и который бывает в ее интимном обществе — кн. Чарторижский»… Об интимных отношениях этих двух лиц говорят будущий посланник в России Людовика Филиппа Барант[50] и близкая ко двору гр. Головина. То же утверждает Наполеон на о. св. Елены, как свидетельствует журнал Гурго.

Наполеон, конечно, мог передавать только общественную сплетню, которая облекла в более грубую форму то романтическое, что связывало русскую императрицу с польским князем.

Опубликованные польским историком Ашкенази выдержки из дневника кн. Чарторижского в период Венского конгресса, вопреки нежелания считаться с ними вел. кн. Николая Михайловича, ярко очерчивают характер отношений, существовавших между обоими лицами.

Выдержки эти были напечатаны Ашкенази в «Голосе Минувшего»; повторим их частично, ибо они сами за себя говорят без всяких пояснений.

«Здесь я вижу ее, сильно изменившуюся, но для меня всегда ту же со стороны ее и моих чувств. (Они утратили свой пыл, но в них сохранилось достаточно силы, чтобы вовсе не видеть ее было великой мукой.) Раз только до сих пор я видел ее; плохо принятый, я переживаю неприятный день»…

«Вторая встреча. Признаны новые обязанности. Она всегда истинный ангел. Ее письмо…»

«Моя тетка сплетничает, мой отец сказал ей о ней. Наука, что мало кому можно доверять настоящую и важную тайну… Ее визит и письмо… Жар и угрызения, укоряющие в виновности. Стан и лицо изменились, однако все та же очаровательность, а душа ангельская…»

«Разнообразность моих чувств. Она всегда первый и единственный предмет. Обмен кольцами… Я испорчен доброжелательностью и любовью… Душа не может подняться до ее превосходства…»

«Я желаю ей счастья и завидую ему; страстно люблю, а все таки… я все посвятил бы, а святость чувств недостаточно охраняю. Долгая неуверенность, противность и неустанные обиды и двадцатилетнее ожидание, а ее уже в течение стольких лет прикрытое чувство разрушал правильный порядок сердца, несчастия одной неверности потрясли некоторые самые деликатные принципы.[51] Но это не оправдывает меня, так как я от сердца простил, а она не прощения, но любви, уважения и обожания достойна»…

Пусть сомневается кто хочет; по нашему мнению,

приведенное свидетельство более чем красноречиво… На Венском конгрессе в душе Елисаветы разыгрывалась новая драма. Детали ее от нас пока скрыты. Из дневника Чарторижского выступают, однако, признаки того душевного переживания, которое побудило в конце концов Елисавету написать 1 февраля 1815 г. из Вены письмо, полное безнадежной тоски, письмо, напечатанное вел. кн. Николаем Михайловичем в «Историческом Вестнике».

Мы видим здесь намек на бывший в 1807 г. роман с Охотниковым, закончившийся столь трагически: «несчастия одной неверности потрясли некоторые самые деликатные принципы». Неверность отражалась как на психологии Елисаветы, так и на кн. Адаме. В дневнике ярко выступают эти душевные переживания. «Я от сердца простил», — записывает Чарторижский, человек, сам искушенный во многих романтических приключениях.

В Вене между обоими происходит примирение, может быть как гласила общественная сплетня, возобновился и роман.[52] Но душевное равновесие тем не менее не наступило. Очевидно, сплетни дошли и до Александра, быть может, и содействовавшего в свое время роману кн. Адама со своей женой.

По крайней мере, дневник говорит о визите императора к тетке автора, к той, которая «сплетничает». Дневник говорит также о разговоре с самим Александром и добавляет: «поднимаю материи о ней».

Из того же источника мы знаем о какой-то попытке со стороны Александра к примирению. Очевидно, по соображениям общественного такта, так как отношения между супругами в это время явно холодные.

Эту холодность, переходящую в прямую враждебность, отмечает в своем дневнике ст. секретарь Вилламов еще в 1807 г. В 1810 г. со слов Марии Феодоровны он обвиняет Елисавету даже в грубости обращения с Александром. На Венском конгрессе об этой грубости, о пренебрежении уже со стороны Александра свидетельствуют многочисленные полицейские наблюдения.[53]

Так или иначе, но как раз в момент, когда кн. Адам отмечает, что «чувства искренние, глубокие, которые захватывают всю душу и насквозь пронизывают… только принадлежали и принадлежат ей…, он говорит и пишет Елисавете «о необходимости брака» для него. Очевидно, необходимость подчиниться светской условности, отсюда коллизия с личными чувствами и вызвала то полное безнадежной тоски письмо ее к неизвестной, которое помечено датой 1 февраля 1815 г. Через несколько кн. Адам женился на княжне Сапеге…

У Александра был большой талант привлекать к себе сердца, даже разбитые им самим. Проходят годы. С годами происходит примирение супругов. С какой удивительной нежностью пишет Елисавета о смерти Александра своей матери: «Матап, notre ange est au ciel et moi je vegete encore sur la terre… Maman ne m'abandonnez pas, car je suis absolument seule dans ce monde de douleur».[54]

Нам нет необходимости проникать в тайники женского сердца, чтобы разрешить психологическую проблему любви. Это не входит в нашу задачу. Нет ничего удивительного, что Александр, уже уставший от треволнений своей беспокойной жизни, вернулся к своей нежной подруге ранних лет; вернулся тогда, когда обнаружилась новая неверность Нарышкиной, вызвавшая императорскую немилость к фаворитке и отсылку в Рим кн. Гагарина, который осмелился быть «соперником своего Августейшего властелина»;[55] вернулся, когда, наконец, после смерти любимой дочери Александра от Нарышкиной или той, которую он считал своей, порвались последние связи с неверной возлюбленной (в измене Александр не сомневался). Для нас во всех этих романтических перипетиях, в сущности, важно только то, что великий актер, каким был в жизни Александр, сошел со сцены, по крайней мере в глазах жены, в том же ангельском ореоле, в каком он пребывал в дни молодости, в дни чувствительных излияний, нежных слов и возвышенных чувств.

Обрисовка отношений Александра к женщинам, имеющая значение для его личной характеристики, требовала бы рассмотрения и его отношений к любимой сестре Екатерине Павловне. В этих доверительных отношениях была доля нежных чувств, выходящих уже за сферу родственной привязанности. Как по-иному рассматривать те нежные письма, которые писал Александр своей сестре? Что означают, например, такие строки: «Helas! je ne sais profiter de mes anciens droits (il s'agit de vos pieds, entendez vous) d'appliquer les plus tendres baisers dans votre chambre a coucher a Twer».[56]

К сожалению, при опубликовании Николаем Михайловичем переписки брата и сестры, эта переписка подверглась со стороны, как говорят, Николая II строгой цензуре. Переписка дана читателям с большими купюрами. Многое для определения семейных отношений уничтожено еще императором Николаем I. Может быть, истории и не удастся, таким образом, приподнять завесу, скрывающую до сих пор от нас детали деятельности, развивавшейся вообще около тверского салона Екатерины Павловны. Пока, во всяком случае, еще преждевременно строить

здесь какие-либо предположения.

2. БЫЛ ЛИ АЛЕКСАНДР I КАТОЛИКОМ [57]

«Историческая загадка», разъяснению которой посвящена книга о. Пирлинга, переведенная ныне на русский язык («Не умер ли католиком Александр I». Изд. «Современные Проблемы». М., 1914), в сущности очень не нова. Еще в 1848 г. в журнале «Constitutionale Romano» появились сведения о том, что Александр I умер католиком. Это предание уже более подробно было развито в 1852 г. наперсником папы Григория XVI, Гаетано Морони, в церковно-историческом словаре. Предание основывалось на сообщении самого папы, слышавшего в свою очередь его от своего предшественника Льва XII, который входил в сношения с Александром I по поводу обращения его в католичество и соединения церквей. В 1860 г. тот же вопрос подвергся рассмотрению в журнале «Le Correspondant» (эту статью о. Пирлинг, приведший всю библиографию, почему-то не называет). Статья эта (Tendances catholiques de la societe russe) была выпущена отдельной брошюрой и попала в руки Д.Н. Свербеева, выступившего в 1870 г. в «Русском Архиве» (№ 10) с опровержением. В 70-х гг. был опубликован еще ряд данных или вернее рассказов, дополнявших предание из других источников. Объединяя этот, уже опубликованный, материал и дополняя его новыми сообщениями, известный историк сношений России с Папским Престолом о. Пирлинг выступил 13 лет назад в парижском журнале «Le Correspondant» (февраль, 1901 г.) со статьей: «L'Empereur Alexandre I est-il mort catholique?»

Суть дела заключается в том, что Александр I в конце 1825 г. отправил в Рим ген. Мишо с миссией религиозного характера. Мишо, по преданию, открыл Льву XII, что русский император желает отказаться от православия и осуществить идею соединения церквей: будто бы Мишо от имени императора признал папу главой церкви. Предание основано не только на показаниях римской курии, но и на свидетельствах близких ген. Мишо лиц: дочери известного дипломата де Местра, брата ген. Мишо и др. Ген. Мишо после смерти Александра I послал подробное донесение о своей миссии и намерениях покойного императора Николаю I, который уничтожил это донесение. Лица, близкие Мишо, которым генерал открыл свою тайну, видели, однако, эту копию.

Таковы главнейшие данные для решения «загадки». За отсутствием документов приходится лишь строить предположения. Когда во французской печати появилась статья о.

Пирлинга, о ней в «Русской Старине» (апрель 1901 г.) писал В.А. Бильбасов, указывавший, что нет основания отрицать всецело это «иноземное предание», как склонна была националистическая историография, именовавшая указанные сведения «историческим подлогом» и «заведомою ложью». Мнение Бильбасова сводилось к тому, что Александр умер членом православной церкви — «это истина факта», но имел в последнее время склонность к католицизму — «это будет истина чувствования». Так разрешал Бильбасов загадку.

В1913 г. статья Пирлинга вышла отдельно в расширенном виде и сразу выдержала два издания: очевидно, это старое сенсационное открытие было принято за новое, и католическому сердцу лестно было сопричислить императора всероссийского к лону католической церкви. Новое издание и переведено на русский язык.[58]

Для решения загадки автор не отыскал новых данных. Им использованы лишь новейшие работы, посвященные Александру I, для выяснения вопроса, насколько Александр I был расположен к принятию католичества. В сущности, это единственный вопрос, который и мог бы представить интерес, дополняя или разъясняя некоторые черты личной характеристики Александра I.

О. Пирлинг, в конце концов, признает несомненным самый факт посылки ген. Мишо в Рим. В этом действительно не приходится сомневаться, так как в папском архиве сохранились документальные данные.[59] Также несомненно для Пирлинга и то, что целью миссии было установление религиозного союза. Но каково было реальное значение миссии?

Принимая во внимание отрицательные меры против католиков в конце царствования Александра (прибавим, явно выражавшееся Александром недовольство по поводу «латинской» пропаганды среди греко-униатов под влиянием библейских обществ), о. Пирлинг не решается ответить определенно. Вопрос остается открытым, и действительно странно, что именно в эти годы, как доносил французский посол Лафероннэ своему правительству, «католицизм пользовался меньше протекцией, чем другие культы». Но лично для Александра автор решает вопрос более определенно: «в душе он, очевидно, принадлежал к истинной церкви» (т.е. к католичеству)… Император «унес с собою в могилу… прекрасную мысль». Может быть, все это очень лестно для католических писателей, но данных для подобного решения вопроса никаких нет.

В «мятущейся душе» Александра, вероятно, просто царил тот «духовный сумбур», который отмечает в. кн. Николай Михайлович для эпохи александровского мистицизма и который

в сущности сопровождает Александра в течение всей его жизни. Облик Александра рисуется нам теперь совершенно в ином виде, чем 10 лет назад, когда дуализм считался первенствующей чертой императора, когда казалось, что это был человек каких-то роковых противоречий, трагической внутренней борьбы. Мы хорошо теперь знаем, что эта внутренняя трагедия якобы больной, изломанной души иногда объясняется значительно проще.

При неискренности Александра трудно сказать, увлекался ли он в действительности когда-либо мистицизмом, католичеством или православной церковностью в эпоху Фотия. Что здесь было наносное, что было сознательной игрой «лукавого византийца»? Постоянные общения с Библией и мистикой должны были, конечно, наложить отпечаток известной религиозности на душу Александра. Скорее, впрочем, это была не религиозность, а своего рода ханжество, к которому так склонны подчас люди, пережившие бурные эпохи, к концу своей жизни. Еще на Венском конгрессе Александр удивляет агентов тайной полиции, что говорит о религии, как святой, и подчеркнуто соблюдает всю внешнюю обрядность. «Европеец» Александр мог быть более склонен к католицизму, к которому тяготела русская аристократия, чем к византийской обрядности. Александр вращался постоянно в дамском обществе. А в то время «во всех гостиных воинствовали знатные дамы в пользу латинства», — свидетельствует Стурдза в своей записке «О судьбе православной церкви», и среди иезуитов искали руководителей для своей совести. Сардинец гр. Ческерен утверждал, что в семейном кругу Александра считали весьма расположенным к католичеству и что императрица-мать крайне боялась каких-либо сношений сына с папой и неоднократно убеждала его не заезжать для свидания с римским первосвященником.

Но одно несомненно: Александр пользовался всем и всеми по мере надобности. И не проще ли, не в большем ли соответствии с установленным ныне обликом Александра было бы предположить, что посылка ген. Мишо к папе Льву XII с какими-то таинственными предложениями является обычным для Александра приемом действовать сразу на несколько фронтов. Не надо забывать, что в руках Александра идея Священного союза, мистика, библейские общества в значительной степени были орудием реакционной политики. Но и мистика, как известно, была заподозрена в революционной опасности. Св. Престол с самого начала относился несочувственно к мистическим увлечениям правительства, а равно и к самой идее Священного союза: папа, как светский владыка, не подписал акта Священного

союза. Сокрушая мистику, Александр обратился к двум звеньям кафолической церкви — и к реакционному византизму, и к реакционному католицизму. Не в этом ли действительная подкладка, на которой зиждилась «великая идея соединения церквей»? Мечтать о ней Александр мог только на словах, но не в помыслах. И это отвечало всей линии его поведения.

Много лет спустя, уже в наши дни, почти аналогичная комбинация возникала при папе Льве XIII. А кто другой, как не Победоносцев, тогдашний руководитель церковной политики, казалось бы, был более враждебен католицизму? Объединяла идея совместной борьбы с новым духом. Характерно, что именно в это время и выступил о. Пирлинг со своей статьей: «L'Empereur Alexandre I-er est-il mort catholique?»

По связи с высказанным предположением возможно, что миссия ген. Мишо объясняется совсем просто. Припомним, что правительство Александра I довольно единодушно действовало вместе с папой против революционного духа. В 1821 г. Пием VII была издана булла против карбонариев и других тайных обществ. Булла была обнародована в России, а затем, как известно, был издан общегосударственный закон, запрещавший всякие тайные общества.

С Львом XII (преемником Пия VII) добрые отношения на первых порах несколько нарушились, ибо «сей первосвященник и окружающие его прелаты», как гласит официальное сообщение, уклонялись «от правил терпимости и умеренности, коими предместник его руководствовался, и желают, сколько возможно, восстановить прежнюю власть Римского Престола». Новый папа издал в 1824 г. буллу, направленную католическим епископам в Россию без сношения с министерством через миссию. Булла была запрещена, так как в ней было усмотрено «присвоение той неограниченной монархической власти папе в делах церковных», которая «несовместна с правами государей».

Затем правительство скоро усмотрело в действиях римской конгрегации послабление в исполнении буллы Пия VII о тайных обществах. А именно по ходатайству митрополита римско-католических церквей Сестренцевича было дано разрешение епископам «давать отпущение тем, кои некогда принадлежали к тайным обществам, но оставили уже оные». Главное управление иностранных исповеданий нашло, что новый декрет уничтожает «благотворное для общественного спокойствия действие» буллы против тайных обществ и ослабляет «самый государственный закон». Александр I признал действие римской конгрегации «столь важным», что пожелал «собственноручно» о том написать папе.

Всеподданнейшая записка 1826 г. главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий, сообщая об этом новому императору, заметила, что последствия сего дела неизвестны.

Не является ли миссия ген. Мишо отзвуком этих недоразумений и опасений, правда, крайне странных, что римская конгрегация будет содействовать росту революционного движения?..

3. АЛЕКСАНДР I – ФЕОДОР КУЗЬМИЧ [60]

Кн. В.В. Барятинский. Царственный мистик (Император Александр I — Феодор Кузьмич). Изд. «Прометей».

Д.Г. Романов. Таинственный старец Феодор Кузьмич в Сибири и император Александр Благословенный. (Легенды и предания, собранные Томским кружком почитателей старца Феодора Кузьмича.) Издание Д.Г. Романова. Харьков. 1912 г.

Эта легенда, как исторический материал, окончательно уже сдана в архив. В наши дни интерес может представлять лишь выяснение, как создалась эта легенда и кто был тот таинственный старец Феодор Кузьмич, с которым народная фантазия (а потом фантастические предположения историков) ассоциировала личность Александра I. Пока для этого нет данных. И авторы второй книги, составленной коллективно, пошли по верному пути, собрав те рассказы, которые ходили и ходят в Сибири о старце, Феодоре Кузьмиче, те памятники и вещи, которые остались от старца и т. д. «Целью нашего труда, — говорится в предисловии, — было не категорическое безусловное доказательство истинности существующей легенды, но собирание всех существующих данных, которые бы служили к разъяснению и обнаружению тайны, которою был окружен этот загадочный сибирский отшельник». И действительно, эта работа заключает в себе изложение всего, что до сих пор известно о старце. Книга снабжена снимками с вещей, кельи, памятника, документов, оставленных старцем (или приписываемых ему). Итак, кто интересуется подобными вопросами, найдет кое-что для себя интересное и новое в преданиях, собранных «Томским кружком почитателей старца Феодора Кузьмича».

Авторы, осторожные более или менее в своих выводах и оговаривающиеся, что они «далеки от мысли категорически утверждать» тождественность Кузьмича и Александра I, все-таки верят в действительность этой легенды и надеются, что она скоро разъяснится. Блажен, кто верует. Пока они остановились на выводе, что «если на основании имеющихся данных нельзя категорически утверждать, что старец Ф.К. был именно император Александр Благословенный, то в такой же степени нельзя и отрицать того, что Александр Павлович мог явиться в образе таинственного сибирского старца-отшельника». Как раз невозможность последнего и доказана очень определенно и совершенно неопровержимо.

Литература по этому вопросу уже достаточно велика. Томские почитатели Ф.К. насчитали тридцать работ, посвященных разбору легенды. Едва ли не самая обстоятельная из них принадлежит в. к. Николаю Михайловичу «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Феодора Кузьмича». Работа эта, разрешившая вопрос отрицательно, появилась в 1907 г. Для чего вновь пересказывать старую аргументацию через несколько лет?

Если для томских историков основанием является собирание сведений о почитаемом ими старце (в чем они, конечно, могут преуспеть), то малопонятно появление работы кн. Барятинского, поставившего себе целью во что бы то ни стало доказать, что Ф.К. и Александр I — одно и то же лицо. В этом, конечно, автор, пересматривающий лишь старые данные, нисколько не преуспел, что и было доказано уже без труда в фельетонах А.А. Кизеветтера («Русские Ведомости») и П.Е. Щеголева («День»).

Не знаю, правда, стоило ли рассматривать по существу работу кн. Барятинского, имеющую весьма небольшую историческую ценность. Автор поставил себе три вопроса — и на все три отвечает утвердительно: 1) Имел ли император Александр I намерение оставить трон и удалиться от мира? 2) Если он имел это намерение, то привел ли он его в исполнение в бытность свою в Таганроге? 3) Можно ли отождествлять с его личностью личность сибирского старца?

Характерны приемы, при помощи которых разрешаются эти загадки: автор собирает все рассказы о том, как Александр в период с 1817 г. по 1825 г. неоднократно говорил о своем намерении отказаться от престола. И, не думая подвергнуть эти слова какой-либо критической оценке, забывая о том, что Александр и в молодости высказывал те же предположения, автор попросту приходит к положительному ответу на первый вопрос, заявляя при этом довольно категорически, что подобный утвердительный ответ «никогда ни в ком не возбуждал сомнения» (?!). Для разрешения второго вопроса подвергаются анализу все сообщения о смерти Александра, улавливаются противоречия в них и на основании этого устанавливается какая-то весьма проблематичная таинственная загадочность, окружавшая будто бы смерть Александра. Как совершенно справедливо отметил уже А.А. Кизеветтер, «кн. Барятинский во всем видит загадки, странности, таинственные намеки там, где непредубежденный человек не найдет ничего, кроме самых простых фактов, вполне естественных при данном положении вещей».

Путем таких предположений можно доказать все, что угодно. Это, в сущности, тот же метод беспорядочного пользования

источником, который довольно метко высмеян в недавно переведенной остроумной книжке Переса «Почему Наполеона никогда не существовало, Или великая ошибка — источник бесконечного числа ошибок, которые следует отметить в истории XIX века».[61]

Кн. Барятинский остроумен в измышлениях и чрезвычайно догадлив при раскрытии тайн, но когда он встречается с простым каким-нибудь фактом, стоящим в противоречии с его идеей, он попросту с удивительной категоричностью отметает его. Можно привести один довольно яркий пример.

Не без оригинальности автор придумал способ проверить показаниями современных врачей показания врачей Александра I. Он разослал анкетный лист с изложением фактов, обнаруженных при вскрытии тела Александра I, и попросил экспертизу определить, от какой болезни последовала смерть. Хотя врачи и заключили, что на основании протокола ничего нельзя сказать определенного, тем не менее они указали на «возможность смерти от сифилиса». Для автора этого достаточно: ясно, что «в Таганроге было вскрыто тело не Александра». Почему? Потому что эта болезнь совершенно «не соответствует всему тому, что о нем (Александре) известно». Но другой может прийти и к выводу противоположному.

В таком духе и идет все изложение.

Надо сказать, что автор далеко не исчерпал всех возможностей. Фантазия могла бы работать и дальше. У старца Феодора Кузьмича найдены «рукописные остатки». Любители расшифровывать тайны нашли уже несколько ключей к разгадке цифровой кабалистики записок. Один из них восстановил «тайну» в таком виде: «Се Зевес Е.И.В. Николай Павлович, бессовести сославший Александра, от чего аз нынче так страдающи брату вероломну вопию. Да воссия моя держава». Не знаю, почему кн. Барятинский не обратил должного внимания на приведенное толкование: ведь это новая страница для уголовно-исторического романа.

Думается, что и вся книга кн. Барятинского вообще может наибольший интерес представить для любителей чтения таинственных судебных драм. К сожалению, только приходится сказать, что такие работы рассевают в широких кругах читателей фантастические исторические представления.

В ЭПОХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВОЖДИ АРМИИ [62]

Отдавая должное героизму и мужеству русского солдата, один из современников первых войн александровской эпохи, будущий декабрист Фонвизин, не мог не отметить в своих воспоминаниях, что русская армия уступала французской «в той восторженной пламенной храбрости в нападении, какой французы побеждали все европейские армии». Причины этой «восторженной пламенной храбрости» заключались в той нивеллировке революционных войск, которая объединяла в одно и вождей и армию. Этих причин, конечно, не могло быть в русской армии, — армии старого порядка и крепостной муштровки. И если мы припомним внешние условия походов 1805 до 1807 гг., то еще с большим удивлением остановимся перед тем фактом, что даже на полях Аустерлица не померкла военная слава России.

Русская армия стояла перед лучшей европейской армией, перед гениальным стратегом и полководцем, перед всеобщим победителем… Ей предстояло огромное испытание в сфере военной подготовки и личной доблести. И если личная доблесть с честью вышла из этого испытания, то первая оставила желать многого. Прежде всего было забыто «мудрое» правило, как выразился современник, что «войну надо начинать с брюха». Престарелый фельдмаршал Каменский, не найдя «ни боевых, ни съестных припасов, ни госпиталей», в отчаянии даже покинул армию — таким безотрадным казалось ему положение вещей. Интендантские хищения, о которых рассказывает декабрист кн. С.Г. Волконский, сам участник многих боевых действий, приводили к тому, что в армии отсутствовало продовольствие, люди ходили босыми и т. д.[63] «Солдаты Беннигсена всю зиму (1805—1806) питались сырым картофелем без соли; они шатались, как тени, без обуви, без приюта, слабели, заболевали и умирали с голода» — вот картина, нарисованная современником (приписывается А.Ф. Воейкову, «Русск. Арх.», 1868).

При таких условиях поддерживалась военная честь России… И все-таки армия сохранила мужество, как единогласно свидетельствуют очевидцы. Тем более могла она выдержать искус, когда уже приходилось сражаться не за чужие интересы, выдвинутые сложными мотивами международной политики, а более близкие, доступные пониманию каждого солдата, когда приходилось защищать родину от иноземного нашествия; когда развевалось идейное знамя, воодушевлявшее мужество каждого

члена армии.

Личные страдания стушевывались перед общей задачей. А страдания были велики. Мемуаристы 1812 г. останавливаются долго на описании ужасов, сопровождавших отступление голодной французской армии, когда даже трупы павших товарищей служили пищей; голодный француз с вороной послужил нескончаемой темой для изощрения остроумия патриотических карикатуристов и баснописцев. Но, к сожалению, здесь забывалось положение и русской армии, подчас пребывающей «без хлеба», на что так часто приходится жаловаться Кутузову (см., напр., письмо Шувалова Александру 31 июля 1812 г.). А иногда этот хлеб из «черного теста» и «рубленой соломы» был таков, что его не мог есть и голодный француз. (Воспоминания сержанта Бургоня.)

О «бедственном положении армии» уже в начале сентября 1812 г. говорил в своих письмах и гр. Ростопчин. Так, он пишет Аракчееву 15 сентября: «Войска в летних панталонах, без обуви и в разодранных шинелях. Провиантской части недостает, и Милорадовича корпус шесть дней не имел хлеба. Дух у солдат упал. Они и многие офицеры грабят за 50 верст от армии… Наказывать всех невозможно».[64]

Не понятна ли причина того ужасающего мародерства в русской армии, в борьбе с которым уже под Смоленском (см., напр., воспоминания Жиркевича) был беспомощен Барклай[65] и которое лишь усиливалось в дальнейшем при Кутузове?[66]

Об этих бесчинствах в армии в свою очередь сообщает Ростопчин 19 сент. в таких словах: «Если наши крестьяне начнут драться с нашим солдатом (а я этого жду), тогда мы накануне мятежа, который непременно распространится по соседним губерниям, где раненые, беглые и новобранные полки также производят неурядицу».

Сопоставим «пышность» в обиходе некоторых вождей русской армии — и тем разительнее получится картина. Какой, наконец, скорбью и полной беспомощностью веет от такого, напр., лаконического донесения полкового лекаря Красоткина по поводу положения транспорта раненых, отправленных из Калуги в Белев: «На многих рубашки или вовсе изорвались, или чрезвычайно черны… не переменяя другой целый месяц рубашки, на которую гнойная материя, беспрестанно изливаясь, переменила даже вид оной». (Булычев. «Архивные сведения Отечественной войны 1812 г. по Калужской губ.») Отсюда развитие эпидемий, «ужасающая» убыль людей (напр., из ополчения по Тарусскому уезду из 1015 человек вернулось лишь 85) и т. д. и т. д.

Таковы неисчислимые жертвы, принесенные русским

солдатом в знаменательную эпоху на алтарь отечества.[67]

При самых невероятных условиях существования дух армии был силен сознанием, что она исполняет свой долг перед родиной. И вовсе не нужны были те искусственные меры возбуждения ложного патриотизма, которые практиковали деятели 1812 г., подобные гр. Ростопчину. Всякая ложь во всех случаях служит только ко вреду.

У этой армии были и даровитые вожди, которые, по словам генерала В.И. Левенштерна, одного из пострадавших от клеветы современников, «без сомнения, могли быть поставлены наравне с лучшими генералами наполеоновской армии». Среди них мы встретим людей беззаветной личной храбрости, каким был, напр., Багратион, павший при Бородине. Но среди них не было одного — не было единодушия, той необходимой солидарности, отсутствие которой не могут искупить ни личное геройство, ни личные боевые достоинства.

Русская армия с самого начала войны с Наполеоном была центром бесконечных интриг, соперничества, зависти и борьбы оскорбленного самолюбия. В этом, кажется, нет сомнений; это единодушное показание всех современников. Недаром гр. Шувалов в письме к Александру (31 июля 1812 г.) указывает, что при таком положении в армии дело может быть потеряно «sans ressource». И в самом деле, еще в период похода 1805—1806 гг. обнаруживаются обостренные отношения между русскими военачальниками. Беннигсен интригует против Каменского, Буксгевден «из зависти» мешает Беннигсену, последний свои неудачи стремится свалить на другого, и по его представлению бар. Остен-Сакен предается военному суду. Начинается кампания 1812 г., и отношения обостряются еще более. Открывается поход против Барклая-де-Толли, в интригах против него замешаны чуть ли не все военачальники, начиная с Багратиона и Ермолова и кончая второстепенными флигель-адъютантами. Подкопы против Барклая достигают, в конце концов, своей цели: он вынужден передать главное командование Кутузову, а затем и совсем оставить армию. И тогда английский ген. Вильсон, находившийся в русской армии, выражает надежду, что вражда кончится и Беннигсен подчинится Кутузову. Но напрасны такие надежды. Беннигсен давно уже намечал себя в кандидаты на пост главноначальствующего. После взятия Смоленска, зная, какое отрицательное впечатление производят в обществе пререкания главнокомандующих (Барклая и Багратиона), как недовольно общество отступлением русской армии, Беннигсен спешит в Петербург, дабы предстать здесь «готовым кандидатом на пост главнокомандующего», но он опоздал и по дороге встречает

Кутузова с повелением состоять при нем начальником штаба. С этого момента начинается длинная цепь интриг и жалоб на Кутузова со стороны Беннигсена в письмах к императору, Аракчееву и к частным лицам. Цель его — опорочить Кутузова, отметить его ошибки и все успехи приписать исключительно себе… «Борьба за начальство есть неискоренимая причина раздора», — должен пессимистически признать ген. Вильсон. И вскоре, 28 сентября, Вильсон пишет Александру: «Я должен просить, Ваше Величество, чтобы Вы благоволили прекратить, как можно поспешнее, примеры раздора». В конце концов, Беннигсен был удален из армии. Однако и тут интриги не кончились.

Уже сам Вильсон, ранее выдвигавший на пост главнокомандующего Беннигсена, порочит Кутузова, будучи недоволен тем, что фельдмаршал «не имеет иного желания, как только того, чтобы неприятель оставил Россию, когда от него зависит избавление целого света». Армия «превратилась в интриги», как метко заметил Ростопчин, сам один из наиболее резких хулителей действий Кутузова после оставления Москвы. И понятно, что Кутузов получает от императора письмо с упреком в «бездействии». Допустим, что Кутузов делал тактические ошибки, мнимые или действительные. (Оценка деятельности Кутузова не входит в задачу этой статьи.) На эти ошибки указывал, между прочим, Барклай и старался исправить их настолько, насколько это зависело от него (при Бородине и при отступлении из Москвы). Понятно желание исправить замеченные ошибки; искренно можно было негодовать на хаотичность ведения дела при Кутузове, на что, как мы знаем, жалуются многие из современников; искренно можно было не доверять стратегическим талантам главнокомандующих армий, стараться повлиять на перемену их и т. д.: оценка талантов всегда слишком субъективна, и, следовательно, критика и естественна, и законна. Но когда эта критика сводится к мелким подчас сплетням, как, напр., у Ростопчина, к явно нелепым доносам, к обвинению в измене, то это уже попросту интрига. Так было с Барклаем, так было отчасти и с Кутузовым, которого Вильсон в письме к лорду Каткарту упрекает в излишней любви к «французским комплиментам», в том, что Кутузов слишком «уважает сих хищников», т.е. французов.[68] (Почти то же повторяется и по отношению Беннигсена: последний «слишком наклонен признавать французское правительство законным и прочным».)

С интригами на почве соперничества мы встречаемся слишком часто,[69] чтобы можно было не говорить о их деморализующем влиянии даже на хороших генералов. Возьмем Коновницына, пользовавшегося славою «отменно храброго и

твердого в опасности офицера» (отзыв ген. Ермолова в его записках), и однако, этот офицер, проявив много «бесстрашия» под Витебском, игнорирует своими обязанностями, «негодуя, что команду над войсками принял ген. Тучков». Витгенштейн из-за того же чувства «недоброжелательства» или из боязни поступить под команду Чичагова отказывается соединиться с армией главнокомандующего при Березине, начав «вымышленное им преследование войск короля баварского», затрудняет или даже совершенно лишает возможности Чичагова выполнить свою миссию. «Нет побуждающих причин, — замечает в своих записках ген. Ермолов, — говорить не в пользу гр. Витгенштейна, известного рыцарскими свойствами, предприимчивого на все полезное. Не соответствующие этому случайности могли принадлежать постороннему внушению». Но ведь тем более знаменательно, что интрига или «постороннее внушение» могли затронуть человека рыцарского характера…

И такие эпизоды вовсе были не единичны. И это тогда, когда армия стояла перед лицом врага, силу которого старик Кутузов в разговоре с Ермоловым оценивал в таких выражениях: «Если бы кто два или три года назад сказал мне, что меня изберет судьба низложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, я, право, плюнул бы тому в рожу». Почву для этих интриг в значительной степени создавала та своеобразная и весьма сложная система руководства армией, которая принята была Александром после отъезда из армии под давлением известной записки, поданной Аракчеевым, Шишковым и Балашевым. Желая во что бы то ни стало сохранить руководство всем делом — ведь Александр мнил себя, как мы знаем, великим полководцем — и в то же время, по своему обыкновению, никому не доверяя, Александр окружил своих главнокомандующих осободоверенными лицами, которым было предоставлено право интимных донесений непосредственно императору. Получился, таким образом, своего рода шпионаж. При Барклае таким лицом был назначен Ермолов — к тому же враг Барклая; при Кутузове — Беннигсен; при Багратионе — Сен-При; при Чичагове — Чернышев и т. д. Если принять во внимание, что Александр весьма часто вмешивался непосредственно в командование, посылая распоряжения начальникам частей, минуя главное командование, то легко себе представить путаницу, которая получалась в армии. Сен-При, напр., наблюдал за Багратионом, а последний, считая своего «дядьку» почти что за наполеоновского шпиона, окружал его с своей стороны досмотрщиками. От взаимного контролирования, к которому стремился Александр, получалась лишь цепь бесконечных интриг. Откровенный Чичагов

прямо написал Александру: «Если г. Чернышев останется здесь, то он должен воздержаться писать Вашему Величеству. Мне это ничего, но это вредит дисциплине — это дает орудие и надежды интриганам, которых везде вдоволь».

Многие из участников кампании 1812 г. пострадали незаслуженно от пышно расцветшей в русской армии интриги. Малейшая неудача сейчас же вызывала намеки на измену: так было, напр., с Чичаговым, которого ген. Ланжерон, участник березинского дела, не иначе именует, как «Ангелом-Хранителем Наполеона».[70]

Так было и с ген. Пфулем, которому, как писал Александр позже (в декабре 1813 г.), принадлежала инициатива в выработке плана кампании против Наполеона. После неудачи с Дрисским лагерем Пфуль оказался под подозрением у националистов. «Несчастного Пфуля сразу проклинали изменником, так как московское общество очень расположено к подозрению и щедро на прозвища», — говорит Ростопчин, сам более всех других склонный к неосновательной подозрительности и повинный в интригах. Но, вероятно, более всех от этих интриг пострадал Барклай-де-Толли, один из наиболее выдающихся вождей русской армии в эпоху Отечественной войны.

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ И БАГРАТИОН

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле, тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой.
И в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою,
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им, тебя лукаво порицал…

Невольно вспоминаются эти пушкинские стихи. Сколько действительно драматизма в личности Барклая. Быть может, из всех вождей Отечественной войны он заслуживает наибольшей признательности со стороны потомства. Но не Барклай сделался народным героем 1812 г. Не ему, окруженному клеветой, достались победные лавры… А между тем он лучше всех понимал положение вещей; если не он предусмотрел спасительный план кампании,[71] то он твердо и логично осуществлял его, пока был в силах, несмотря на злобные мнения вокруг. И его преемник должен был пойти по его пути. Не он виноват был в первых ошибках. Даже недоброжелательно настроенный к нему ген. Ермолов, и тот должен снять ответственность за первые неудачные шаги с Барклая: «Не только не смею верить, — говорит Ермолов в своих записках, — но готов даже возражать против неосновательного предположения, будто бы военный министр одобрял устроение укрепленного при Дриссе[72] лагеря и, что еще менее вероятно, будто не казалось ему нелепым действие двух разобщенных армий на большом одна от другой расстоянии, и когда притом действующая во фланге армия не имела полных пятидесяти тысяч человек». Здесь уже приходилось умолкнуть перед решением высшей власти, т. е. перед вмешательством со стороны Александра, путавшего карты и подчас заставлявшего Барклая принимать те или иные военные операции, которые составлялись в тылу под наблюдением императора. И главнокомандующий должен был подчас в недоумении спрашивать, что будет делать армия в том или ином случае — так

именно было в лагере под Дриссой.

Во всяком случае, Барклай, судя по отзывам современников, был одним из лучших русских генералов, — человек знания и дела. Как ни бледна характеристика Барклая, сделанная Ермоловым в «Записках», но и она много говорит, если принять во внимание, что эта характеристика исходит от друга Багратиона, в свою очередь повинного в интригах и известного своею нелюбовью к «немцам». «Не принадлежа превосходством дарований к числу людей необыкновенных, он излишне скромно ценил свои способности», — пишет Ермолов. «Барклай — человек ума образованного, положительного, терпелив в трудах, заботлив о вверенном ему деле, равнодушен в опасности, недоступен страха. Свойств души добрых!» Отмечая другие свойства, Ермолов заключает: «Словом, Барклай-де-Толли имеет недостатки с большей частью людей неразлучные, достоинства же и способности, украшающие в настоящее время весьма немногих из знаменитейших наших генералов». Ермолов отмечает, что при всех хороших своих качествах Барклай страдал недостатком: «нетверд в намерениях, робок в ответственности… Боязлив перед государем, лишен дара объясняться. Боится потерять милость его»… Мы увидим дальше, что все факты опровергают эти последние черты, приписываемые Барклаю биографом. Независимость Барклая, которую как характерную черту его отмечает М.А. Фонвизин, много раз подтвердилась на деле и, быть может, в значительной степени и вызывала нелюбовь соратников и подчиненных.

Недаром очень злой в характеристике современников Логинов, секретарь Елисаветы Алексеевны, говорит, что «Барклай один стоял против всех бурь». «Барклай, выведенный из ничтожества Аракчеевым, который думал управлять им, как секретарем… показал, однако же, характер, коего Аракчеев не ожидал»… Он «ни на шаг не уступал ему, когда вступил в министерство»… Если мы вспомним, как подобострастно относились почти все власть имущие к временщику, то поведение «честного и тяжелого немца» еще резче выделится на общем фоне подобострастия. Барклай был человек дела, к тому же обладавший большой работоспособностью (ее отмечает и Ермолов).

Барклай «никогда не отдыхал, — рассказывает ген. Левенштерн, — работал даже ночью». Назначенный военным министром, он не подходил к общему тону придворной жизни, не разделял и вкусов тогдашней военщины. Человек образованный, еще будучи шефом Егерского полка, он старался внушить подчиненным офицерам, что военное искусство далеко не

заключается только в «изучении одного фронтового мастерства». Он боролся против господствовавшей тенденции «всю науку, дисциплину и воинский порядок основывать на телесном и жестоком наказании» (знаменитый циркуляр военного министра 1810 г.). И этим он вызвал уже «злобу сильного своего предместника», т.е. Аракчеева, который «поставлял на вид малейшие из его (т.е. Барклая) погрешностей». Неожиданному возвышению Барклая завидовали, а он, «холодный в обращении», замкнутый в себе, «неловкий у двора», не думал снискивать к себе расположение «людей близких государю». Барклай не был царедворцем и по внешности. Вот как рисует его Фонвизин: «С своей холодной и скромной наружностью (Барклай), был невзрачный немец с перебитыми в сражениях рукою и ногою, что придавало его движениям какую-то неловкость и принужденность»…

Таким образом, еще до войны вокруг Барклая скопилось много зависти, злобы и ненависти. Но император Александр ценил его, учитывая его заслуги во время шведской войны. «Вы развязаны во всех ваших действиях», — писал 30 июля 1812 г. с обычной своей неискренностью Александр, для которого скромный и сдержанный Барклай был предпочтительнее самомнительного и пылкого Багратиона.

И Барклай сознательно шел к поставленной цели, проявляя свою обычную работоспособность, показывая «большое присутствие духа» и «мудрую предусмотрительность» (Фонвизин).

Но вокруг него кипела зависть и борьба. «Всякий имел что-нибудь против Барклая, — вспоминает ген. Левенштерн, — сам не зная почему». Все действия главнокомандующего критиковались; без «всякого стеснения» обсуждались его «мнимые ошибки». Действительно, против Барклая в полном смысле слова составился какой-то «заговор», и заговор очень внушительный по именам, в нем участвующим. Не говоря уже о таких природных интриганах, как Армфельт, и свитских флигель-адъютантах, все боевые генералы громко осуждали Барклая — и во главе их Беннигсен, Багратион, Ермолов и многие другие. Такие авторитетные лица, как принц Ольденбургский, герцог Вюртембергский, великий князь Константин Павлович, командовавший гвардией, открыто враждовали с Барклаем. Было бы хорошо, если бы дело ограничивалось тайными письмами, в которых не щадили «ни нравственный его (Барклая) характер, ни военные действия его и соображения». Нет, порицали открыто, не стесняясь в выражениях, лицемерно чуть ли не обвиняя его в измене. В гвардии и в отряде Беннигсена сочинялись и распространялись насмешливые песни про Барклая. Могла ли при

таких условиях армия, не понимавшая действий главнокомандующего, верить в его авторитет, сохранять к нему уважение и любовь? Игру вели на фамилии, на «естественном предубеждении» к иностранцу во время войны с Наполеоном. Любопытную и характерную подробность сообщает в своих воспоминаниях Жиркевич: он лично слышал, как великий князь Константин Павлович, подъехав к его бригаде, в присутствии многих смолян утешал и поднимал дух войска такими словами: «Что делать, друзья! Мы не виноваты… Не русская кровь течет в том, кто нами командует… А мы и болеем, но должны слушать его. У меня не менее вашего сердце надрывается»… «Представить не можешь, — писал, напр., ген. Дохтуров своей жене, — какой это глупый и мерзкий человек Барклай».

Вследствие этого терялось, конечно, и уважение к Барклаю в обществе. «Не можешь вообразить, как все и везде презирают Барклая» — писала, напр., своей подруге из Тамбова 27 августа известная Волкова.

Какой действительно трагизм! Полководец «с самым благородным, независимым характером, геройски храбрый, благодушный и в высшей степени честный и бескорыстный» (так характеризует Барклая декабрист Фонвизин), человек, беззаветно служивший родине и, быть может, спасший ее «искусным отступлением, в котором сберег армию», вождь, как никто, заботившийся о нуждах солдат, не только не был любим армией, но постоянно заподазривался в самых низких действиях. И кто же виноват в этой вопиющей неблагодарности? Дикость черни, на которую указывает Пушкин, или те, кто сознательно или бессознательно внушали ей нелюбовь к спасавшему народ вождю?

Надо было проявить много твердости, чтобы парализовать тот «дух происков» в армии, на который жаловался Барклай в своем «изображении военных действий 1 армии в 1812 г». Он проявил достаточную независимость, выслав в Петербург нескольких царских флигель-адъютантов, находившихся в главной квартире. Он не остановился перед удалением из армии цесаревича Константина, признав присутствие его в армии «бесполезным»: Константин Павлович из Дорогобужа был отправлен с депешами к государю и был чрезвычайно оскорблен навязанной ему ролью «фельдъегеря». Но Барклай буквально был окружен недоброжелателями. Он знал о ропоте солдат. Он знал, что победа примирила бы его с армией. Но, как должен признать Ермолов, «обстоятельства неблагоприятны были главнокомандующему и не только не допускали побед, ниже малых успехов». А поражение нанесло бы непоправимую уже брешь.

Но почему же Барклай, окруженный такой нелюбовью, сам не сложил с себя звания главнокомандующего? И не честолюбие, очевидно, играло здесь роль — Барклай слишком страдал от окружавшей его неприязни, чтобы не принесть в жертву свое честолюбие, как полководца. Здесь, может быть, в высшей степени проявилась его твердость — русские военачальники на первых порах слишком все пылали стремлением одерживать победы, слишком самоуверенно смотрели вперед, мало оценивая всю совокупность «неблагоприятных обстоятельств» и опасность положения. И, может быть, было бы большим несчастием для России, если бы командование перешло к пылкому и самонадеянному Багратиону, который и по чинам и по положению в армии имел все шансы сосредоточить его в своих руках.

Барклай и Багратион были люди совершенно различного темперамента. Ужиться им было слишком трудно. Пылкость и горячность Багратиона мало подходила к уравновешенности Барклая. Багратион был «неподражаем в своих мгновенных вдохновениях», — говорит Фонвизин. Это «рожденный чисто для воинского дела человек», — по отзыву декабриста Волконского. «Отец, генерал образу и подобию Суворова» (Ростопчин). Но при всех этих качествах Багратион был человек «не высоко образованный», как отмечают в один голос все его друзья. И в этом отношении он должен был уступить Барклаю. «Одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился в военную службу», — пишет Ермолов. «Все понятия о военном ремесле извлекал он из опытов, все суждения о нем — из происшествий, по мере сходства их между собою, не будучи руководим правилами и наукою и впадая в погрешности…»[73] «Если бы Багратион, — добавляет Ермолов, — имел хоть ту же степень образованности, как Барклай-де-Толли, то едва ли бы сей последний имел место в сравнении с ним». Но именно этой «образованности» у Багратиона не было. Поэтому Барклай, имея более Багратиона «познаний в военных науках, — по словам Фонвизина, — мог искуснее его соображать высшие стратегические движения и начертать план военных действий». Одним словом, Багратион был, несомненно, хорошим боевым генералом, человеком большого энтузиазма и личного геройства. Быть может, все это хорошие качества для полководца, но не в тот момент и не при тех условиях, в каких находилась Россия в начале кампании 1812 г.

Отличаясь «умом тонким и гибким», по отзыву Ермолова, Багратион, к сожалению, не проявил этих качеств в отношении к

Барклаю. Быть может, причиною этого и было отсутствие образования. Слишком непосредственно отдаваясь своим чувствам и не вдумываясь в положение вещей, Багратион был один из самых горячих противников Барклая. Но для него есть одно оправдание — по-видимому, он был искренен в своих суждениях, тем более что он не был осведомлен достаточно об общем плане.

Стоит прочесть несколько писем Багратиона с поля брани, чтобы понять психологию противника Барклая. У него много самонадеянности, пожалуй, даже хвастливости, как это часто бывает у людей, не получивших образования. Он откровенно признается Ермолову в письме от 6 июля: «Я не понимаю ваших мудрых маневров. Мой маневр — искать и бить!» «Военная система, — писал на другой день Багратион Александру, — по-моему та: кто рано встал и палку в руки взял, тот и капрал». Исходя из тезиса, что «русский и природный царь должен наступательный быть, и что русские не должны бежать» (в письме к Аракчееву), Багратион весьма презрительно относится к силам неприятеля. «Чего нам бояться? — пишет он Александру. — Неприятель, собранный на разных пунктах, есть сущая сволочь». «Божусь вам, — пишет он же Ростопчину, — неприятель дрянь, сами пленные и беглые божатся, что если мы пойдем на них, они все разбегутся».

Мы приведем еще несколько последовательных выдержек из писем Багратиона к императору, Аракчееву, Ростопчину и Ермолову, в которых так ярко выступает наивность Багратиона, его самоуверенность, а иногда и отчаяние, что его не слушают.

«За что вы срамите Россию и армию? — пишет он Ермолову в июле, в начале кампании. — Наступайте, ради Бога! Ей Богу, неприятель места не найдет, куда ретироваться. Они боятся нас… Нет, мой милый, я служу моему природному государю, а не Бонапарте. Мы проданы, я вижу; нас ведут на гибель; я не могу равнодушно смотреть. Уже истинно еле дышу от досады, огорчения и смущения. Я, ежели выберусь отсюдова, тогда ни за что не останусь командовать армиею и служить: стыдно носить мундир, ей Богу, и болеть. А ежели наступать будете с первой армиею, тогда я здоров. А то, что за дурак? Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать… Если бы он был здесь, ног бы своих не выдрал, а я выйду с честью и буду ходить в сюртуке, а служить под игом иноверцев-мошенников — никогда!.. Ох, жаль, больно жаль России! Я со слезами пишу прощай, я уже не слуга. Выведу войска на Могилев, и баста! Признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схожу… Наступайте! Ей Богу, оживим войска и шапками их закидаем. Иначе будет революция в Польше

и у нас…» «Ради Бога, не срамитесь, наступайте, а то, право, куда стыдно мундир носить: право, скину», — пишет Багратион Ермолову вновь через несколько дней. «Мне одному их бить невозможно…» «Никого не уверишь ни в армии, ни в России, — пишет Багратион в то же время Аракчееву, — чтобы мы не были проданы». «Я один защищать России не могу». «Я никак вместе с министром не могу, — пишет он тому же лицу 29 июля. — Ради Бога — пошлите меня куда угодно…» «Я клянусь вам моей честью, — сообщает он 7 августа, — что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он мог бы потерять половину армии, но не взять Смоленска». Самоуверенность Багратиона в письме к Ростопчину 14 августа идет еще дальше: «Без хвастовства скажу вам, что я дрался лихо и славно. Господина Наполеона не токмо не пустил, но ужасно откатал…» «Если бы я один командовал… пусть меня расстреляют, если я его в пух не расчешу». Но как не верны были расчеты Багратиона, показывает его письмо от 8 августа, где он уверяет Ростопчина, что ныне «столица обеспечена»… Порицая образ действий Барклая, Багратион не стесняется в отзывах: «Ваш министр, — пишет он Аракчееву, — может хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего отечества». Барклай «не имеет вожделенного рассудка или лисица», — характеризует он своего соперника в письме к Ростопчину. Указывая на себя в письме Александру, он замечает: «Иноверцы[74] не могут так усердно служить…» Наконец Барклай не только изменник, но и «иллюминатус».

Наивность и искренность, в которые Багратион облекал свои выступления против Барклая, служат оправданием для личности Багратиона, геройски павшего на поле брани. Но если личные его подвиги давали высокие примеры бесстрашия и мужества, то бестактные поступки против Барклая не могли не иметь деморализующего влияния. А между тем именно Багратион при своем влиянии в армии мог быть лучшей опорой Барклая. Барклай ценил достоинство Багратиона, щадил его самолюбие, когда последнему, несмотря на старшинство в чинах, связи при дворе и огромную популярность в армии, пришлось при соединении под Смоленском двух армий стать в подчинение к Барклаю. Такт Барклая проявился уже в том, что он лично поехал навстречу Багратиону.

Однако поведение Багратиона способно было вывести из терпения и всегда спокойного Барклая. Если верить рассказам очевидцев, в армии происходили бесподобные сцены: дело доходило до того, что главнокомандующие в присутствии подчиненных «ругали в буквальном смысле» один другого: «Ты

немец, тебе все русские нипочем», — кричал Багратион. «Аты дурак, и сам не знаешь, почему себя называешь коренным русским», — отвечал Барклай. Можно ли в таких условиях говорить о какой-либо солидарности в действиях, являвшейся одним из главных залогов успеха…

Обострение отношений между главнокомандующими, непосредственность их взаимоотношений (Багратион фактически должен был подчиниться Барклаю, а между тем армия его продолжала составлять отдельное целое с особым штабом и т. д.), сознание необходимости объединить армии всецело в одних руках привело к назначению Кутузова.

Как отнеслись к этому факту Барклай и Багратион? Любопытное замечание по этому поводу делает в своих записках Ростопчин, как мы знаем уже, благожелательно настроенный к Багратиону: «Барклай, — сообщает он, — образец субординации, молча перенес уничижение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием. Багратион, напротив того, вышел из всех мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошенником, способным изменить за деньги». Правда, А.Н. Попов не без основания указывает,[75] что последний отзыв может быть заподозрен в правдивости, так как записки Ростопчина, писанные много лет позже событий 1812 г., далеко не всегда являются надежным источником. Ростопчин излагает в записках некоторые события уже не так, как они рисовались ему в момент действия. И, вероятно, резкие слова, приписанные Багратиону и являющиеся отчасти отзвуком недоброжелательного отношения самого Ростопчина к Кутузову, должны быть сильно смягчены. Но можно думать, что в них есть и доля правды.

При своей излишней прямолинейности, Багратион мог сгоряча сказать что-нибудь весьма резкое, так как, надеясь получить место главнокомандующего, Багратион отрицательно относился к Кутузову. Человек, как мы видели, весьма самонадеянный, Багратион думал, что он один может спасти Россию, что он один достоин вести войска к победе над Наполеоном. Багратион, конечно, знал, что многие указывали на него, как на заместителя Барклая. «Впоследствии я узнал, — говорит Ростопчин в своих записках, — что Кутузову было поручено многими из наших генералов просить государя сместить Барклая и назначить Багратиона». Не показывает ли это, что честолюбие и соперничество являлось и у Багратиона стимулом выступлений против Барклая? Недаром Ермолов, в ответ на жалобы Багратиона, — и тот должен был устыдить его: «Вам, как человеку, боготворимому подчиненными, тому, на кого

возложена надежда многих и всей России, обязан я говорить истину: да будет стыдно вам принимать частные неудовольствия к сердцу, когда стремление всех должно быть к пользе общей; это одно может спасти погибающее отечество наше!.. Принесите ваше самолюбие в жертву погибающему отечеству нашему, уступите другому и ожидайте, пока не назначат человека, какого требуют обстоятельства»…

Барклай безропотно подчинился и «в полковых рядах сокрылся одиноко». Самолюбие Барклая должно было страдать ужасно. Его заместитель явился с обещанием: «скорее пасть при стенах Москвы, нежели предать ее в руки врагов». И должен был последовать, в конце концов, плану Барклая. На военном совете после Бородина, когда Барклай первый высказал мысль о необходимости отступления, Кутузов, по словам Ермолова, «не мог скрыть восхищения своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении». И здесь постарались набросить тень на Барклая. Кутузов, желая сложить с себя ответственность, указывал в своем донесении, что «потеря Смоленска была преддверием падения Москвы», не скрывая намерения, говорит Ермолов, набросить невыгодный свет на действия главнокомандующего военного министра,[76] в котором и не любящие его уважали большую опытность, заботливость и отличную деятельность. Ведь записки писались, когда острота событий прошла.[77]

На Бородинском поле Барклай проявил свою обычную предусмотрительность и энергию. Быть может, и не совсем скромно было со стороны Барклая писать своей жене: «Если при Бородине не вся армия уничтожена, я — спаситель», то все же это более, чем понятно, когда заслуги Барклая в этот момент явно не желали признавать. Барклай, уже лишившись главного командования, продолжал чувствовать к себе недоверие. Терпеть создавшееся двойственное положение было для Барклая слишком тяжело. И он искал смерти на поле битвы.

> — Там устарелый вождь, как ратник молодой,
> Свинца веселый свист заслышавший первой,
> Бросался ты в огонь, ища желанной смерти…
> Вотще!..

Это не поэтический вымысел Пушкина. На другой день Бородина Барклай сказал Ермолову: «Вчера я искал смерти и не нашел». «Имевший много случаев, — добавляет Ермолов, — узнать твердый характер его и чрезвычайное терпение, я с удивлением видел слезы на глазах его, которые он скрыть старался. Сильны, должно быть, огорчения».

Откровенные мнения Барклая о «беспорядках в делах, принявших необыкновенный ход», не нравились Кутузову. И в конце концов Барклай (22 сентября) совсем оставил армию. «Не стало терпения его, — замечает Ермолов, — видел с досадою продолжающиеся беспорядки, негодовал за недоверчивое к нему расположение, невмешательство к его представлениям…» Выступая с критикой, Барклай поступил честнее всех других. Он откровенно высказал в письме к Кутузову все те непорядки, которые господствовали в армии. «Во время решительное, — писал он, — когда грозная опасность отечества вынуждает отстранить всякие личности, вы позволите мне, князь, говорить вам со всею откровенностью…»

Но еще с большей откровенностью высказался он в письме к императору Александру 24 сентября, т.е. тогда, когда решение оставить армию было принято им уже окончательно. «Я умоляю, ваше величество, — писал Барклай, — сделать мне это благодеяние, как единственную милость, которую прошу для себя…» «Я не нахожу выражений, чтобы описать ту глубокую скорбь, которая тяготит мое сердце, когда я нахожусь вынужденным оставить армию, с которой я хотел и жить и умереть. Если бы не болезненное мое состояние, то усталость и нравственные тревоги должны меня принудить к этому. Настоящие обстоятельства и способы управления этой храброй армией ставят меня в невозможность с пользою действовать для службы…» И Барклай очень резко отзывается об армии, находящейся под управлением неопытных лиц, причисленных к «свите двух слабых стариков, которые не знают другого высшего блага, как только удовлетворение своего самолюбия, из которых один, довольный тем, что достиг крайней цели своих желаний, проводит время в совершенном бездействии и которым руководят все молодые люди, его окружающие; другой — разбойник, которого присутствие втайне тяготит первого… »Высказав все накопившееся чувство негодования, Барклай ушел…

И хотя имя Барклая было реабилитировано после 1812 г. и ему вновь было поручено командование армией; хотя и памятник ему поставлен рядом с Кутузовым, но все же не Барклай вошел в историю с именем народного героя Отечественной войны. А, быть может, он более всех заслужил эти лавры.

РОСТОПЧИН — МОСКОВСКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ [78]

По словам современника Евреинова, никогда в Москве так не веселились, как в 1811 г.[79] Московским обывателям не верилось, чтобы «французы подумали напасть на Россию», как сообщает из Москвы Ноздеев А.К. Разумовскому. Несмотря на все старания литературных французоненавистников, веселящаяся Москва довольно равнодушна к их обличениям и колкой сатире. Одним словом, Москва еще очень далека от «патриотического возбуждения». Зато «бессмертные московские», как именует Ростопчин в письме к Александру московских отставных вельмож, не прочь поиграть в оппозицию. Фрондерство — это специфическое явление Москвы, которое отметила еще в 1806 г. мисс Вильмот, компаньонка кн. Дашковой. «Все те, кто ныне не в милости, фрондируют». «Москва, — пишет Вильмот, — это государственные политические Елисейские поля России».

Среди этих фрондирующих московских дворян, находящихся «не в милости», долгое время числится и гр. Ростопчин, популярный в Москве за свои «острые и забавные выходки». Через тверской салон вел. кн. Екатерины Павловны Ростопчин делает свою новую карьеру. Самолюбивому Александру самомнительный Ростопчин был «глубоко антипатичен».[80] В этом нет никаких сомнений. И по словам А.Я. Булгакова, одного из московских друзей Ростопчина, Александр долгое время отклонял предложение Екатерины Павловны о назначении Ростопчина московским генерал-губернатором. В ответ на настойчивые предложения тверского кружка Александр будто бы приводил аргумент, что Ростопчин, «состоя в звании обер-камергера, в гражданской службе не может занять место, требующее военного мундира», на что Екатерина Павловна возражала: «Mais c'est une affaire du tailleur». Но так или иначе, уже в феврале 1812 г. Ростопчин получает новое назначение (официально указ последовал в Вильне 24 мая).

В сущности, на нового главнокомандующего возлагается определенная задача: возбудить в Москве перед войной патриотическое настроение, и прежде всего возжечь «в сердцах» дворянства любовь к императору «совсем почти погасшую», как выражался Ростопчин в письме к Александру 17 декабря 1806 г. «Скажите Ростопчину», — писала Екатерина Павловна А.П. Оболенскому, — что он «должен воспламенить дворянство…» Ему

стоит только «указать на опасность, в каком находится отечество, и на народное значение этой войны».

Перед Ростопчиным и другая задача, помимо примирения правительства с фрондирующим дворянством, — борьба с внутренней крамолой, борьба с опасной сектой «мартинистов» и русских «якобинцев». Уничтожить дворянскую «фронду» весьма легко. Еще в декабрьском письме 1806 г. Ростопчин указывает простое средство. Ведь «сие знаменитое сословие, одушевленное духом Пожарского и Минина, жертвует всем отечеству и гордится лишь титлом Россиян». Но «все сие усердие… обратится в мгновение ока в ничто, когда толк о мнимой вольности подымет народ на приобретение оной истреблением дворянства, что есть во всех бунтах и возмущениях единая цель черни». Вопрос о «мнимой вольности» сошел уже со сцены, либерализму перед 12 годом была дана окончательная отставка. И, следовательно, здесь задача Ростопчина упрощалась — оставалось только указать на «опасность», грозившую дворянству, на необходимость самообороны и пожертвований во имя сохранения status quo. Большей энергии требовала борьба с опасной политической партией — союзом «мартинистов», рисовавшимся в фантастических построениях графа Ростопчина в виде какого-то таинственного заговора, сосредоточием которого являлась Москва. Ростопчину, по собственному признанию, «приходилось слышать страшные слова», и он убежден, что при малейшем волнении в народе «лицемеры-мартинисты явятся открытыми злодеями. Они притворяются смиренниками, чтобы возбуждать беспорядки». Сюда и должна быть направлена наибольшая энергия облеченного монаршим доверием нового «московского властелина».

Он явился в Москву гордый сознанием, что ему поручена великая миссия спасения отечества. Крепостник и реакционер по убеждениям, фанатически враждебный к Франции, как к носительнице революционных идей, и к Наполеону, как к порождению той же революции, человек неумный, чрезвычайно плоский в своих остротах и шутках, не только на словах, но и на деле, Ростопчин должен был ознаменовать свою деятельность грубым самодурством и произволом.[81] Этот Дон-Кихот реакции создавал фантом революции, с которым боролся во имя саморекламы и самовосхваления. Человек в высокой степени неискренний, любивший позировать и оригинальничать, Ростопчин каждому своему действию, каждому своему выступлению придавал пышную внешнюю инсценировку. В каждом его поступке слышится нота фальши. Он с нее начал и в момент вступления на пост московского главнокомандующего. В

Москве Ростопчин должен показать пример патриотического служения, «полезный в нынешних обстоятельствах». И он просил при назначении его в Москву «жалованье определить очень большое для того, что на первой почте я напишу письмо к министру полиции с просьбой, что на все время войны я служу без жалованья». И по приезде в Москву он прежде всего хочет «бросить пыль в глаза». С этой целью, по собственному признанию, в день вступления в должность «велел отслужить молебен перед всеми чудотворными иконами, которые весьма почитает народ». «Двух дней» оказалось достаточным Ростопчину, чтобы таким путем «бросить пыль в глаза». Таково его личное признание. (Воспоминание).

Удалось ли это ему в действительности? Если от назначения Ростопчина и были в восторге такие лица, как Багратион, видевший в Ростопчине олицетворение истиннорусского начала и относившийся поэтому к нему с «обожанием»; если это назначение приветствовали искренние и наивные «патриоты», вроде С.Н. Глинки, готового противопоставлять Ростопчина Наполеону[82] и тем доставлявшего, конечно, огромное удовлетворение самолюбивому графу, то общее впечатление от назначения скорее было не в пользу Ростопчина. В Москве были удивлены, увидев балагура-вельможу в роли «московского властелина». Современник Бестужев-Рюмин это впечатление передает в таких характерных словах: «Признаюсь откровенно, что лишь только я узнал о сей перемене начальства (т.е. о назначении вместо Гудовича Ростопчина), сердце у меня облилось кровью; как будто я ожидал чего-то очень неприятного». И, конечно, он был совершенно прав, так как Ростопчин был уже известен, как представитель того боевого национализма, который в конце концов неизбежно приводил к пробуждению самых низменных шовинистических чувств, самых дурных инстинктов в некультурных массах.

Дух патриотизма Ростопчина как нельзя лучше охарактеризовал К.Н. Батюшков, сказавший еще по поводу «Мыслей на Красном Крыльце» и литературной деятельности Глинки: «Любить отечество должно… но можно ли любить невежество?» Московский барин, державший француза-повара, изъяснявшийся и переписывавшийся только на французском диалекте, понимал проявление патриотизма в виде самых грубых выходок. Ростопчинские друзья, ютившиеся в его московской гостиной, приходили в восторг от «забавных» выходок своего покровителя. Правда, проявления этого острого ума были довольно трафаретны. Булгаков не без удовольствия рассказывает, как однажды он принес лубочный портрет

Наполеона, и Ростопчин тут же написал на нем площадное двустишие. Он же передает о горячих спорах Ростопчина с женой из-за того, что московский главнокомандующий поместил дорогой бронзовый бюст Наполеона в совершенно неподходящем месте. Жена Ростопчина — католичка — протестовала, так как Наполеон был коронованной особой, помазание над которым совершал сам римский первосвященник. Но Ростопчин ни за что не хотел уступить жене…

Таково было убогое остроумие знаменитого московского патриота. Неужели в этом проявлялся действительный ум?[83] Нет ничего удивительного, что многие из друзей Ростопчина восторгались этими буффонадами — ко многим из таких друзей вполне может быть применено замечание Батюшкова: «Самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур…»

Небезынтересно для личной характеристики Ростопчина отметить тот факт, что назначение его встретило несомненное сочувствие в среде московских иезуитов. «Перемена губернатора, — писал аббат Сюрюг, — будет для нас выгодна. Я имел случай представиться ему и был им принят хорошо. Обещание графа оказывать нам особенное покровительство дает самые счастливые надежды». Можно было бы подумать, что здесь косвенно оказывала влияние на московского патриота его жена — католичка. В действительности дело обстояло проще. У гр. Ростопчина, как мы могли уже убедиться, отнюдь не было какой-либо органической ненависти к иностранцам. Его узкий национализм был наносного происхождения, в значительной мере позой. Он ненавидел только свободомыслие, проявление которого заподазривал и там, где его не могло быть. И здесь, в отцах-иезуитах, он находил и несомненных помощников по политическому сыску, и врагов ужасных — «мартинистов». Отсюда вытекала и возможность «особенного покровительства» иезуитам со стороны Ростопчина.

Таков был Ростопчин в интимной обстановке, таковы же были и внешние проявления его власти, как начальника Москвы. Деятели, подобные Ростопчину, не понимали, а может быть, и не могли понять, что здоровый патриотизм не нуждается в искусственных прививках, что он сам естественно заложен в народных чувствах. Они ставили своей целью взвинтить народное настроение, действуя на суеверные чувства, возбудить бессознательную ненависть к французам и тем подвинуть народ на «патриотические» подвиги. В 1812 г. это было в моде. Нашелся даже ученый, дерптский профессор Гецель, который, истолковывая два места из Апокалипсиса, в числе зверином открыл имя антихриста — Наполеона. Свое изыскание он

предложил Барклаю распечатать «для усугубления бодрости духа русского воинства». Синод следовал по тому же пути, и в том же духе действовал гр. Ростопчин, старавшийся разбудить человеконенавистнические чувства в своих подчиненных. Но надежда на разнузданность толпы — надежда, чреватая последствиями. И в конце концов деятельность гр. Ростопчина привела к самым печальным результатам.

Эта деятельность, как мы знаем, направленная в три стороны (привлечение дворянских сердец, борьба с революцией и подъем народного патриотизма), естественно, была тесно связана с ходом событий на театре военных действий, от которого зависела агрессивность ростопчинской политики.

Когда враг был еще далеко, Москва отнюдь не проявляла того «патриотического» возбуждения, которое хотелось видеть Ростопчину, принявшему на себя миссию спасителя отечества. Московское общество скорее негодовало, что правительство легкомысленно втянулось в войну.

Императора, по словам Ростопчина, прямо обвиняли в том, что он причина близкой гибели России, потому что не хотел предупредить или избежать третьей войны с противником, который уже дважды победил его.

Московское простонародье на первых порах также не проявляло большого воинственного пыла. Достаточно припомнить знаменитую сцену, разыгравшуюся 12 июля в Кремле. По случаю молебствия Кремль набит народом. Вдруг по толпе пронесся слух, что запирают ворота и будут брать каждого силою в солдаты. В несколько минут, рассказывает очевидец, ростовский городской голова Маракуев, Кремль опустел. Это, конечно, был вздорный слух, но москвичи прекрасно знали, что гр. Ростопчин, которому было поручено образование военной силы в московском округе, не остановится перед самыми вопиющими мерами насилия. Они знали, что мещане и господские люди, взятые в смирительный и рабочий дом за пьянство и распутство, забираются в рекруты, что еще 28 июня, по просьбе Ростопчина, ему разрешено зачислять в армию нижними чинами за «проступки» всех «не имеющих ремесла, офицеров и нижних классов чиновников праздношатающихся»

(«Письмо Балашова к Ростопчину»). Отсюда так легко могла возникнуть паника. Припомним еще один характерный эпизод, происшедший в имении старика Свербеева. Воспылав воинственным пылом, семидесятилетний Свербеев собрал своих «Богом и государем данных подданных» и предложил им «идти против врага, замыслившего в сатанинской своей гордости разорить нашу веру и покорить себе нашу милую родину».

Однако его ждало большое разочарование — нашелся всего один охотник. Здесь сказался простой «здравый смысл», как замечает в своих воспоминаниях Д.Н. Свербеев. Крестьяне, «еще до объявления им моим отцом, предугадали, что будет большой набор, и тут же заговорили: "Из чего же нам идти в охотники? Кто похочет, тот и пойдет, когда будут набирать, а то, пожалуй, охочие найдутся, а положенных возьмут без замину…"» Ростопчин, конечно, подобные инциденты объяснял исключительно происками зловредных «мартинистов», которых со всем усердием стал разыскивать по Москве. «Если к несчастью вашему, — назойливо пристает Ростопчин к Александру, — жестокому врагу удастся поколебать верность ваших подданных, вы увидите, государь, что мартинисты тогда обнаружат свои замыслы… и если у вас недостанет решимости, то русский престол будет отнят у вас и вашего рода». Для Ростопчина здесь только средство устрашения Александра, к которому он прибегал постоянно и не в меру. В действительности же по отношению к «мартинистам», это была ловля призраков, созданных воображением гр. Ростопчина и донесениями окружающих его шпионов.

В число «мартинистов» и «якобинцев» Ростопчин зачислял всех, кто только позволял себе высказывать какое-либо неодобрительное суждение по поводу мероприятий главнокомандующего. В частности, Ростопчин «мартинистами» именовал небольшой достаточно реакционный кружок московских масонов во главе с Лопухиным, Ключаревым, Кутузовым и Поздеевым. Не давал ему покоя и мирно доживающий старость в своем с. Авдотьине Новиков, над которым Ростопчин учредил через бронницкого капитана-исправника полицейскую опеку. Верил ли сам Ростопчин в те страхи, которые он старательно внушал правительству? Верил ли он в возможность пропаганды со стороны масона По-здеева (которому, в конце концов, запретил въезд в Москву) — этого ярого крепостника, вполне солидарного с Ростопчиным в вопросе об опасности возмущения крестьян против дворянства; верил ли он в «якобинизм» сенатора Кутузова — реакционера, заподозривавшего даже Карамзина, ростопчинского приятеля, не более не менее, как в том же «якобинстве»; верил ли он, наконец, в действительную опасность со стороны барственного мистицизма кружка Лопухина, столь враждебного и Франции и французской революции? Если допустить, что под чужим влиянием Ростопчин действительно поверил, то это показывает лишь его поразительную недалекость.[84] Против масонов Ростопчина настраивали его друзья иезуиты, относившиеся к

масонам и мистикам без различия направления с той же ненавистью, с какой относились к ним в конце царствования Александра и отечественные представители ортодоксального православия. Стоит прочитать переписку аббатов Сюрюга и Бюлли, чтобы увидать, что поход на мартинистов открыт был под их непосредственным влиянием.

А Ростопчину не все ли равно было, кого заподазривать в измене? Ему надо было лишь запугать Александра угрозой революции, внушить к себе доверие и показать, что он один может справиться на таком важном посту в Москве, где чуть ли не половина населения состоит из «наполеонистов». Ростопчин выбирал неугодных себе лиц, с которыми и сводил таким путем личные счеты. Наиболее ярким примером в данном случае является гонение на почт-директора Ключарева, позволившего себе высказать «нелестное мнение» о Ростопчине. С другой стороны, по словам Рунича, у Ростопчина явилось подозрение, что Ключарев обнаружил его тайную переписку с Тверью. Надо Ключарева удалить под видом опасного «мартиниста». Ростопчин, впрочем, еще недостаточно уверен в своей власти, не уверен, что его авторитет твердо стоит в мнении Александра. И поэтому он просит фельдмаршала Салтыкова воздействовать на удаление Ключарева, но получает в ответ, что император полагает, что «теперь не время делать подобные перемещения». Это был, конечно, афронт для Ростопчина. В борьбе с «мартинистами» он должен был таким образом учитывать то обстоятельство, что заподозренные им лица находились в больших чинах и занимали видные административные положения.

Александр не хотел «лишнего шума», как показывает распоряжение императора по поводу ареста доктора Сальватора, лица, близкого ростопчинскому предшественнику на московском посту гр. Гудовичу. Сальватор как раз явился жертвой иезуитской интриги. Сюрюг неоднократно жаловался на притеснения со стороны Гудовича под влиянием Сальватора, явного «революционера» и «якобинца». Дело Сальватора заставило Ростопчина шуметь еще больше о революции и таким образом найти более конкретные признаки для обвинения неприятных ему лиц. Ростопчина понемногу опьяняла власть, и он действительно хотел быть настоящим «московским властелином». Приставивши для тайного наблюдения за Ключаревым своего доверенного полицеймейстера Брокера, прежде служившего в почтовом ведомстве и личного врага Ключарева, Ростопчин искал только случая, чтобы расправиться с Ключаревым. Благодаря энергии Брокера, такой случай скоро представился — это и было знаменитое в летописи московской жизни дело Верещагина.

Молодой человек из купеческой семьи, получивший для своего времени хорошее воспитание, перевел на русский язык два газетных сообщения о Наполеоне, а именно: «Письмо Наполеона к прусскому королю» и «Речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». Для чего было это сделано? Может быть, из простого личного любопытства, может быть, для того, чтобы познакомить «друзей» с упомянутыми газетными сообщениями. Понятно, что общество интересовалось действиями Наполеона, а между тем цензура свирепствовала и решительно не пропускала никаких сообщений из заграничной печати.

Ростопчин раздул дело Верещагина до огромных размеров, представив виновника перевода в образе злейшего злодея, составителя прокламаций. «Вы увидите, государь, — писал он Александру 30 июня, — из моего донесения к министру полиции, какого откопал я здесь злодея… Сочинитель прокламации от имени врага своего отечества и в начале войны есть изменник и государственный преступник. Не дай Бог, чтобы здесь произошло волнение в народе, но если бы произошло, то я наперед уверен, что эти лицемеры — мартинисты явятся открытыми злодеями…»

3 июля в «Московских Ведомостях» появилось специальное объявление о Верещагине и о вновь открытом заговоре. Таким путем создалось громкое дело,[85] давно желанное Ростопчину; дело, при помощи которого он мог подкопаться под Ключарева. Верещагин был предан суду и, как сообщает Рунич, ему «велено» было говорить, что он получил прокламации для списывания от одного из сыновей Ключарева.[86] В Москве раскрытие Ростопчиным злодейского покушения на целость государства вызвало с самого начала различное впечатление.

Если Глинка, преклонявшийся перед Ростопчиным и готовый верить всякой сплетне об измене, приветствовал Ростопчина даже стихами:

> Ты всюду простираешь очи,
> Открыл плоды ты развращенья,
> Сплетенья вымыслов пустых,
> Плоды нерусского ученья,
> Плоды бесед и обществ злых, —

то другим, более наблюдательным современникам уже первоначальное объявление главнокомандующего показалось ложью. Таково было впечатление Бестужева-Рюмина, таково, по его словам, было впечатление всеобщее. «Впрочем, — добавляет автор воспоминаний, — бумаги сии (т.е. «прокламации» Верещагина) и сами по себе не сделали особенного впечатления в

народе». Конечно, они не могли произвести «впечатления» уже потому, что и не предназначались для распространения в массе.[87] Назвать их «прокламациями» мог лишь гр. Ростопчин в своем стремлении создать себе популярность открытием несуществующего заговора. Достаточно привести инкриминировавшиеся Верещагину места из переведенных статей, чтобы видеть ясно, как все это далеко было даже от возможного намека на какие-то «прокламации». В первой статье попадалась такая фраза, обращенная Наполеоном к прусскому королю: «Очень радуюсь, что вы… заглаживаете недостойный вас союз с потомками Чингиз-Хана». А в другой говорилось: «Я держал свое слово и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы…»[88] Ростопчин придал злостный умысел этому переводу, признав безапелляционно, что Верещагин как бы согласен с мнением, высказанным Наполеоном.

17 июля послушный Ростопчину магистрат вынес решение, коим Верещагин ссылался вечно в каторжные работы в Нерчинск, а Мешков, по лишении чинов и личного дворянского достоинства, отдавался в военную службу. По мнению магистрата, государственного изменника следовало бы «казнить смертью», но «за отменением оной» пришлось ограничиться каторжными работами.

Вторая инстанция — первый департамент палаты уголовного суда с такой же быстротой утвердил приговор. Ростопчин немедленно же отправил приговор в сенат, который 19 августа вынес уже окончательное постановление. Сенат признал, что Верещагин «изобличен и сам сознался в составлении пасквильного сочинения и что по силе узаконений уложения 2 гл. 2 пункта, военных артикулов 131 и указа 1762 г. июня 19-го, подлежит смертной казни, но как таковая казнь указом 1754 года, сентября 30 дня, отменена, да и от означенного пасквиля нималейшеговредане последовало, и потому что он, Верещагин, по делу не изобличается в том,

что намерен был причинить означенным пасквилем какой-либо вред, а написал оный, как сам показывает, единственно из ветрености мыслей, желая похвастаться новостью, каковое показание его обстоятельством дела не опровергается,то, согласно мнения главнокомандующего Москвы, наказать его, Верещагина, кнутом, двадцатью пятью ударами,[89] потом, заклепав в кандалы, сослать в каторжные работы».

В сущности, мотивы сенатского приговора поразительны даже для начала XIX века. По этим мотивам жестокий приговор был совершенно бессмыслен. Мы должны помнить эти мотивы. Тогда

позднейшее поведение Ростопчина в верещагинском деле выступит особенно ярко. Выяснится не только беззаконие, не только жестокость расправы Ростопчина, но и допущенная им ложь в официальных донесениях во имя своего личного оправдания, ложь и в позднейших воспоминаниях.

Ростопчин первоначально хотел покончить дело Верещагина без всякого судебного расследования. Любитель театральных эффектов (а может быть, не доверяя сенату, — ведь дело юридически было аргументировано весьма слабо, он просил Александра (30 июля) прислать указ, «чтобы Верещагина повесить, потом, заклеймив его под виселицей, сослать в Сибирь на каторжную работу». «Я постараюсь придать, — пишет он императору, — торжественный вид этому зрелищу, и до последней минуты никто не будет знать, что преступник будет помилован». Желательность подобного решения Ростопчин мотивировал таким соображением: «Суд над ним (Верещагиным) в низших инстанциях не может быть продолжителен, но дело поступит в сенат и затянется. Между тем необходимо, чтобы приговор исполнен был как можно скорее в виду важности преступления, волнений в народе и сомнений в обществе». Если император пришлет указ, он может согласовать «правосудие» (?) с своим «милосердием», это послужит «ужасающим примером для народа и особенно для некоторых тайных злодеев».

Но еще 6 июля Ростопчин получил предписание от Салтыкова: «не приводя окончательного решения в исполнение», представить дело министру юстиции для доклада государю, и, казалось, жизнь Верещагина была спасена. Но пока невинный Верещагин ждал в тюрьме решения своей участи, нить событий развертывалась своим чередом, и московский властелин все менее и менее начинал считаться с общественным мнением и предписаниями из Петербурга.

Уже одно дело Верещагина (не говоря о других, возникших одновременно с Верещагиным) должно было достаточно терроризировать московских обывателей.

Москва ждала царя, и гр. Ростопчин желал во всем блеске показать результаты своего недолгого управления, показать прежде всего, как сумел он «возжечь сердца» московских дворян.

Восьмидневное пребывание Александра в Москве в обычном изображении полно сцен высокого патриотического возбуждения, — все сословия в благородном порыве готовы принести на алтарь отечества имущество и жизнь. Толпы народа с ликованием встречают Александра и самоотверженно готовы идти на смерть в борьбе с ненавистным врагом. Такова была внешность, отчасти подготовленная самим Ростопчиным во имя

всегдашнего его принципа «бросать пыль в глаза». Несомненно, известный подъем был. Этот подъем обусловливался начавшейся войной.

Неизбежно росло тревожное настроение; в каждом начинало говорить чувство самосохранения. Но опасность была еще далека. Если у некоторых пессимистов являлось опасение о возможности появления Наполеона в Москве, то, конечно, у огромного большинства и не зарождались еще подобные подозрения. А при таких условиях патриотический подъем не мог дойти до такого воодушевления, которое влечет за собой решение жертвовать всем имуществом. Об этом, конечно, никто еще не помышлял. При полной готовности оказать общественную помощь правительству, и помину не было в действительности о тех сценах, которые описывают часто историки.

Д.Н. Свербеев в своих записках очень метко сказал, что «восторженность дворянства была заранее подготовлена гр. Ростопчиным». То же можно сказать и о купечестве. Свербеев рассказывает, как ближайший помощник Ростопчина, губернатор Обрезков, «обделывал» купцов, «сидя над ухом каждого, подсказывая подписчику те сотни, десятки и единицы тысяч, какие, по его умозаключению, жертвователь мог подписать». Мы видим, что картина довольно прозаическая. И нетрудно понять, почему отец Свербеева, семидесятилетний старик, вернувшись из Москвы, значительно растерял свой воинственный пыл. Ростопчин сам довольно образно рассказывает, как он подготовил единодушие дворянства на собрании 15 июля в Слободском дворце. По его словам, он еще 12 июля узнал, что некоторые «мартинисты» хотят спросить государя: какие имеются средства обороны, т.е., очевидно, были желающие в связи с вопросом о пожертвованиях поставить и вопрос об общественном контроле. Ростопчин предупредил фрондеров, что такой господин «во всю прыть полетит в дальний путь». И чтобы придать значение своим словам, велел неподалеку от Слободского дворца поставить две тележки, запряженные лошадьми, и двух полицейских офицеров, одетых по-дорожному. Слух, пущенный Ростопчиным, дошел по назначению, и главнокомандующий был удовлетворен. Все прошло гладко: «хвастуны, — как выразился он, — вели себя умно».

Но, конечно, само по себе дворянское фрондерство в это время рассеялось, как пух. Оно было неуместно уже с точки зрения чисто сословных имущественных интересов, которые слишком непосредственно захватывала война. Так или иначе, но с именем Наполеона связывалось неизбежное как бы освобождение крестьян от крепостной зависимости. Бесчисленное количество

фактов указывают на полное недоверие дворянства к народу, боязнь возмущения против привилегированных. В этом отношении чрезвычайно характерен факт, передаваемый в воспоминаниях Хомутовой, — факт, относящийся к моменту ожидания царя в Москве 11 июля. В кремлевских залах собрались представители дворянства. Уже поздний вечер, а Александра все еще нет. «Стали тревожиться, громкий разговор превратился в шепот — в молчание. Едва слышным голосом стали говорить: "государь погиб". В толпе пробежал трепет, — всему готовы были верить или всего бояться. На Спасской башне пробило десять часов; народ на площади заволновался. Демидов притронулся к локтю похолоделою рукою и сказал: "Бунт"… И это слово, переходя из уст в уста, слилось в глухой гул… Вскоре стала известна причина этого волнения (в народе); прибыл курьер от государя с известием, что сам он приедет лишь завтра». Как ярко, действительно, говорит описанная картина о настроениях московских дворянских кругов.

Этой революции, революции снизу и боялся более всего «русский барин» (как именует себя Ростопчин), взявший на себя неудачную миссию демагога.

Хотя позднее, в письме к издателю «Русского Вестника» (май, 1813 г.) Ростопчин уверенно говорил, что напрасно Наполеон прельщал русский народ вольностью — «вольности у нас никто не хочет, ибо лучшего никто не хочет»; хотя 1 августа 1812 г. в письме он и уверял Балашова: «Наполеон считал на-слово свободу, но она не подействует»; хотя 12 августа писал он Багратиону: «Главная его (Наполеона) пружина — вольность не действует и о ней лишь изредка толкуют пьяницы», — однако уже одно то, что Ростопчин так часто возвращается к этой мысли, показывает всю силу его опасений. Крепостник, уверенный, что народ «от жиру» бесится, делается как бы крестьянским ходатаем. Еще 11 июля он пишет императору, что посещением Иверской и защитой крестьян он снискивает расположение «добрых и верных подданных». Эти «добрые и верные подданные» проявляют явное недовольство помещиками, которое Ростопчин в письме к Балашову (23 июля) объясняет увольнением казенных крестьян от ополчения, что вызывает зависть у помещичьих крестьян. Одновременно Ростопчин считает необходимым сообщать в письмах к Александру всякий вздорный слух, имеющий отношение к вопросу о крепостном праве. Так, 8 сентября он сообщает о молве, гласящей, что Александр дозволил Бонапарту «проникнуть» в свои владения с тем, чтобы он провозгласил свободу от имени русского царя. Он не преминет в то же время сделать выпад против «мартинистов». «Все злые слухи, — пишет

он Александру 13 августа, — распускаемые с целью обвинить вас, все это идет от мартинистов, и всех неистовее университет, состоящий из якобинцев — профессоров и воспитанников».

Играя таким путем на чувствах страха, Ростопчин обеспечивал себе возможность действовать в революционной якобы Москве самовластно. Чувство полной безнаказанности так определенно уже звучит в только что цитированном письме к Александру: если «полиция затруднится сдерживать негодяев, проповедующих бунт (в письме упоминаются Кутузов, Чеботарев и Дружинин), то я велю некоторых повесить».

Но уже и до этой угрозы Ростопчин со своими недоброжелателями расправляется без стеснений. Не дождавшись ответа сената по поводу своего представления о «неблаговидных» и «подозрительных» поступках Ключарева, Ростопчин при посредстве открытий «патриота» Брокера (как иронически именует в своих записках помощника московского главнокомандующего Рунич), нашел новый криминальный поступок в ведомстве Ключарева. 7 августа схвачен, по доносу Брокера, один почтамтский чиновник по подозрению в том, что «посредством писем распространял страх и безнадежность внутри империи». За несколько дней перед тем арестован надворный советник Дружинин, тот самый начальник экспедиции иностранных газет, который по делу Верещагина оказал противодействие агентам Ростопчина. Наконец, 10 августа арестовывается и высылается в Воронеж сам Ключарев. С «болтунами», не занимающими никакого общественного положения, Ростопчин поступает еще проще. По собственному признанию, этих «болтунов», проявлявших себя от времени до времени, он сажал в сумасшедшие дома и отрезвлял при помощи холодных душей и микстур, напр., студента Урусова, о чем сам же сообщает в письме к Балашову 23 июля. Некоторые из ростопчинских апологетов и в подобных издевательствах находили проявление остроумия и юмора «московского властелина». В числе «зло-мыслящих» людей мы видим актера Сандунова, отправленного в Вятку, и многих других. Свое представление о «настроении умов» в столице Ростопчин составлял на основании донесения своих агентов. История запечатлела фигуру одного из этих агентов, вечно пьяного сыщика Яковлева, — фигура достаточно типичная, чтобы видеть, насколько компетентны были сведения московского главнокомандующего о политических симпатиях того или иного московского обывателя.

Во второй половине августа Ростопчин так уверен в своих силах, так уверен, что он своей энергичной деятельностью извел

всякую крамолу в столице, что предлагает гр. Толстому переправить Сперанского из Нижнего в Москву «для прекращения деятельности мартинистов». Сперанский и в ссылке не дает ему покоя.[90] В июне он всеми мерами старается воздействовать на императора в целях еще большего очернения своего врага, показать, что Сперанский чрезвычайно опасен. «Народ(?) снова возмутился против Сперанского», — пишет он Александру 30 июня. «"Презренный" Сперанский, — сообщает он 23 июля, — опасен в Нижнем, где он находит сочувствующих мартинистов даже в лице представителей высшего духовенства нижегородского, епископа Моисея».[91] Ростопчину очень хотелось заполучить Сперанского в Москву; если этого не произошло, то под его влиянием Сперанский отправляется в Пермь.

Борясь с «проповедниками иллюминатства», Ростопчин большое внимание уделяет и иностранцам, проживающим в Москве. Заподазривая их в сочувствии к Наполеону и в шпионстве, он и их подвергает целому ряду кар, смешивая в одну кучу представителей всех наций. Эти иностранцы принадлежали преимущественно к мирному торгово-промышленному классу, экономические интересы которого были связаны с Россией. Несомненно, среди них были сочувствующие Наполеону. Иначе и не могло быть. Но столь же несомненно, что никаких агрессивных действий они предпринимать не могли. Об их лояльности свидетельствует уже сам по себе факт миролюбивого отношения к ним русских. В то время, когда под влиянием положения дел на театре военных действий в Москве определенно уже начинает сказываться беспокойство, когда, по словам Ростопчина, по городу начинают передаваться различные сказки о видениях, о голосах, слышанных на кладбище, и т.п.; одним словом, тогда, когда понемногу (особенно после оставления Смоленска) начинает расти столь понятное тревожное настроение, иностранцы живут в Москве совершенно спокойно. Достаточно привести свидетельство московского патриота С.Н. Глинки (в записке о 1812 г.), чтобы в этом увериться. «Я близок был к народу, — пишет автор, — я жил с народом на улицах, на площадях, на рынках, всегда в Москве и в окрестностях Москвы, и живым Богом свидетельствую, что никакая неистовая ненависть не волновала сынов России». Московскому властелину подобное отношение к иностранцам со стороны населения не могло нравиться. Ведь это отсутствие патриотизма, а главное, при таких условиях добрые подданные могут прельститься наполеоновскими прокламациями. И граф Ростопчин как бы ставит своей задачей разжечь ненависть к иностранцам, по

своему обыкновению не стесняясь никакими мерами.

Ростопчин не желает выпускать иностранцев из России с момента начала войны и решительно предлагает императору для большей безопасности не выдавать иностранцам паспортов (7 июня). Иностранцы, знающие Россию, могут дать полезные сведения Наполеону. Вероятно, и здесь крепостное право играет первую роль. Ростопчину в каждом иностранце мерещится доктор Меливье, который сопровождает Наполеона и уверяет его, что, как только Наполеон появится под Москвой, хотя бы с 50 000 войска, крестьяне восстанут против своих господ, и вся Россия будет покорена (Зап. Боволье). Вредных иностранцев надо выселить из Москвы и, конечно, прежде всего тех, кто заподозрен в «якобинстве», как, например, книгопродавец Алларт, выселить в сибирские города, где они будут безопасны. (Уже Гудович в мае выслал туда несколько иностранцев). И вот целый ряд московских обывателей из числа иностранцев отправляется в ссылку. 12 июля высылаются, например, Овернер (в Пермь) и Реут (в Оренбург). Последний «за дерзкие слова против правительства и карточную игру»; 27 июля наказан плетьми Турнэ и выслан в Тобольск «за внушение разного рода клонящихся к преклонению умов к французам». 19 августа наказан немец портной Шнейдер и француз Токе плетьми, первый 30, а другой 20 ударами и отосланы в Нерчинск за лживые пророчества, что Наполеон будет обедать в Москве 15 августа, и т. д. Обвинения во всех случаях чрезвычайно однородны.[92]

Скрывались ли под этими обвинениями какие-нибудь реальные факты? Трудно, конечно, ответить определенно, но невольно бросается в глаза натянутость многих обвинений, основанных почти исключительно на непроверенных донесениях ростопчинских шпионов. Например, иностранец Годфроа выслан в Оренбургскую губернию за то, что во время «Высочайшего пребывания… в Москве при большом стечении народа произносил разные дерзкие речи». Припомним внешнюю обстановку этого времени. Неужели мог быть в действительности такой факт? Когда обвинения базируются на как бы более конкретных данных, например, по отношению к швейцарским подданным Веберу и Гейдеру, о которых Тормасов сообщал еще Гудовичу, что эти лица — тайные агенты Наполеона, и тогда сам Ростопчин должен засвидетельствовать, что de facto «в поведении их не открылось ничего подозрительного». Позднее, в 1813 г., когда высланные иностранцы (среди которых были и русские подданные) стали возбуждать ходатайства о своем возвращении, причем в своих ходатайствах указывали, что пострадали без вины, Ростопчин в официальной переписке с Вязьмитиновым

определенно говорил, что высылка производилась по велению государя. «По представлению моему государю императору, — писал он 27 ноября, — что не дозволено ли будет означенных иностранцев выслать за границу, его величество отозваться соизволил, что мера сия при настоящих обстоятельствах не может быть принята».

Ростопчин, занявший в это время уже иное положение и в общественном мнении и во мнении правительственной власти, любил скрыться за чужой авторитет; он также легко забывал в своих позднейших письмах и воспоминаниях истинное положение вещей в 1812 году. Забыл он, вероятно, и здесь, что он был инициатором запрещения выпуска из России иностранцев. Эти иностранцы в июле и августе 1812 г. были для него мишенью, при посредстве которой, как мы видели, он возбуждал народный пыл и патриотическое рвение. Высылка отдельных иностранцев не достигала, однако, цели. Вот почему для большего эффекта, чтобы произвести большее впечатление, Ростопчин произвел, так сказать, массовую высылку московских обывателей, иностранцев по происхождению. Это, по его словам, он сделал по соображениям высокой степени гуманным, чтобы спасти несчастных иностранцев от народной ярости. Предоставим, впрочем, говорить самому Ростопчину: «В одно утро, — повествует граф, — гражданский губернатор Обрезков объявил мне, что он сделал весьма важное открытие и привел ко мне портного, русского человека, отличного поведения, достаточно немолодого». Этот человек сообщил, что он «лишился сна и пищи, что многие из его учеников точно так же больны, как и он, и что единственное средство против этой болезни — кровь французов»… «Оказалось, — сообщает далее Ростопчин, — что он уже подговорил человек 300 портных и еще надеется к завтрашнему дню подговорить несколько сотен, чтобы ночью идти на Кузнецкий Мост и перебить всех живущих там французов». Далее Ростопчин с большой откровенностью сообщает, как он велел «пустить кровь» инициатору погрома и как он успокоился. Подговоренные же «этим хозяином портные, видя, что он задержан, перестали думать о ночной экспедиции, которая бы окончилась страшным кровопролитием и возмущением».

«Очевидно, этот хозяин-портной был сумасшедший… и что его рассказы о сотнях сотоварищей были простым бредом больного воображения», — замечает в истории двенадцатого года А.Н. Попов.[93]

Быть может, весь этот инцидент измышлен гр. Ростопчиным, весьма нередко прибегавшим к измышлениям, особенно

впоследствии, для оправдания в своих действиях. Если этот сумасшедший и реальное лицо, то гр. Ростопчин ему, конечно, не поверил. Во всяком случае, по его словам, это и побудило к осуществлению экстраординарной меры в виде массовой высылки подозрительных иностранцев. «Уверившись в народном раздражении, — сообщает Ростопчин, — чтобы его успокоить и смягчить бешенство, я приказал полиции их взять и днем, в виду всех, посадить на барку, которая и отвезла их в Нижний Новгород, где они были отданы под надзор. Я объявил Москве, что эти иностранцы — люди подозрительные, которых удаляют по просьбе их же соотечественников, честных людей». «Эта мера, — заключает гуманный московский главнокомандующий, — спасла жизнь этим 40 плавателям, потому что, вероятно, они последовали бы за французскою армиею и все погибли бы во время ее отступления». Итак, Ростопчин спас их не только от народной ярости, но и от другой, грозившей им, опасности.[94] Кого же предназначила московская полиция к высылке для «удовольствия» народа, как сообщал Ростопчин Балашову. Это «выборная каналья из каналий», по характеристике Ростопчина в письме к Балашову. Чрезвычайно любопытно, хоть вкратце, познакомиться с составом высылаемых и приписываемыми им проступками. Это прежде всего «типографщик Семен» и книгопродавец Алларт, еще в июне причисленные Ростопчиным к числу «иллюминатов» (о них он писал Александру в своем письме от 7 июля), 14 всякого рода учителей, от фехтования до латинского языка включительно, фабриканты, торговцы модными товарами, немец-бас в оркестре русского театра, режиссер французского театра Домерг и его помощник Роз, доктор Ямниц, повар Вилош и т. д. За что же эти злосчастные иностранцы попали на подозрение к полиции? Двое, как мы знаем, числились в «иллюминатах», двое (швейцарские подданные Гейдер и Вебер) были заподозрены в шпионстве тоже значительно ранее. Было ли это действительно так?

Мы знаем одно только, что московский обер-полицмейстер Ивашкин в донесении от 11 января 1813 г. сообщал, что полиции ввиду указанных обстоятельств было поручено «иметь за ними неослабный под рукою надзор и замечать связи, их сношения, но токмо до времени их высылки подозрительного в поведении ничего не открылось». По отношению к остальным данные имелись еще менее определенные. Учитель фехтования Массой подвергся каре по «худому расположению и некоторым связям подозрительным»; торговец модными товарами Гут за «дерзкое обращение с московской публикой», учитель женевец Файо «по многим замечаниям полиции навлек на себя сильное

подозрение». Любопытно, что винный торговец Паоли, зачисленный в число тех, которые, по выражению Ростопчина, «телом остались в России, а душой преданы французам», жил уже 18 лет в России и с 1807 г. принял русское подданство…

Может быть, сделанных характеристик достаточно для определения мотивов, которыми руководилась полиция при выборе иностранцев, удаленных из Москвы «для удовольствия народа».

Среди отправленных был Арманд Домерг, оставивший весьма любопытнее записки. Характеризуя время «террора», наступившего после посещения императором Москвы, Домерг, между прочим, сообщает, что как-то за обедом у гр. Апраксина Ростопчин, устремив на Домерга «свои сверкающие глаза», воскликнул: «Я не буду доволен до тех пор, пока не выкупаюсь в крови французов». Очевидно, Домерг уже попал на глаза грозного усмирителя московской революции, который, по словам автора воспоминаний, «при всяком случае проявлял свой буйный, вспыльчивый и мстительный характер, делавший его страшным даже для самых мирных жителей города». Во всяком случае, имя Домерга в проскрипционных списках стояло «первым в первой категории». Любопытно, что Домерг жил в доме шведского консула. И это, по мнению его родных, должно было ему обеспечить безопасность: «Если я явился в Россию под покровительством власти, то нельзя нарушить международного права без явной несправедливости». «Но, — добавляет автор воспоминаний, — я слишком хорошо знал подозрительную русскую полицию, чтобы иметь на это надежду: каждый день мы видели, как проезжали французы, ссылаемые из Петербурга в Сибирь». Арестованный в числе других, Домерг был заключен в дом Лазарева и 22 августа отправлен на барке по Москве-реке в ссылку; на барке невольным путешественникам было прочитано от имени Ростопчина небезынтересное обращение, содержание которого передает Домерг с добавлением: «ручаюсь за его подлинность»: «Французы![95] Россия дала вам убежище, а вы не перестаете замышлять против нее. Дабы избежать кровопролития, не запятнать страницы нашей истории, не подражать сатанинским бешенствам ваших революционеров, правительство вынуждено вас удалить отсюда. Вы будете жить на берегу Волга, посреди народа мирного и верного своей присяге, который слишком презирает вас, чтобы делать вам вред. Вы на некоторое время оставите Европу и отправитесь в Азию. Перестаньте быть негодяями и сделайтесь хорошими людьми, превратитесь в добрых русских граждан из французских, какими вы до сих пор были; будьте спокойны и покорны или бойтесь еще большего

наказания. Войдите в барку, успокойтесь и не превратите ее в барку Харона. Прощайте, добрый путь!»…[96]

«Это грозное объявление привело нас в ужас», — добавляет Домерг. И действительно, упоминание о Хароне[97] должно было звучать довольно зловеще. «Русский барин» и здесь не позабыл сказать острое словечко. Но французский каламбур: «entrez dans la barque et rentrez dans vous memes», был вовсе «не шуткою», как заметил Глинка, для ссылаемых. Несомненно, вся эта сцена была сплошным издевательством. Глинка, не одобрявший в данном случае действия московского градоправителя, нашел для него оправдание в том, что Ростопчин увлекся «мечтою» — спасения иностранцев от ярости черни. Ясно, что этой «мечты» у Ростопчина не было.

Мы уже приводили свидетельство Глинки об отсутствии у московского населения ненависти к иностранцам — слова Глинки относятся как раз к инциденту с так называемой «хароновской баркой». Домерг в своих воспоминаниях при описании тревожных дней 20—22 августа не раз упоминает о тех опасностях, которые грозили высылаемым иностранцам со стороны «народной ярости, которую возбуждали против нас многочисленные шпионы», говорит о «враждебных намерениях» и «угрожающих криках» толпы. В толпе «любопытных», собравшихся посмотреть на необычайное зрелище, вероятно, были элементы, достаточно возбужденные против иностранцев афишами Ростопчина и агитацией шпионов, но любопытно, что из описания самого Домерга более чем очевидно, что «ярость» толпы была весьма умеренна. Когда иностранцы сидели в доме Лазарева, их охранял от «мстительности» народной один полицейский офицер и часовой. «Наконец, уступая нашим требованиям, — говорит Домерг, — начальство согласилось дать нам сменную стражу, состоявшую из шестерых инвалидов». Когда арестантов вели по улице на барку, им, конечно, перепуганным до полусмерти, казалось, что они погибли бы от «народной ярости», если бы их не спас полицмейстер Волков, проявлявший большую предупредительность по отношению к иностранцам и тем как бы смягчавший «неприятное поручение», возложенное на него его шефом. И мы узнаем, что рукопожатие между Волковым, Домергом и Аллартом «мгновенно прекратило шум»: все сорок человек спокойно прошли под прикрытием «шестерых ветеранов». Пока барка медленно плывет «по извилинам обмелевшей Москвы-реки» (на третий день барка отошла только на 40 верст), жены, дети, родственницы по «нескольку раз» навещают невольных путешественников. «Выезжая на рассвете (на извозчиках), эти женщины иногда блуждали по целому дню, пока не находили

нашу барку, приезжали к нам вечером и ночью, и ночью должны были возвращаться в Москву». Таково было то народное ожесточение, на которое ссылался Ростопчин. И все дальнейшее описание Домергом путешествия на хароновской барке, продолжавшееся вплоть до 17 октября, идет в том же духе. Путешественники встречают, в общем, самое добродушное отношение со стороны населения, ходят по деревням под прикрытием двух ветеранов, вступают в разговоры и т. д. «С каждым днем население становилось менее враждебно к нам, — замечает Домерг, — и эта перемена становилась тем резче, чем больше мы удалялись от Москвы… народ тут становился свободнее от непосредственного влияния нелепых прокламаций, которые представляли французов людоедами». Домерг отметил только в трех случаях враждебное настроение: впервые пришлось с ним встретиться еще в ростопчинских владениях, в Коломне, куда путешественники попали 1 сентября. Полдня, не возбуждая «подозрения», они бродили по Коломне, но потом на них обратили внимание «некоторые выходцы» из Москвы, весьма возможно, какие-нибудь московские шпионы, и тогда «чернь» стала бросать в них камни. Другой раз у путешественников была неприятная встреча с казаками под Рязанью и, наконец, уже после Нижнего (2 ноября) — с ополченцами. И это было уже тогда, когда Москва находилась во власти французов и сгорела, когда началась эпоха так называемой народной войны и действий партизанских отрядов. Очевидно, что при отправлении из Москвы далеко еще не было той ненависти к иностранцам, которую желал видеть Ростопчин в московском населении.

Возбуждал Ростопчин «патриотизм», понимавшийся им в смысле грубой ненависти к иностранцам, и другими мерами. Среди них, конечно, первое место занимает его пресловутая литературная деятельность, те знаменитые в литературе «афиши», о которых скромный, но наблюдательный современник Бестужев-Рюмин сказал: «Некоторые находили их соответствующими времени и обстоятельствам, но большая часть пошлыми и площадными», и которые сам Ростопчин, в конце концов, признавал «шарлатанскими». Той же цели служили всевозможные юмористические лубки, вывешиваемые на Никольской у Казанского собора.

При помощи своих агентов Ростопчин пускал в народ всякого рода слухи, долженствовавшие поддерживать воодушевление и ослаблять впечатление от пессимистических известий, идущих с театра военных действий. Таковы, например, распускаемые им слухи о том, что «теперь (т.е. после заключения мира) турки будут заодно с нами (сообщается в письме к Александру 11

июня). В целях «патриотической» агитации, помимо услуг незначительных агентов полиции, Ростопчин воспользовался услугами С.Н. Глинки. Этот наивный патриот был слепым орудием Ростопчина. И как нельзя более характерно для личности Ростопчина, что в своих воспоминаниях «спаситель отечества» даже не упомянул о роли Глинки, а между тем последний был самым верным, самым бескорыстным, самым искренним исполнителем велений московского главнокомандующего. Может быть, только непосредственное вмешательство Глинки, действительно пытавшегося приблизиться к народу, придавало некоторый хотя бы авторитет в глазах московских обывателей тому «русскому барину», который вдруг заговорил с населением не барственным языком.

Но Ростопчин, взявший на себя роль народного трибуна, сам чрезвычайно не доверял народу, как мы уже могли убедиться и как убедимся в дальнейшем. Он мог писать Александру 11 июля, что «бороды будут всегда оплотом России», но в действительности всегда боялся этих бород.

Поэтому и близость, в сущности, Сергея Глинки к народу способна была вызвать в нем подозрения. Глинка с неподражаемой наивностью заметил: «Не знаю, почему приказано было за мной присматривать». Это было в момент приезда государя в Москву. Восторженный Глинка с толпою «любопытных», по характеристике Ростопчина, пошел за город встречать царя. Царь не приехал. Глинка видел, что народ разошелся с «сокрушенным сердцем». Его патриотизм был грубо задет, и он предложил напечатать что-нибудь «одобрительное» народу. За это он и попал на подозрение Ростопчина. Сущность демагогии Ростопчина здесь выступает особенно ярко.

Интересно, достигала ли эта демагогия какой-нибудь цели? Ростопчин был уверен, или внушал эту уверенность если не себе, то другим, что московский люд его чрезвычайно любит: «Наш граф» — таково, по мнению Ростопчина, было мнение народа о нем. «Могу вас уверить, — писал позднее (28 апреля 1813 г.) Ростопчин Воронцову, — что Магомет был менее любим и уважаем, нежели я в течение августа месяца, и все достигалось словом, отчасти шарлатанством». Глинка тоже свидетельствует о влиянии Ростопчина, поставившего «себя на чреду старшины мирской сходки»; «в дружеских своих посланиях он беседовал с обывателями, как заботливый и приветливый друг». Конечно, то же утверждал alter ego Ростопчина пресловутый А.Я. Булгаков: «Граф сделался предметом всеобщего обожания».

Но мы встретили и другие мнения современников. Может быть, наиболее характерным являются мнения Маракуева,

городского головы города Ростова (Ярославского). Он резко осуждает демагогию Ростопчина. «Глупые афиши Ростопчина, писанные наречием деревенских баб, совершенно убивали надежду публики», — свидетельствует Маракуев. Мало того, по словам современника-наблюдателя, «неудачные эти выдумки его вызывали презрение, а чернь неизвестно за что питала к нему величайшую ненависть».

Следует обратить внимание на это указание. Сопоставим его с показанием другого современника, кн. П.А. Вяземского, утверждавшего, что Ростопчина «влекло к черни», что он «чуял, что мог бы над нею господствовать». По мнению Вяземского, из Ростопчина мог бы народиться «народный трибун». Показанию кого из этих современников отдать предпочтение? Мы думаем — Маракуеву. И не показывает ли это в таком случае, что подчас народная масса отличается большим психологическим чутьем, — она, может быть, инстинктивно угадывала всю фальшь ростопчинской демагогии. В самом деле, до занятия Москвы французами, до непосредственного, так сказать, столкновения московского населения с врагом, конкретные результаты демагогической деятельности Ростопчина могли проявляться в актах насилия и ненависти по отношению к мирным и безоружным иностранцам. Но мы уже цитировали свидетельство Глинки, приводили и характерные обстоятельства, сопровождавшие отправление «хароновской барки». Правда, в переписке современников мы встретимся и с другими указаниями. В этом отношении интересна переписка Волковой с Ланской, отмечающая проявление вражды населения к иностранцам. «Я много ожидаю, — пишет Волкова 22 июля, — от враждебного настроения умов. Третьего дня чернь чуть не побила камнями одного немца, приняв его за француза». «Народ так раздражен, — сообщает она 15 августа, — что мы не осмеливаемся говорить по-французски на улице. Двух офицеров арестовали: они на улице вздумали говорить по-французски; народ принял их за переодетых шпионов и хотел поколотить, так как не раз уже ловили французов, одетых крестьянами или в женскую одежду, снимавших планы, занимавшихся поджогами и предрекавших прибытие Наполеона, — словом, смущавших народ». Более чем очевидно, что Волкова пишет по слухам, пишет со слов Ростопчина (с которым Волкова знакома домами).

В возможности подобных фактов, конечно, можно не сомневаться, в особенности по отношению к шпионам. И число таких фактов должно было расти по мере приближения военных действий к Москве, по мере распропагандирования темной массы ростопчинской агитацией. Но такие факты, — факты

действительные были немногочисленны. Ростопчин, вероятно, не преминул бы о них рассказать. На деле, кроме появления сумасшедшего купца и избиения толпою двух ремесленников-немцев, поспоривших с менялой, он ничего не может сказать. И тот факт, на котором он с самодовольством останавливается, чтобы показать свое влияние на московскую толпу, имеет место накануне Бородинской битвы, т. е. тогда, когда тревожное настроение Москвы достигает уже значительных размеров.[98] Явившийся к месту происшествия Ростопчин спас «неосторожных немцев» от разъяренной толпы, дав «сильнейшую пощечину» мелкому купчику, с решимостью заявившему графу: «пора народу действовать самому, когда вы отдаете его в жертву иностранцам». «Страсть к сценическому искусству, — замечает Попов, — ярко выражается в этом рассказе». Толпа, «очевидно, не была особенно возбуждена, когда квартальному надзирателю удавалось в продолжение нескольких часов оградить от ее нападений неосторожных немцев». И тут же мы найдем другой рассказ (Рунича), говорящий о том, как после Бородинской битвы «жители Москвы толпами выходили навстречу раненым, приносили им белый хлеб и деньги, не делая различия между русскими и пленными…» И, по-видимому, из этого можно заключить, что в это время московская толпа стояла гораздо выше своего официального руководителя, в ней было гораздо больше здорового патриотизма, чем у просвещенного графа Ростопчина.

Последний все свои меры до Бородинской битвы объясняет необходимостью «поддержания спокойствия в городе». Он хотел «рассеять и занять внимание в народе». Отвлечь внимание народа он хочет в сущности только от одного — скажем в данном случае словами Волковой (в позднейшем письме 11 ноября): «Москва действовала на всю страну, и будь уверена, что при малейшем беспорядке между жителями ее все бы всполошилось. Нам всем известно, с какими вероломными намерениями явился Наполеон. Надо было их уничтожить, восстановить умы против негодяя и тем охранить чернь, которая везде легкомысленна».

Устранив возможность социальной революции и подняв патриотическое настроение, Ростопчин чувствовал себя в Москве довольно спокойно. До последних дней он, конечно, не разделял мнения, высказанного Глинкой еще на дворянском собрании 15 июля, что «сдача Москвы будет спасением России и Европы».[99] А между тем тревожное настроение в Москве понятно росло. «Спокойствие покинуло наш милый город. Мы живем со дня на день, не зная, что ждет нас впереди. Нынче мы здесь, а завтра — Бог знает где», — пишет Волкова 22 июля. «Мы же, москвичи, остаемся по-прежнему в неведении касательно нашей участи, —

сообщает она через неделю. — Лишь чуть оживит нас приятное известие, как снова слышим что-либо устрашающее».

«Узнав, что наше войско идет вперед, а французы отступают, москвичи поуспокоились. Теперь реже приходится слышать об отъездах», — сообщает она 5 августа. Но вести о занятии Смоленска «огромили Москву», как выразился Глинка «Здесь большая суматоха. Люди мужского и женского пола убрались, голову потеряли; все едут отсюда», — сообщает Булгаков своему брату 13 августа. Самоуверенный и беспечный Ростопчин боролся с этой паникой, забавляя народ своими выдумками и смеясь над теми, кто проявлял, по его мнению, преждевременную трусость.

«Некоторые оставляют Москву, — пишет он Багратиону по получении известия о сдаче Смоленска, — чему я чрезвычайно рад; ибо пребывание трусов заражает страхом, а мы болезни сей здесь не знаем». «Здесь, — добавляет Ростопчин, — очень дивились бездействию наших войск». В это время Ростопчин был вполне солидарен с Багратионом: неуспех войны объясняется бездарностью главнокомандующего. «Кутузов, — сообщает своему брату доверенный Ростопчина Булгаков (13 августа), — все поправит и спасет Москву. Барклай — туфля, им все недовольны, с самой Вильны qh все пакостит только». «Все состояния обрадованы поручением кн. Кутузову главного начальства», — пишет Ростопчин Балашову 13 августа. «Я поклянусь, что Бонапарту не видать Москвы». Эта уверенность не оставляет друзей Ростопчина и позже. Она с очевидностью свидетельствует, что той же точки зрения держался и сам Ростопчин, который впоследствии все свое поведение, приведшее к весьма печальным результатам, объяснял желанием предотвратить беспорядки в Москве.

«Мы здесь покойны. Барклай, наконец, свалился», — сообщает брату Булгаков 21 августа. Свербеев в своих воспоминаниях отмечает ту же твердую уверенность у губернатора Обрезкова, который по родственным отношениям не раз, вплоть до 1 сентября, писал отцу Свербеева, чтобы «он был спокоен и ничего не предпринимал для спасения имущества в нашем московском доме». Несмотря на все подобные уверения, московская публика не могла пребывать в спокойствии, тем более что до нее доходили известия о панике в Петербурге, где «по секрету» из Эрмитажа и дворцов укладывались вещи для отправки в Ярославль. Ростопчину, в свою очередь, по высшему предписанию приходилось озабочиваться спасением казенного имущества. Московская публика узнает, конечно, о том, как энергично заботится императрица Мария Феодоровна еще с начала августа о вывозе из Москвы воспитанниц институтов и

Воспитательного Дома (рескрипт Ростопчину 22 августа)1.

1 Упоминание о вывозе воспитанниц из Москвы ввиду приближения неприятеля дает повод вспоминать примечательные для характеристики эпохи письма по этому поводу императрицы Марии Феодоровны к лицам, стоящим во главе учебного ведомства, покровительствуемого императрицей, — к Баранову и Нелединскому («Р. Арх>, 1870, >fe 8—9). Воспитанниц Екатерининского и Александровского институтов пришлось увозить на телегах за неимением других экипажей, цена на которые к этому времени (20 числа августа) возросла до колоссальных размеров, ввиду огромного числа беглецов. Этот факт привел в негодование вдовствующую императрицу: «О чем я не могу вспомнить без огорчения и почти без слез, — пишет она Баранову, — это отправление девиц, особливо дщерей российского дворянства на телегах и то откуда? из столицы Российской! Пусть так, что необходимость принудила прибегнуть к сему экипажу для Александровского училища, дочерей нижних офицерских чинов и подобного сему званию...» (<Я признаюсь, — добавляет М. Ф., — что я не понимаю, как могли решиться возить сих девиц на телегах, и я не только со стыдом представляю себе, какое действие произвело сие позорищ е>). «Но как могло случиться с вашими нежными чувствами, мой добрый Нелединский, как могли вы подписать такое жестокое решение, чтобы отправить на телегах девиц Екатерининского института, дочерей дворян?... Я уверяю вас... что я плакала горючими слезами. Боже мой! какое зрелище для столицы империи: цвет дворянства вывозится на телегах!>

С 15 августа начинается и вывоз казенного имущества Ростопчиным. Вместе с тем усиливается и бегство населения, которое идет crescendo по мере роста опасности занятия французами Москвы. Однако Ростопчин все настойчиво продолжает твердить, что только «женщины, купцы и ученая тварь (характерное выражение для просвещенного «русского барина») едут из Москвы». Так он сообщает Балашову 18 августа. Ростопчин забывает сказать о дворянстве, которое в первую очередь устремилось из столицы. И тут же Ростопчин делает свое знаменитое объявление (18 августа). «Здесь есть слух... что я запретил выезд из города. Тогда на заставах были бы караулы... А

я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы… Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Затем идет обещание вывести «сто тысяч молодцов» и при помощи Иверской Божьей Матери кончить «дело». И хотя Ростопчин уверенно говорит, что препятствий для выезда из Москвы он не чинит, однако в тот же день отдает, по словам Бестужева-Рюмина, письменное приказание московскому магистрату, чтобы он «людям купеческого и мещанского сословия не давал уже паспортов о выезде их из Москвы, кроме жен их и малолетних детей».

Но Ростопчин здесь уже не мог обмануть публику, и кто только имел возможность, покидал Москву.

Впоследствии это оставление столицы многим рисовалось даже как своего рода сознательный патриотический подвиг. Оно приписано было мудрым мерам Ростопчина, который «удалил всю московскую знать ввиду ее приверженности к французам, благодаря воспитанию» (Рунич). Так рисовалось много лет спустя некоторым из современников, но не такими побуждениями руководились московские жители в середине августа. Здесь действовал просто инстинктивный страх, бежали, «куда Бог поведет», по словам Глинки, не руководясь никакими обдуманными целями и не думая о последствиях. Бежал, кто мог, кто был посостоятель-нее, забирая с собой что было можно из имущества. Оставление

Москвы и вывоз имущества было затруднено отсутствием достаточных средств передвижения. «В городе почти не осталось лошадей», — сообщает Волкова уже 15 августа. Если мы примем во внимание, что, помимо поставки лошадей в армию, девять уездов Московской губернии с 15–30 августа должны были выставить 52 000 подвод для казенной надобности, то будет очевидно, что для удовлетворения нужд обывателей оставалось слишком мало. Естественно, что цены на подводы возросли до колоссальных размеров. Уже 15 августа лошадь на расстояние 30 верст стоит 50 руб., в последние дни цена на подводу увеличивается в 20 раз и более (вместо 30–40 руб. — 800 руб.). Как всегда бывает при панике, отъезд происходит бестолково, берут из имущества, что попадает под руку. И понятно, что в описании всех современников картина бегства из Москвы получается чисто «карикатурная» (Вигель). «Окрестности Москвы, — пишет Волкова 15 августа, — могли бы послужить живописцу образом для изображения бегства Египетского. Ежедневно тысячи карет выезжают во все заставы». Конечно, эта суматоха с каждым днем увеличивается, и после Бородина, по официальным сведениям, собранным самим Ростопчиным, число берлин, карет, бричек, колясок, ежедневно выезжающих из

Москвы, доходит до 1320. Два-три штриха из записок современников дадут яркую картину этого «бегства Египетского». Мы приведем выдержку из описаний Вигеля, относящихся к последнему дню, т.е. ко 2 сентября: «Приближаясь к заставе, для все хуже открытой, толпы людей становились все гуще и гуще; против же ее с трудом мог он (брат Вигеля) подвигаться вперед посреди плотной массы удаляющихся. Беспорядок являл картину единственную в своем роде, ужасную и вместе с тем несколько карикатурную. Там виден был поп, надевший одну на другую все ризы и державший в руках узел с церковною утварью, сосудами и прочим; там четвероместную тяжелую карету тащили две лошади, тогда как в иные дрожки впряжено было пять или шесть; там в тележке сидела достаточная мещанка или купчиха в парчовом наряде и в жемчугах, во всем, что не успела уложить; конные, пешие валили кругом; гнали коров, овец; собаки в великом множестве следовали за всеобщим побегом».

Аналогичное описание мы найдем у Свербеева. В последние дни заставы открыты для всех. Первоначально оставление Москвы — это своего рода привилегия дворянства и отчасти других наиболее имущественно обеспеченных слоев московского населения. Естественно, что при таких условиях «выезд из Москвы крайне сердил и раздражал народ» (Глинка). Мы встречаемся с многочисленными указаниями на то, что «народ, обороняться готовящийся, с дерзостью роптал на дворян, Москву оставляющих» (Мертваго). Свербеев рассказывает, как их «поезд» ратники каширского ополчения сопровождали угрозами и бранью «изменниками и предателями». Бестужев-Рюмин в своем повествовании (18 августа) говорит, что эти люди, которые не имели нужды просить особенных паспортов, удаляясь из Москвы, находили в пути своем большие неприятности или, лучше сказать, были в величайшей опасности от подмосковных крестьян. Они называли удалявшихся трусами, изменниками и бесстрашно кричали вслед: «Куда, бояре, бежите вы с холопами своими? Али невзгодье и на вас пришло? И Москва в опасности вам немила уже?» «Удалявшиеся вынуждаемы были хозяевами дворов, у которых останавливались, платить себе за овес и сено втридорога и, сверх того, просто за постой не по пять копеек с человека, как то обыкновенно платили, но по рублю и более, и беспрекословно должны были повиноваться сему закону, если не хотели сделаться жертвою негодования против своего побега освирепевшего народа. Многие из удалявшихся из Москвы на своих собственных лошадях возвращались опять в Москву пешком, лишившись дорогою и лошадей своих с экипажем и имущества». Точно такой же рассказ найдем мы и у Толычевой и т. д.

Бестужев-Рюмин эту ненависть к отъезжающему дворянству ставит в непосредственную связь с запрещением Ростопчина выпускать московских жителей, принадлежащих к непривилегированным сословиям. Несомненно, этому должна была содействовать и вся ростопчинская демагогия. Любопытная черта для дворянского публициста, слишком увлекшегося взятой на себя ролью спасителя отечества… И недаром Карамзин читал ростопчинские афиши «с некоторым смущением»; недаром их «решительно не одобрял» в то время либеральный кн. П.А. Вяземский «именно потому, что в них бессознательно проскакивала выходка далеко не консервативная». Правительственным лицам, по мнению Вяземского, «вообще не следует обращаться к толпе с возбудительною речью: опасно подливать масла на горючие вещества». Читал Вяземский в афише: «хватайте в виски и в тиски и приводите ко мне, хоть будь кто семи пядей во лбу…» Кого же подразумевать под последним? «Ничего иного, — замечает Вяземский, — означать не могут, как дворян, людей высшего разряда». И Вяземский готов приветствовать гибель Москвы — только русский Бог да пожар спас ее от «междоусобицы и уличной резни».

Совершенно понятно, что «народ, обороняться готовящийся, с дерзостью роптал на дворян, Москву оставляющих», так как авторитетные разъяснения московского главнокомандующего могли массе внушить определенное убеждение, что столице не грозит никакой опасности: 18 августа Ростопчин так уверенно говорил, что в нашей армии 130 т. войска славного и 1800 пушек, а у неприятелей «сволочи» 150 т. Кроме того, у самого Ростопчина «дружины московской» «сто тысяч молодцов», да «150 пушек». Ведь этими разговорами Ростопчин обманул не только московское население, но и самого Кутузова.

Впоследствии Ростопчин всю свою деятельность в этом направлении объяснял желанием предупредить беспорядки. Но, вне сомнения, в то время московский властелин не допускал мысли о возможности оставления Москвы и, пожалуй, самым серьезным образом думал в крайности защитить ее своими средствами. Это было самообольщение, вызванное обычным для Ростопчина бахвальством и самоуверенностью. Много раз в письмах официальных и частных Ростопчин говорит о невозможности сдачи Москвы. «Народ московский умрет у стен московских, а если Бог не поможет — обратит город в пепел», — пишет он Багратиону еще 12 августа. Ростопчин согласен скорее потерять армию, чем «потерять Москву», ибо он согласен с Кутузовым, что «с потерею Москвы соединена потеря России» (письмо Кутузову 17 августа.) «Каждый из русских, — сообщает

он тому же лицу, — полагает всю силу в столице и справедливо почитает ее оплотом царства». Тут Ростопчин уже забывает то, что он за месяц перед тем писал Александру: «Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате… Император России всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске». Ростопчин предупреждает тут же Кутузова, что в случае несогласия он будет действовать один в Москве. С чьей же помощью? С тем ли отрядом «амазонок», который предлагает в последний момент образовать одна дама, меру, которую и Ростопчин, любитель буффонад, назвал «смешным порывом любви к отечеству», или с теми «решительными» молодцами, которыми хвалился Ростопчин? Может быть! Но чрезвычайно характерно, что Ростопчин, взявший на себя роль народного трибуна, до последнего момента не верит и боится того народа, с которым он надеется отразить французов.

Накануне Бородина Ростопчин объявляет: «Вы, братцы, не смотрите на то, что правительственные места закрыли дела: прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся… Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу». Но более чем понятна тревога остающегося в Москве населения. Оно искренно готово защитить Москву. Для этого надо вооружиться. Правда, если поверить главнокомандующему, достаточно топора, рогаток, а «всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжелее снопа ржаного». Вряд ли, однако, даже самый наивный обыватель из самой темной среды верил ростопчинским прибауткам в то время, когда Москва была переполнена ранеными, прибывавшими, по словам Ростопчина, «ежедневно тысячами». Народонаселение думало о более серьезном вооружении. И граф Ростопчин шел к нему навстречу: в «Московских Ведомостях» появляется объявление: «Дабы остановить преступное лихоимство1 купцов московских, которые берут непомерную цену за оружие, необходимое для вступивших в ополчение против врага, он, главнокомандующий, открыл государственный цейхгауз, в котором будет продаваться всякое оружие, дешевою ценою». Любопытнейшее пояснение делает к этому объявлению Бестужев-Рюмин: «Действительно, цена продаваемому оружию из арсенала была очень дешева, ибо ружье или карабин стоил 2 и 3 рубля; сабля 1 рубль, но, к сожалению, все это оружие к употреблению не годилось, ибо ружья были или без замков, или без прикладов, или стволы у них согнутые, сабли без эфесов, у других клинки сломаны, зазубрены».

1 «Купцы, — рассказывает Бестужев-Рюмин, — видели, что с голыми руками отразить неприятеля нельзя, и бессовестно воспользовались этим случаем для своей наживы. До воззвания к первопрестольной столице Москве государем императором, в лавках купеческих сабля и шпага продавались по 6 руб. и дешевле; пара пистолетов тульского мастерства 8 и 7 руб., но когда было прочтено воззвание, то та же самая сабля стоила уже 30 и 40 руб.; пара пистолетов 35 и даже 50 руб.».

Затем Ростопчин пошел и дальше. В день Бородинской битвы народу открывается арсенал для бесплатной раздачи оружия, боевое качество которого довольно образно представил только что процитированный современник москвич. Раздача оружия была обставлена самым торжественным образом. Один из очевидцев дал картинное описание театральной сцены, разыгравшейся в Кремле 26 августа на Сенатской площади («Моск. Вед.», 1872, № 52). Ростопчин постарался придать ей самый помпезный характер, вызвав для этой цели из Троице-Сергиевской лавры самого престарелого митрополита Платона. «За колокольней Ивана Великого, — рассказывает этот очевидец, — был воздвигнут амвон»; сюда были вынесены иконы из соборов и отслужен молебен в присутствии генерал-губернатора. По окончании молебна один из дьяконов стал рядом с ним (Платоном), чтобы говорить от его имени, потому что он сам уже был не в силах возвысить свой слабый голос. Пастырь умолял народ не волноваться, покориться воле Божией, доверяться своим начальникам. Митрополит плакал. Его почтенный вид, его слезы, его речь, переданная устами другого, сильно подействовали на толпу. Рыдания послышались со всех сторон. "Владыка желает знать, — продолжал дьякон, — насколько он успел вас убедить. Пускай все те, которые обещают повиноваться становятся на колени". Все стали на колени… Граф Ростопчин выступил вперед и обратился, в свою очередь, к народу: "как скоро вы покоряетесь воле императора, я объявлю вам милость государя. В доказательство того, что вас н е выдадут безоружными неприятелю, он вам позволяет разбирать арсенал: защита будет в ваших руках"». В этом рассказе гр. Ростопчин стоит как живой.

С какою же целью была инсценирована эта обстановка? Тот же современник говорит: «Граф Ростопчин боялся мятежа. Кроме того, он не успел еще принять надлежащих мер и вывезти из города арсенал, которого не хотел оставить в руках неприятеля».

Мы уже знаем, какая рухлядь раздавалась ранее из арсенала. Историки подчеркивают, что другого оружия и не было. И тем как будто отчетливее вырисовывается вся буффонада, придуманная Ростопчиным, — буффонада с защитой Москвы негодным для употребления оружием. Но последнее еще требует проверки. Мы имеем и противоположное свидетельство: «Весь арсенал, — писал И.М. Канцевич Аракчееву 6 сентября, — и прекрасные новые ружья достались неприятелю». (То же самое свидетельствовал и Наполеон в письме к Александру I, перечисляя имущество, оставленное в Москве.) И если это так, то демагогия Ростопчина получает уже другое освещение.[100]

Таким образом, собираясь со своими «молодцами» защищать Москву, Ростопчин им не верил. Зато, по-видимому, большие надежды возлагал он на другое средство — воздушный шар, старательно делавшийся под Москвой иностранцем Леппихом. Шар этот послужил впоследствии поводом бесконечных рассуждений в связи с вопросом о пожаре Москвы.[101] Вне всякого сомнения, что правительство возлагало серьезные надежды на изобретение, предложенное Леппихом. Сам же Леппих, вероятно, принадлежал к числу прожектёров-аферистов.

Разъезжая по Европе с изобретенным им музыкальным инструментом «панмелодином», Леппих в Париже предложил Наполеону проект о воздушном шаре, который «мог бы поднимать такое количество разрывных снарядов, что посредством их можно было бы истребить целые армии». Наполеон удалил прожектёра из Франции. Весной 1812 г. Леппих предложил свои услуги русскому правительству через Аллопеуса, посланника при Штутгартском дворе. Румянцев сообщил Аллопеусу, что император желает «как можно скорее воспользоваться важным изобретением, которое обещает важные последствия». С самого начала предположения Леппиха были облечены глубокой таинственностью. Д.Н. Свербеев в бумагах губернатора московского Обрезкова нашел два секретных письма, написанных лично Обрезкову. «Вручитель этого, — писал Александр в начале июля, — иностранец Шмидт, объявит вам причину, по которой посылается мною в Москву. Храните ее под завесой непроницаемой тайны не только от московских жителей, но и от главнокомандующего фельдмаршала графа Гудовича. Поместите Шмидта где-нибудь около Москвы и давайте все средства к исполнению его предприятия. Пребыванию его у вас дайте предлогом фабрикации земледельческих орудий, или чего другого. Все сношения со мной лично по этому предмету ведите через обер-гофмаршала гр. Николая Александровича Толстого, адресуя ваши ко мне донесения на его имя». Письмо это не

оставляет никаких сомнений в серьезности правительственных надежд, и Леппиха, под именем Шмидта, поместили в Тюфелевой роще за Симоновым монастырем, снабдив всеми материалами и необходимым контингентом рабочих. С появлением в Москве Ростопчина Обрезкову было разрешено сообщить новому главнокомандующему «весь ход дела» (второе именное письмо императора Обрезкову). Ростопчин отнесся к проекту Леппиха с подобающей серьезностью, как свидетельствует его переписка по этому поводу с Александром. «Можно ли вполне положиться на него (Леппиха), чтобы не подозревать измены с его стороны, что он не обратит этого открытия в пользу ваших врагов», — спрашивал Ростопчин императора в письмах от 11 июня, восхваляя за несколько дней перед тем Леппиха как «хорошего и способного механика».

Впоследствии Ростопчин по своему обыкновению от всего этого отказался. В своей «Правде о московском пожаре» Ростопчин именует Леппиха «шарлатаном», который требовал, чтобы «его работа сохранялась в тайне». «История, — писал Ростопчин, — уже слишком много придала значения этому шару, для того только, чтобы выставить русских в смешном виде… Конечно, никто бы из жителей Москвы не поверил, что Шмидт с "такого шара… уничтожит французскую армию". Таково было позднейшее объяснение Ростопчина, когда он старался всеми мерами показать, что не имел решительно никакого отношения к московскому пожару. История с воздушным шаром действительно приобрела несколько «смешной вид». Ростопчин верил в шар до последнего момента. В письмах к Александру он систематически сообщает о «воздушном предмете», вверенном его попечению, т.е. «о машине Леппиха». Ростопчин присутствует при всех опытах и сообщает императору, что он совершенно уверен в успехе (30 июня). Ростопчин в начале августа по предписанию императора озабочивается набором военной команды для той же машины, которая будет окончена 15 августа. С Леппихом в мастерской работает 100 человек «17 часов в день». «В этом изобретении, — сообщает Ростопчин императору, — ваша слава и спасение Европы». «Я днем и ночью буду содержать сильную стражу, чтобы никого не пропускали». Ясно, что Ростопчин возлагал большие надежды на изобретение Леппиха. Отсюда и таинственность на первых порах.

Процитированные ранее письма и распоряжения Александра не оставляют сомнения, что те же надежды питал и Александр. Император 8 августа самым детальным образом указывает Ростопчину, какие меры надо предпринять при первом полете, чтобы «не попасть в руки неприятеля», чтобы избежать

«неприятельских шпионов» и чтобы шар соображал свои действия с действиями главнокомандующего, который уже предупрежден императором…

Если верить Аракчееву, то и он знал о Леппихе, но относился весьма отрицательно к этой затее, как и к другим прожектерам, в большом количестве появившимся ко времени войны. В «Воспоминаниях о селе Грузине» А. Языков со слов Аракчеева передает интересные диалоги по этому поводу между Аракчеевым и Александром: «В 1812 г., когда Наполеон приближался к Москве и страх был всеобщий, император Александр мне сказал: "Ко мне явился некто, предлагающий вылить пули, наверно попадающие; дай ему средства делом заняться". Я, осмотрев пулю, позволил себе сказать: "Вы, верно, хотите похристосоваться с вашею армией и подарить каждому солдату по чугунному яйцу? Поверьте, государь, этот изобретатель обманщик: пуля по своей форме далеко и метко лететь не может". На это император мне сказал: "Ты глуп". Я замолчал, дал прожектеру что-то делать и забыл о том. Вскоре затем император вновь меня призвал и сказал: "Явился человек, который хочет строить воздушный шар, откуда можно будет видеть всю армию Наполеона, отведи ему близ Москвы удобное место и дай средства к работе". Я вновь позволил себе сделать возражение о нелепости дела и вновь получил ответ: "Ты глуп". Прошло немного времени, как мне донесли, что изобретатель шара бежал. С довольным лицом предстал я пред императором и донес о случившемся, но каково было мое удивление, когда император с улыбкой сказал мне: "Ты глуп". Для народа такие меры в известных случаях нужны, такие выдумки останавливают легковерную толпу хотя на малое время, когда нет средства отвратить беду. Народ тогда толпами ходил из Москвы на расстояние 7 верст к тому месту, где готовился шар… Народ, возвращаясь домой, рассказывал, что видел своими глазами, как готовится шар на верную гибель врага и тем довольствовался». Можно ли поверить, что действительно Александр держался такой точки зрения на леппиховское изобретение? Нет, если беседа Аракчеева с Александром не вымышлена, то она показывает, что Александр старался и от Аркчеева скрыть истину. Самолюбивому Александру, вероятно, было неприятно, что он так легко поверил «шарлатану». Ведь в это время обнаружилась уже полная несостоятельность опытов с воздушным шаром, о предварительных успехах которых неоднократно доносил Ростопчин императору. И Александр желал дать другое объяснение, показать, что он никогда не верил затее Леппиха, т.е. в данном случае Александр поступал совершенно так же, как впоследствии поступал Ростопчин. Несомненный факт, что

приготовление шара тщательно скрывали. И о нем в московском обществе узнавали только случайно — через посредство тех лиц, которые помогали Легшиху. Так, напр., узнал об изготовлении шара студент Шнедер, который благодаря своему знакомству даже попал на дачу Леппиха и которому объяснили, что делается «воздушный шар, который движением посредством крыльев можно направлять по произволу. Он поднимет ящики с разрывными снарядами, которые, будучи сброшены с высоты на неприятельскую армию, произведут в ней страшное опустошение».

Только тогда, когда шар был почти готов, Ростопчин решил поведать о нем московскому населению. «Леппих окончил маленький шар, который поднимает пять человек. Завтра будет опыт, о чем я известил город», — сообщает Ростопчин Александру 23 августа. Объявление московского главнокомандующего, конечно, не могло не заинтересовать московского населения. Если некоторые отнеслись несерьезно к объявлению Ростопчина (напр., Глинка, который говорит, что шар строили «к заглушению мысли о предстоящей опасности»), то другие представители образованного общества «верили от души», как замечает Бестужев-Рюмин: «Я говорил о воздушном шаре с одним вельможею, сенатором, которого имени не хочу назвать; он был точно уверен, что воздушный шар истребит неприятельскую армию, и доказывал, уверяя честью своею, что уже сделана проба и собрано было стадо овец, над которым поднялся шар с тремя человеками, и стадо истреблено». К сожалению, сенатор слишком верил «разгульной молве». Из опыта с маленьким шаром ничего не вышло, как «с прискорбием» извещал Ростопчин императора 29 августа: «Шар не поднимал и двух человек». «Леппих, — заключил Ростопчин, — сумасшедший шарлатан». К такому выводу Ростопчин пришел только в самый последний момент, когда ввиду вступления французов в Москву пришлось и Леппиха, и его шар отправлять из города.

С неудачей Леппиха рушилась и надежда Ростопчина. Трудно, конечно, сказать, насколько верил Ростопчин в возможность нового сражения под Москвой, когда писал Александру 29 августа: «Я сделаю все возможное, как и в с е г д а делаю, чтобы доставить князю Кутузову средства одержать победу над чудовищем, который явился для разрушения престолов и уничтожения народов. Москва будет стоить ему много крови, прежде нежели он в нее войдет». Здесь скорее сказывалось обычное хвастовство Ростопчина. Слишком развязно давая обещания и действительно мороча ими всех своих корреспондентов, Ростопчин должен был до конца вести

политику самообмана и тем самым сложить ответственность на других: «И когда меня не будет, — писал Ростопчин в том же письме, — живой или умирающий, я постоянно сохраню одно желание, чтобы вы разубедились в людях, удостоенных вашей доверенности и своею глупостью, неспособностью или вероломством приведших вас на край пропасти».

В последние дни в Москве, естественно, царит паника. Уезжают все, кто только может. Ростопчин должен принимать экстренные меры к вывозу казенного имущества, к отправке раненых, которые в огромном количестве скапливаются в Москве после Бородина и т. д. Но и здесь энергия Ростопчина проявляется совсем в другом направлении. Ростопчин, упрекавший московское общество в шпиономании, готов каждого заподозрить в измене. Ему кажется, что «якобинцы» подговаривают дворян остаться в Москве. Он готов заподозрить в измене чуть ли не весь состав правительствующего сената.

Сенат, не получавший никаких предписаний из Петербурга, в ночь на 30 августа послал нарочного в Петербург и ожидал распоряжений министра юстиции. Но гр. Ростопчин признавал только одну свою власть — и без всяких разговоров 30 августа адъютант Ростопчина явился в сенат и приказал от имени Ростопчина закрыть заседания и «немедленно выехать из Москвы». «Я весьма заботился, — объяснял Ростопчин в «записках» свой поступок, который, по его собственному признанию, «впоследствии считали деспотическим», — чтобы ни одного сенатора не оставалось в Москве и чтобы тем лишить Наполеона средства действовать на губернии посредством предписаний или воззваний, выходивших от сената… Таким образом я вырвал у Наполеона страшное оружие, которое в его руках могло бы произвесть смуты в провинциях, поставив их в такое положение, что не знали бы, кому повиноваться».

Однако если ограничиться исключительно лишь объяснениями одного Ростопчина, то будет ясно, что истинная причина негодования Ростопчина на сенат крылась совсем в другом. Ростопчин, по его словам, узнал, что трое сенаторов, принадлежащих к «партии мартинистов» (Лопухин, Рунич, Кутузов), «предложили послать депутацию в главную квартиру, чтобы узнать от главнокомандующего — не в опасности ли находится Москва, и пригласить меня в сенат, чтобы я сообщил сведения о. способах защиты и о мерах, какие я намереваюсь предпринять в настоящих обстоятельствах. Вся эта проделка была делом самолюбия, и сенат хотел присвоить себе право верховной власти». Давать отчет кому-либо Ростопчин вовсе не намеревался, тем более что его хвастливые обещания не могли найти

решительно никакой конкретной поддержки в фактическом положении вещей. И пока «честные люди и мартинисты рассуждали, как отнестись с своими требованиями» к Ростопчину и «отправить депутацию на главную квартиру», Ростопчин своей административной властью разрешил все недоумения, предупредив, что «в случае неповиновения» «он» немедленно под хорошею стражею увезет «всякого сенатора, который будет упорствовать остаться в Москве». Таким образом, и здесь Ростопчин нашел повод выставить себя мудрым спасителем отечества, сумевшим вовремя прервать интригу «мартинистов», хотевших «убедить своих товарищей не оставлять города, представляя этот поступок, как долг самопожертвования…» а в действительности имея «намерение», оставаясь в Москве, «играть роль при Наполеоне».

Надо ли выяснять, что все это явилось плодом вымысла ростопчинской фантазии в более позднее время, когда его «деспотизм» далеко уже не встречал одобрения в правительственных кругах, когда и его героизм у современников отчасти был поставлен под подозрение.

30 августа, когда происходила сцена с удалением из Москвы сенаторов, Ростопчин, вероятно, уже не думал о защите Москвы. Ночью он получил уведомление от Кутузова, что «Наполеон отделил от своих войск целый корпус, который двинулся по направлению к Звенигороду». «Неужели не найдет он свой гроб от дружины московской, — спрашивал Кутузов, — когда бы осмелился он посягнуть на столицу московскую… Ожидаю нетерпеливо отзыва вашего сиятельства». Казалось бы, вот где Ростопчин мог бы показать реальные результаты своей продуктивной деятельности, своей воинственной пылкости. «Я ему ничего не ответил», — говорит Ростопчин в своих записках. Предложение Кутузова показалось московскому властелину «весьма дурною шуткою», потому что Кутузову «хорошо было известно, что Москва опустела и в ней оставалось не более 50 тыс. жителей». Так рассказывал Ростопчин впоследствии. Но А.Н. Попов не без основания предполагает, что со стороны Кутузова в данном случае не было «злой насмешки». Кутузов мог вполне искренно поверить, что Ростопчин исполнил свое обещание сформировать добровольную дружину (помимо ополчения) из московских обывателей. Ведь о ней так много говорил хвастливый московский градоправитель.

Принц Евгений Вюртембергский, бывший в курсе военных дел, в своих воспоминаниях определенно свидетельствует, что Кутузов «рассчитывал, что все, способное носить оружие, население будет его подкреплять, если будет сражение под

Москвой».

Ростопчин, конечно, мог бы претендовать на Кутузова, так как и обещания последнего «скорее пасть при стенах Москвы, нежели передать ее в руки врагов», по меньшей мере были «нескромны», по замечанию ген. Ермолова; Ростопчин мог бы говорить, что эти многообещающие слова внушили ему ложное представление о планах главнокомандующего, если бы приступил действительно к организации той дружины, которая должна была явиться вооруженная по первому его кличу, чтобы отразить французов. Мы знаем уже, как боялся в действительности «русский барин», принявший на себя роль народного трибуна, своих даже невооруженных молодцов. Но при всем том отказаться от приемов своей рекламной и фальшивой демагогии Ростопчин не мог.

30-го утром Ростопчин вручает Глинке для немедленного напечатания написанные «летучим пером», как выражается Глинка, «Воззвания на Три горы». На основании разговора по поводу воззвания между Глинкой и Ростопчиным можно видеть, что здесь Ростопчин сознательно выступал с обманом: «У нас, на Трех горах, ничего не будет, — заявил Ростопчин, — но это вразумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займет Москву». — «Братцы, наши силы многочисленны… Не впустим злодея в Москву… Вооружитесь, кто чем может, и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба. Идите… с крестом, возьмите хоругвей из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея». Для чего допускал эту фальшь Ростопчин? Для того, чтобы поддержать спокойствие и порядок в столице, — отвечает он. В действительности мера его привела к совершенно противоположным результатам. Уже объявление 30 августа, в котором Ростопчин заявлял, что он клич кликнет «дня за два», произвело, по словам Бестужева-Рюмина, «ужасное волнение в народе», волнение самое убийственное: стали разбивать кабаки, питейная контора на улице Поварской разграблена, на улицах крик, драка… Словом, Москва в этот день как будто вовсе была без начальства».

Таков был неизбежный результат демагогии Ростопчина, которой предусмотрительно, как мы знаем, боялся кн. Вяземский. Ростопчин в своих записках, в свою очередь, констатирует подобные факты, забывая только сказать или не понимая, что они явились прямым продуктом его литературного творчества. Ростопчин рассказывает о заговоре 12 «негодяев» «поджечь город, ударить в набат и во время общей тревоги и смущения броситься грабить богатые лавки». «За три дня до вступления неприятеля в

Москву, — передает Ростопчин, — мне дали знать, что некто Наумов, маленький дворянин, пользовавшийся худою славою, подговаривал лакеев и назначил им место, где надо собраться, чтобы пуститься на грабеж, когда придет время. Он набрал и записал их уже более 600, когда я узнал об этом умысле. Между прочим, меня известили, что он "похваляется, что убьет меня самого"…

Как ни мало достоверны все рассказы Ростопчина, можно не сомневаться в существовании подобных фактов — погромные элементы были вызваны к жизни самим Ростопчиным. Ввиду волнения, отмеченного Бестужевым-Рюминым, Ростопчину пришлось принимать меры к закрытию кабаков 30 и 31 августа. «Я прибег к этой мере, потому что множество мародеров, дезертиров и мнимых раненых стекалось отовсюду в Москву; а напиться даром допьяна могло привлечь и часть войск и так находившихся в беспорядке. Пьяные же могли начать грабеж и, может быть, поджечь город, прежде нежели пройдет через него наша армия…»

Но меры Ростопчина уже не достигли цели, как определенно свидетельствует очевидец событий и настроения в Москве в последние дни перед сдачей… Легковерная толпа пошла за патриотическим призывом Ростопчина. 31 августа на Трех горах собралось оставшееся население, чтобы «спасти от наступающего врага Москву». «Народ в числе нескольких десятков тысяч, — рассказывает Бестужев-Рюмин, — так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, как с восхождением солнца до захождения не расходились в ожидании графа Ростопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все с горестным унынием разошлись по домам». Автору воспоминаний казалось, что «малейшая поддержка этого патриотического взрыва, и Бог знает, взошел ли бы неприятель в Москву?» Как ни наивно это предположение чиновника вотчинного департамента, оно ярко характеризует личность Ростопчина, храброго на словах, но не на деле. Ростопчин не явился… Он сознательно морочил оставшееся московское население и боялся обнаружения своей фальши. Он был близок к народу, но до крайности боялся этого вооруженного народа, вооруженного хотя бы и рогатками, вилами и топорами. Демагог не способен был лично поддержать в критический момент патриотического взрыва именно из-за страха.

Очевидно, уже в это время московская толпа чувствует большое озлобление против Ростопчина, он вынужден пообещать на другой день начать.действовать: «Я завтра еду к светлейшему

князю, чтобы с ним переговорить… я приеду назад к обеду, и примемся за дело: обделаем, доделаем и злодеев отделаем». Верил ли кто-нибудь еще в подобные обещания? Вряд ли: в Москве началась уже полная анархия. «Проходя пешком через Москву, — сообщает современник Евреинов, — я ничего более не встречал, кроме беспорядков и безобразий. Кабаки уже начали разбивать». «За сутки пред вступлением в Москву неприятеля, — рассказывает (быть может, не совсем точно) «Очевидец о пребывании французов в Москве» —…нигде не было видно ни одной души, исключая подозрительных лиц, с полубритыми головами, выпущенных в тот же день из острога: эти колодники, обрадовавшись свободе, на просторе разбивали кабаки… и другие подобные заведения… Вечером острожные любители Бахуса, от скопившихся в их головах винных паров придя в пьяное безумие, вооружась ножами, топорами… и с зверским буйством бегая по улицам, во все горло кричали…: "Руби проклятых французов"».

На утро вступления французов в Москву беспорядки, конечно, еще усиливаются. В то время, когда русский арьергард под начальством Милорадовича проходил через Москву, а французский авангард под начальством Себастиани вступал в Москву, на улицах начинался уже разгром домов и лавок опьяневшей толпой.

Мы имеем очень яркие показания русских очевидцев о той картине, которую можно было наблюдать в Москве 2 сентября с утра. На улицах бушует толпа. Она состоит из подонков общества, из «колодников», выпущенных или вырвавшихся из тюрем, — одним словом, из таких элементов, которые совершенно терроризировали мирное население. Ростопчин в 1813 г. определял оставшееся в Москве население в 10 т. человек: «Когда Бонапарт взошел в Москву, в ней было всего 10 т. жителей» («из них, по крайней мере, половина всякой сволочи, дожидавшейся, как бы пограбить город», сообщал Ростопчин в письме Воронцову). В письме к Вязьмитинову (30 октября 1812 г.) Ростопчин уверяет, что из 10 000 «наверно» 9 000 было таких, «кто с намерением грабить не выехал». Среди этой толпы видную роль играют «колодники», которые, по уверению Ростопчина, все (в числе 120 человек) были отправлены в Нижний. Правда, такое предписание было сделано, но в действительности оно осталось только на бумаге. Помимо французских свидетельств (см., напр., яркую картину у Coignet, Roos и др.) достаточно и русских: вот, напр., как описует Москву в 5 час. дня ближайший друг и помощник Ростопчина А.Я. Булгаков: «У заставы нет никого. Кабак разбит. У острога колодники бегут; их выпустили или они поломали замки свои… Против Пушкина убивают солдаты наши

лавочника. Еду по Басманной — ужасная картина, не у кого спросить, где граф. Грабеж везде ранеными и мародерами». Другая картина, начертанная очевидцем, дворовым человеком: «Перед самым тем временем, как вступил француз в Москву, приказано было разбивать в кабаках бочки с вином. Народ-то на них и навалился; перепились пьянехоньки. Вино течет по улицам, а иные припадут к мостовой и камни лижут. Драки, крик!».[102] Еще совершенно аналогичное свидетельство в письме Петра Лунина к Арбеневу (18 сентября): «В день входа неприятеля главнокомандующим и губернатором распущены были и отворены остроги находящимся в оных преступникам, они, а не французы, грабят и жгут наши дома, что и по сие время продолжается». Можно найти и другие указания. (См. Щук. сборн.) Но особенно любопытен рассказ оставшегося в Москве начальника Воспитательного дома И.В. Тутолмина, который попал в трагическое положение, так как все его рабочие и караульщики перепились, таская из разбитых «войсками» кабаков вино «ведрами, горшками и кувшинами…» (Письмо к Баранову).

Такую картину представляла Москва 2 сентября. И не только в то время, когда «ни коменданта, ни главнокомандующего, ни обер-полицеймейстера, ни квартальных» уже в Москве не находилось. Так было с утра, когда Ростопчин делал свои последние распоряжения.

Перенесемся теперь на двор ростопчинского двора на Б. Лубянке, где суждено было разыграться кровавой трагедии гибели невинного Верещагина. Этот ужасный эпилог деятельности Ростопчина служит ему лучшим историческим памятником и лучшей личной характеристикой. 10 часов утра. Все готово для отъезда Ростопчина. «Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел там с десяток людей, уезжавших со мной, — рассказывает Ростопчин. — Улица перед моим домом была полна людьми простого звания,желавших присутствовать при моем отъезде. Всеонипримоемпоявлениинобнажили голову. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций, и еще одного французского фехтовального учителя по фамилии Мутона,[103] который за свои революционные речи был предан суду и уже более трех недель тому назад приговорен уголовного палатою к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь, но я отсрочил исполнение этого приговора. Оба они содержались в тюрьме… и их забыл и отправить с 730-ю преступниками… Преступники эти… ушли три дня тому назад… Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из

всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен сенатом к смертной казни и должен понести ее, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одногослов а… Тогда обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал мотивы, я сказал ему: «"Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству". Я провел его к воротам и подал знак народу, чтобы пропустить его. Толпа раздвинулась, и Мутон пустился опрометью бежать, не обращая на себя ничьего внимания, хотя заметить его было бы можно: он бежал в поношенном своем сюртучишке, испачканном белою краскою, простоволосый и с молитвенником в руках. Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться тем, что произошло».

Мы взяли In extenso описание «казни» Верещагина, сделанное самим Ростопчиным. Описание, в котором каждое слово звучит фальшью, совершенно не соответствует действительной картине, нарисованной другими современниками. Не говоря уже о характеристике настроения толпы, собравшейся перед домом Ростопчина, — настроения, весьма мало подходящего к тем фактам, которые мы только что могли наблюдать на улицах Москвы по единогласному показанию современников, Ростопчин, излагая в своих воспоминаниях (1823 г.), не потрудился даже справиться со своими собственными предписаниями и письмами того времени, когда происходило описываемое событие. Он забыл, что предписание о высылке колодников было дано им лишь 1 сентября; он забыл вместе с тем, что 8 сентября он несколько иначе описал казнь Верещагина в письме к императору: «Велел нанести ему три сабельных удара. Он прикинулся мертвым, но увидав, что я уехал, вздумал бежать и попал в руки народной толпы».

Воспроизвести с фотографической точностью трагическую смерть Верещагина, легшую кровавым пятном на совесть Ростопчина, вряд ли возможно. Но и то, что мы знаем, разрушает рассказ Ростопчина. Несомненно, Ростопчин отдал толпе Верещагина. Это засвидетельствовано даже столь близким лицом к Ростопчину, как В. А. Обрезков, рассказ которого о трагической смерти Верещагина передает Д.Н. Свербеев. По словам Обрезкова, когда Ростопчин отдал драгунам приказание рубить «изменника» палашами, «драгуны замялись, приказание повторилось. Удары тупыми, неотточенными палашами последовали, но не могли в скором времени достигнуть цели. Ростопчин велел толпе докончить заранее обдуманную им казнь за измену». В устах

другого современника мы услышим сейчас и другое освещение. Столь часто цитировавшийся нами Бестужев-Рюмин передает в своих воспоминаниях рассказ чиновника вотчинного департамента, которому случайно пришлось сделаться очевидцем «казни» Верещагина. Этот случайный очевидец, явившись в департамент, рассказывал под непосредственным впечатлением: «Ах, Алексей Дмитриевич, какой ужас я видел, проходя мимо дома графа Ростопчина, которого двор был полон людьми, большею частью пьяными, кричавшими, чтобы шел он на Три горы, предводительствовать ими к отражению неприятеля от Москвы. Вскоре на такой зов вышел и сам граф на крыльцо и громогласно сказал: "Подождите, братцы! Мне надобно еще управиться с изменником!" И тут представлен ему несчастный купеческий сын… Верещагин… и Ростопчин, взяв его за руку, вскричал народу: "Вот изменник! от него погибает Москва!" Несчастный Верещагин, бледный, только успел громко сказать: "Грех вашему сиятельству будет!" Ростопчин махнул рукою, и стоявший близ Верещагина ординарец графа, по имени Бурдаев… ударил его саблею в лицо; несчастный пал, испуская стоны, народ стал терзать его и таскать по улицам. Сам же граф Ростопчин, воспользовавшись этим смятением, сошел с крыльца и в задние ворота дома своего выехал из Москвы на дрожках».

В сущности, в соответствии с этим рассказом передают факт почти все современники. Возьмем воспоминания Каролины Павловой, где смерть Верещагина рассказывается на основании «очевидца тогдашних происшествий».

«Когда народ московский, — говорит Павлова, — успокоенный прокламациями графа Ростопчина, которые постоянно твердили о бессилии и скором уничтожении армии Наполеона, вдруг узнал, что эта армия стоит на Поклонной горе, готовая вступить беспрепятственно в Москву, вопль отчаяния пронесся по городу. Озлобленная чернь бросилась к генерал-губернаторскому дому, крича, что ее обманули, что Москву предают неприятелю.

Толпа возрастала, разорялась все более и стала звать к ответу генерал-губернатора. Поднялся громкий крик: "Пусть выйдет к нам. Не то доберемся до него!" В этом затруднительном положении граф Ростопчин не потерял присутствия духа… он вышел к народу, который встретил его сердитыми восклицаниями: "Нам солгали. Говорили, бояться нечего, французы разбиты, а французы вступают в Москву". — "Да, вступают, — ответил громким голосом граф, — вступают, потому что между нами есть изменники". — "Где они? Кто изменник?" — закричала неистовая толпа. "Вот изменник", сказал граф,

указывая на стоящего вблизи молодого Верещагина. Этот последний, пораженный бессовестным обвинением, побледнел и проговорил: "Грех вам, ваше сиятельство!" В ту же минуту вся чернь в остервенении кинулась на него, и между тем как она терзала и убивала несчастного, граф Ростопчин вошел опять в дом, из которого поспешно выбрался на задний двор, сел на готовые дрожки и переулками выехал из Москвы».

В воспоминаниях Д.П. Рунича при некоторой хронологической неточности передается почти такой же рассказ об этом «чудовищном убийстве». «На рассвете, — говорит Рунич, — решетка, обширный двор его (т. е. Ростопчина) дома от улицы ломились под натиском огромной толпы, состоявшей из низменных, отчаянных подонков столицы.[104]

Ростопчин обратился к толпе с речью и, указывая на Верещагина, сказал, "что изменник своей родине, приготовивший путь врагам, достоин смерти!" — и тотчас приказал жандармам изрубить его саблями, сам нанес ему первый удар и велел бросить тело умирающего невинного страдальца через решетку на улицу. Разгоряченная чернь набросилась на него и волочила его по улицам; Ростопчин сел в ожидавший его легкий экипаж и отправился к армии, только что выступившей из Москвы… Вот истинный рассказ об этом чудовищном убийстве», — заключает Рунич.

Выписки можно было бы продолжить. И опять в воспоминаниях декабриста Штейнгеля мы встретимся с таким же освещением: Ростопчин отдал на растерзание Верещагина, чтобы, «пользуясь этим временным занятием черни, можно было с заднего крыльца сесть на лошадь и ускакать из Москвы в момент почти вступления в нее неприятеля». Наконец другой современник, не только очевидец, но и непосредственный участник «казни» Верещагина, драгунский офицер Гаврилов повторяет буквально то же самое: «С утра густая толпа народа стеклась на дворе и запрудила улицу, шумела, галдела и волновалась… Прокричав на крыльце народу, что Верещагин изменник, злодей, губитель Москвы, что его надо казнить, Ростопчин закричал Бурдаеву (вахмистру Гаврилова), стоявшему подле Верещагина: "руби!" Не ждавши такой сентенции, он оторопел, замялся и не подымал рук. Ростопчин гневно закричал на меня: "Вы мне отвечаете своей собственной головою! Рубить!" Что тут делать, не до рассуждений! По моей команде: "Сабля вон", мы с Бурдаевым выхватили сабли и занесли вверх. Я машинально нанес первый удар, а за мной и Бурдаев. Несчастный Верещагин упал, мы все тут же ушли, а чернь мгновенно кинулась добивать страдальца и, привязав его к хвосту какой-то лошади, потащила

со двора на улицу, Ростопчин в задние ворота ускакал на дрожках…»

Мы видим, как в сущности совпадают решительно все показания как очевидцев, так и других современников, рассказывавших о смерти Верещагина или со слов очевидцев, или по слухам. Расхождения только в деталях. И подобная картина не только психологически правдоподобна, но она стоит в полном соответствии с уличной обстановкой в Москве 2 сентября. Пред нами пьяная толпа, — толпа, состоящая из общественных низов, наэлектризованная ожиданием вступления французских войск, бегством начальствующих лиц из Москвы, отступлением русских войск, последними распоряжениями Ростопчина об увозе пожарных труб, затоплением в реке пороховых бочек и хлебных барж и т. д. Пред нами толпа, начавшая с утра уже «грабить дома», по собственному признанию Ростопчина… И эта толпа мирно стоит в ожидании того, как граф уедет из Москвы? Как он выйдет для последнего прощания с оставленным в руках французов населением? Толпа, которую систематически натравляли на «злодеев», которой внушали всякие ужасы, которую манили обещанием расправиться в любой момент с «злодеем», если только он появится под стенами священного города, — и эта толпа будет миролюбиво провожать того, кто столько раз фразисто говорил, что он поведет ее на патриотический подвиг защиты столицы? Нет, это слишком невероятно. Пред ростопчинским дворцом собралась буйная толпа, требующая если не ответа, то выполнения обещаний. И московскому барственному демагогу не оставалось ничего более, как трусливо бежать пред личной опасностью и тем ликвидировать свои отношения с московским населением. В жертву народной ненависти было принесено невинное лицо. В тот момент Ростопчину до этого не было никакого дела. Нужен был лишь предлог, чтобы отвлечь на некоторое время внимание.[105]

Такова истинная картина действительных мотивов поступка Ростопчина.[106] Смерть Верещагина произвела сильное впечатление на современников.[107] Против Ростопчина негодовало общественное мнение: «Вот убийство, которое невозможно объяснить, не очерня памяти Ростопчина», — сказал в своих «Записках» Рунич, при всем своем личном недоброжелательстве к Ростопчину, вполне одобрявший его деятельность в московский период. И откликом этого негодования явилось известное письмо Александра, в котором император, действительно, очень «мягко» делал Ростопчину упрек: «Я бы совершенно был доволен вашим образом действий при таких трудных обстоятельствах, если бы не дело Верещагина,

или лучше — его окончание. Я слишком правдив, чтобы говорить с вами иным языком, кроме языка полной откровенности. Его казнь была бесполезна, и притом она ни в каком случае не должна была совершиться таким способом. Повесить, расстрелять было бы гораздо лучше». Ростопчин в ответ выставлял себя только исполнителем приговора сената, который «единогласно» присудил к смертной казни Верещагина, «злодея по наклонности и по образу мыслей». Если бы это было так, то неужели Ростопчин не мог выбрать другого времени для убийства! Ложь здесь слишком очевидна…[108]

Впоследствии были попытки если не оправдать Ростопчина, то смягчить ужасные обстоятельства «казни» Верещагина и найти объяснение поступку Ростопчина. Это пытался сделать кн. П.А. Вяземский, кн. А.А. Шаховской, отчасти и Д.Н. Свербеев. «Потомство, — писал Свербеев в 1870 г.,[109] — не имеет права обвинять Ростопчина в убийстве по расчету, в убийстве для спасения своей жизни. В таком обвинении я умываю руки. Ростопчин мог быть и, по моему убеждению, был преступным убийцею Верещагина, но он не мог быть и не был убийцей из трусости. В этом ручается нам вся его жизнь и каждая его строка, до нас дошедшая». Все изложенное, думается, уже достаточно опровергает мнение Свербеева…

Отдав толпе Верещагина, Ростопчин скрылся. А толпа, возбужденная еще более произведенным неистовством, устремляется в Кремль к арсеналу, чтобы здесь с оружием в руках встретить неприятеля.

На этом можно и закончить повествование о деятельности Ростопчина — спасителя отечества в 1812 году. «Я спас империю, — гордо и самоуверенно заявлял Ростопчин в оправдательном письме к Александру по поводу верещагинского дела. — Я не ставлю себе в заслугу энергии, ревности и деятельности, с которыми я отправлял службу вам, потому что я исполнял только долг верного подданного моему государю и моему отечеству. Но я не скрою от вас, государь, что несчастие, как будто соединенное с вашею судьбою, пробудило в моем сердце чувство дружбы, которою оно всегда было преисполнено к вам. Вот что придало мне сверхъ-естественные силы преодолевать бесчисленные препятствия, которые тогдашние события порождали ежедневно».

Так казалось Ростопчину в ноябре 1812 года.[110]

Но в момент оставления Москвы Ростопчин, по-видимому, не чувствовал себя так самоуверенно. Отсутствием этой самоуверенности и объясняется отчасти ненависть, которую питает Ростопчин к Кутузову: «Сегодня утром я был у "проклятого

Кутузова", — пишет Ростопчин жене 1 сентября. — Эта беседа дала видеть низость, неустойчивость и трусость вождя наших военных сил…» «Бросают 22 000 раненых, а еще питают надежду после этого сражаться и царствовать». Одно было достоинство у Ростопчина — это грубая прямота. Он, пожалуй, мог про себя сказать то, что писал в своей жизни, описанной с натуры: «Жизнь моя была плохая мелодрама… Я играл в ней героев, тиранов, любовников, благородных отцов, резонеров, но никогда не брался за роль лакеев». Правда, эта прямота отнюдь не вытекала из каких-либо высоких моральных качеств. Ростопчин, несмотря на всю свою барственность и французский лоск, был типичным бурбоном.

Сделавшись врагом Кутузова, он ему с откровенностью писал 17 сентября: «Должность моя кончилась, и я, не желав быть без дела и слышать целый день, что вы занимаетесь сном, уезжаю…» Ведь деятельным был только один Ростопчин — он в этом же упрекал прежде Барклая.

Мы еще встретимся с Ростопчиным в обновленной Москве. [111] Но каковы же были реальные результаты его деятельности в Москве до прихода французов? Хорошо подвел эти итоги Л.Н. Толстой в «Войне и мире». Читатель, конечно, помнит меткую характеристику Ростопчина в конце V главы II части, где Толстой говорит об оставлении Москвы населением. «Они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа… Граф же Ростопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда негодное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на 136 подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что сожжет Москву, то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее; то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ; то высылал всех французов из Москвы, то оставлял г-жу Обер-Шальне, составлявшую центр всего французского московского населения… то собирал народ на Три горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не перенесет несчастия Москвы, то писал в альбом по-французски стихи о своем участии в этом деле, — этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился

над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его власть с собой, народного потока».

Не показывает ли все рассказанное выше правильность нередко оспаривавшихся выводов Л.Н. Толстого. Ростопчин действительно не понимал положение вещей. Он фантазировал и всех морочил, желая разыгрывать роль спасителя отечества, к которой еще менее был пригоден, чем «мальчик».

Если согласиться с Толстым, что оставление Москвы было «величественным событием, которое останется лучшей славой русского народа», то в этом событии, как мы видим, Ростопчин не играл решительно никакой роли. Впоследствии Ростопчин приписал себе и эту славу. Он объяснил даже все свои действия именно этой целью: соблюсти спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей; на деле Ростопчин только препятствовал осуществлению того «величественного события», которое инстинктивно, из страха подготовили московские обыватели… Москва должна была остаться пустой к прибытию Наполеона. Из нее спешно вывозили имущество, деньги, бумаги и т. д. Конечно, в две недели вывезти все было невозможно, а при господствовавшей панике подчас самое главное оставалось. Недаром Волкова 15 октября писала: «говорят, что в какой-то газете пишут, что Москву сдали опустелую, увезя из нее все до последней нитки. Видно, что, кто в газете пишет, у того в Москве волоса нет». Сколько ни увозили из Москвы, сколько ни зарывали в землю, в столице оставалось достаточно и жизненных припасов и всякого рода имущества. Недаром на Стендаля Москва произвела на первых порах впечатление одного «из прекраснейших храмов неги». Французы нашли немало барских домов с достаточным штатом дворовых людей, оставленных охранять барское имущество (см., напр., письмо Волковой от 17 сентября, приказчика Сокова к Баташову, в доме которого на Швивой горке поместился Мюрат).

Можно было бы привести множество рассказов по этому поводу из французских мемуаров. Наполеон был совершенно прав, когда говорил (У Меару 3 ноября 1816 г.: «Sans cet Incendie fatal, j'avais tout ce qui etait necessaire a mon аггп&e[112]». Конье утверждает, что провизии хватило бы «на всю зиму». Но вряд ли стоит это делать, потому что этот факт несомненен сам по себе и засвидетельствован, наконец, многими реестрами, которые поданы были правительству после выхода французов из Москвы лицами, потерпевшими от пожара. Беглый обзор того, что осталось в Москве, снимает весь патриотический налет с

«великого события», долженствовавшего сделаться неувядаемой славой России. Мы знаем, увозили драгоценные вещи, жемчуга с икон и оставляли народные святыни — мощи, оставили «за неимением подвод» 333 знамени и т. д. Оставлены были на произвол судьбы, на попечение «злодеев» тысячи русских раненых, проливших свою кровь в защиту отечества. Указать точную цифру оставленных раненых вряд ли возможно. Мы знаем, что в письме к жене 1 сентября Ростопчин исчисляет количество оставляемых раненых в 22 000. Сколько было увезено в последние два дня, когда русские войска проходили оставляемую Москву, — сведения разноречивы. И различные источники насчитывают оставленных раненых от 2 до 15 тысяч, из которых, по свидетельству Ростопчина, осталось в живых ко времени его возвращения в Москву не более 300. Внук Ростопчина, сын его дочери, гр. Сегюр, написавший жизнеописание своего деда, добавляет к этой печальной повести: и большинство несчастных (раненых) «погибло в огне, зажженном соотечественниками» (Vie de Rostopchine. Paris, 1873).

Таковы были реальные результаты энергичной деятельности московского главнокомандующего. При всем желании найти что-либо положительное в деятельности Ростопчина в конце концов находим лишь отрицательное.

Припомним слова С.Н. Глинки, свидетельствующие о том, что Ростопчин, издавая призыв к населению идти на Три горы, думал якобы этим указать московским крестьянам, что они должны делать, когда французы займут Москву. Можно подумать, что Ростопчину принадлежит инициатива возбуждения народной войны, того образа действий, который спас Россию. Ростопчин целых три месяца подготовлял народное настроение, возбуждая в населении «патриотическую ненависть» к французам. «Мне удалось, — писал он позднее своему постоянному лондонскому корреспонденту гр. Воронцову (28 апреля 1813 г.), — внушить крестьянам презрение к французскому солдату… Я оставался до 26 сентября при главной квартире, разъезжая туда и сюда, чтобы ободрить крестьян и своим присутствием, и своими воззваниями». [113] Но и здесь Ростопчин ошибался. Он был бессилен поднять «патриотизм», который он видел только в человеконенавистничестве.[114]

КТО СЖЕГ МОСКВУ? [115]

Вопрос о причинах, вызвавших пожар Москвы, — вопрос, на котором усиленно останавливалось внимание потомства, в сущности, и не ставился в сознании современников в первые годы после Отечественной войны. «Весь 1813 и 1814 гг., — говорит Свербеев, — никто не помышлял, что Москва была преднамеренно истреблена русскими». И эта точка зрения вполне подтверждается перепиской. «Нас считают варварами, — писал Ростопчину СР. Воронцов 7 июня 1814 г. — а французы, неизвестно почему, прослыли самым образованным народом. Они сожгли Москву, а мы сохранили Париж». В том же духе пишет Воронцову и сам Ростопчин: Наполеон «предал город пламени, чтобы иметь предлог подвергнуть его грабежу» (письмо от 28 апреля 1813 г.). «Бонапарт, — как бы добавляет через год своему корреспонденту Ростопчин, — чтобы свалить на другого свою гнусность, наградил меня титулом поджигателя, и многие верят ему» (письмо от 28 апреля 1815 г.)

Нет, конечно, никакого сомнения в том, что пожар Москвы не может свидетельствовать «постыдные и хищные дела презренных зажигателей», как выражался Высочайший указ на имя Ростопчина по поводу проекта воздвигнуть «увенчанный лаврами столб» в Москве из оставленных французами артиллерийских орудий «на память многократных побед и совершенного истребления всех дерзнувших вступить в Россию неприятельских сил». Так могло казаться лишь недостаточно осведомленным современникам, которым в то время не приходила даже мысль о преднамеренном сожжении русской святыни. Так констатировалось в правительственных актах — и это было, как мы знаем, одним из самых могущественных средств к возбуждению, так сказать, органической ненависти к врагу, и не только в низах, но и в дворянстве. Если в низших слоях населения возбуждалось тем самым чувство грубо попранной религиозности, то в дворянских и буржуазных кругах столь же сильно захватывались имущественные интересы. Не даром К. К. Павлова в своих воспоминаниях записала: «Хорошо было Пушкину, лет двенадцать позднее, воскликнуть с энтузиазмом поэта: "Пылай, великая Москва!" Но когда она пылала, то, сколько я знаю, общее чувство было вовсе не восторженное». И понятно, «весть о пожаре Москвы грянула как громовой удар». «Осторожные» барыни, заперев накрепко свой московский дом, были совершенно спокойны насчет своего оставленного там

имущества.

При таких условиях, действительно, обвинение французов в пожаре являлось лучшим агитационным средством, что и отметил, как мы уже знаем, в своих воспоминаниях Домерг:

«Правительство ухватилось за этот предлог, чтобы придать войне характер народный и религиозный. Вся Россия казалось почерпнула в этой великой катастрофе новую энергию».

Но французы неповинны в пожаре. Им не могла принадлежать инициатива уже потому, что «глупо было бы допустить, — как выражался Рунич, — что французы подожгли город, в котором они нашли в изобилии все, что было необходимо для их существования, и который представлял собою к тому же надежный пункт, из которого они могли вести переговоры или руководить военными действиями во все стороны, как из центра, находившегося в их руках». Мы знаем, какие усилия употреблялись для борьбы с дезорганизацией, и действительно, было бы «глупо» разрушать одной рукой то, что создается другой. Таким образом, ранняя русская версия о французах-поджигателях абсолютно лишена основания.

В сущности, о них говорит единственное только донесение Тутолмина 11 ноября императрице Марии Феодоровне: «Когда я и подчиненные мои с помощью пожарных труб старались загасить огонь, тогда французские зажигатели поджигали с других сторон вновь. Наконец некоторые из стоявших в доме жандармов, оберегавших меня, сжалившись над нашими трудами, сказали мне: "оставьте, — приказано сжечь"».

Единственно, что можно сказать, — это то, что на первых порах завладевшие столицею не обратили внимания на начавшийся пожар. Он «не казался опасным, — говорил Наполеон О'Меар'у на о. св. Елены 3 ноября 1816 г. — Мы думали, что он возник из-за солдатских огней, разведенных слишком близко от домов, сплошь деревянных.»

От этих бивачных огней, по рассказам Глинки, оставшегося в Москве гравера Осипова, «загорелся дом Филипповского» (Глинка. «Записки о Москве»).

На следующий день огонь увеличился, но еще не вызывал серьезной тревоги… На следующее утро поднялся сильный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой, причем сами русские, как утверждал Наполеон, — и это утверждение соответствует фактам — помогали защите города от пожара. («Napoleon dans l'exil».)

Версия о французах-поджигателях была хороша только для 1812 г.

Несуразность ее очевидна даже для С.Н. Глинки: «Ни в

Париже, ни при вторжении в Россию пожар московский не заглядывал в мысли Наполеона» («Записки о Москве», 1837 г.). Жозеф де Местр мог лишь удивляться длительному существованию этой версии. «До сих пор еще, — писал он в своем донесении 2 июня 1813 г., — в народе говорят, да и повыше народа, что Москву сожгли французы: так еще сильны здесь предрассудки, убивающие иногда ***всякую*** мысль наподобие гасильников, которыми тушат свечи».

Какое же имеет под собой историческое основание французская версия? У позднейших историков Отечественной войны мы найдем различное решение этого вопроса. Первый официальный историк войны, Михайловский-Данилевский, отвергая «обвинение в умышленном и заранее обдуманном зажжении Москвы Российским правительством», видит «причины первых пожаров» в сожжении комиссариатских барок на Москве-реке по распоряжению отчасти Ростопчина, отчасти Кутузова. «В то же время, — говорит он, — загорались дома и лавки, но уже не по чьему-либо приказанию, не по наряду, но по патриотическим чувствованиям». Затем к французским грабителям присоединились «бродяги из русских» и, «вероятно, вместе с неприятелями старались о распространении пожара, в намерении с большею удобностью грабить в повсеместной тревоге». На другой точке зрения стоит ген. Богданович в своей истории Отечественной войны: «Выказывать пожар Москвы в виде гибели Сагунта — столь же нелепо, сколько приписывать его жестокости Наполеона и буйству его войск». По его мнению, «главным или, по крайней мере, первым виновником его был граф Ростопчин». Д.П. Рунич в своих воспоминаниях пошел дальше: «Для всякого здравомыслящего человека есть один только исход, чтобы выйти из того лабиринта, в котором он очутился, прислушиваясь к разноречивым мнениям, которые были высказаны по поводу пожара Москвы. Несомненно, только император Александр мог остановиться на этой мере». «Не пройдет и века, — добавлял Рунич, — как тайна разъяснится и на пожар Москвы, без сомнения, будут смотреть, как на одну из лучших жемчужин, украшающих венец Александра. Ростопчину остается только слава, что он искусно обдумал и выполнил один из самых великих планов, возникавших в человеческом уме».

Фантастическое настроение Рунича, конечно, не войдет в историю, ибо под ним нет решительно никакого фундамента. Отойдет в область предания и вся вообще патриотическая легенда, занесенная на страницы воспоминаний ген. Ланжерона: «Пожар Москвы, это геройское деяние, это ужасное, величавое решение, вызванное удивительным самоотвержением и

патриотизмом самым пламенным». Тщетны усилия доказать, что «Москва была вольной жертвой нашего патриотизма». Если этот вопрос был возведен «до апогея патриотического самопожертвования», то, по мнению Свербеева, «мыслящая русская публика» ухватилась за него «более ловко, чем искренно». В 1821 г. Д.Н. Свербеев выступил в «Вестнике Европы» с большой статьей, посвященной разбору причин московского пожара в 1812 г. (статья эта вошла в виде приложения в первый том его записок). Отрицая участие Ростопчина в московском пожаре, Свербеев давал такой ответ (и «единственно возможный», по его мнению) на вопрос, кто сжег Москву: «Не мы, русские, и не они, французы, задуманно и заранее преднамеренно, и мы, русские, т.е. остававшиеся во время неприятеля в Москве, и они, французы, т.е. все галлы и все их двадесять язык, те и другие, но не задумано и не заранее намеренно. Может быть, в редких случаях и были между зажи-гателями русские по чувству ненависти к врагу и из мщения за жестокое с ними обращение неприятеля, но главнейшею причиной пожаров было отсутствие всякой дисциплины в неприятельском войске и всякого порядка между кочующими по городу толпами жителей». «Не должно ли будет согласиться, что Москве труднее было уцелеть, нежели сгореть при таких ужасных беспорядках, продолжавшихся не день, не два, целую неделю».

Если мы поставим вопрос, как сгорела Москва, то, в сущности говоря, замечаниями Свербеева, совпадающими с точкой зрения Михайловского-Данилевского, вопрос будет вполне исчерпан, надо лишь будет добавить, что первыми поджигателями-грабителями явились не французы, а русские. Полупьяная толпа, взвинченная прокламациями Ростопчина, растерзав Верещагина, направляется в то же время в Кремль и там с оружием в руках встречает неприятеля. Этой толпой, начавшей поджоги, руководили, конечно, не только корыстные цели, здесь сыграло роль и чувство инстинктивного самосохранения.

«Совершеннейшее безначалие царствовало в городе, — свидетельствует наполеоновский бюллетень от 16 сентября: пьяные колодники бегали по улицам и бросали огонь повсюду». И «когда узнали, — как бы добавляет в своих воспоминаниях сержант Бургонь, — что сами русские поджигают город, то уже не было возможности более удерживать нашего солдата: всякий тащил, что ему требовалось».

И кто бы ни поджег Москву (сознательно или бессознательно) — все равно не приходится удивляться тому, что полудеревянная Москва, при стоявшей засухе, при отсутствии средств для тушения пожара (пожарные трубы были вывезены по

распоряжению Ростопчина), при полной дезорганизации, начавшейся еще за три дня до вступления французов, могла сгореть в несколько дней. «Кто как ни выставляй патриотизм, — замечает Александров в «Очерках моей жизни» («Р. Арх.», 1904), — но и Москва в 1812 г. горела немало от своих же злоумышленников». И совершенно понятно, что французам приходилось постоянно защищать мирных обывателей. Об этом рассказывают почти все мемуаристы.

К этой версии в 1813 г. должен присоединиться и Лонгинов, утверждавший в письме к Воронцову тотчас же после пожара: Бонапарт «в своей жестокости и отвратительной ярости превратил в пепел» Москву. В январе он уже делает оговорку для своего корреспондента: «Надо предположить, что Москву мы зажгли наравне с французами».

Но при всем том можно ли игнорировать так решительно утверждение французских источников, что пожар был подготовлен Ростопчиным? Можно ли, по крайней мере, отрицать всякое участие Ростопчина в пожаре? Французские источники в один голос указывают на Ростопчина, как на одного из виновников пожара. «L'incendie de Moscou a 6t6 consu et prepare par le general gouverneur Rostopchine», — гласили бюллетени великой армии. Они утверждали, что поймано до 300 поджигателей со взрывчатыми веществами, что при царившем безначалии пьяные колодники бегали по улицам и бросали огонь.

Наиболее полное объяснение пожара, как акта, приуготовленного заранее, мы найдем в протоколе от 24 сентября военной комиссии, судившей поджигателей в числе 26 человек. [116] Комиссия свидетельствует, что на суде фигурировали «разные вещи, употребленные к зажиганию, как-то: фитили ракет, фосфоровые замки, сера и другие зажигательные составы, найденные частью при обвиненных, а частью подложенных нарочно во многих домах». Эти зажигательные средства, по мнению комиссии, были приготовлены Шмитом (т.е. известным нам Леппихом): «построение великого шара только выдумано для того, чтобы скрыть истину». В подтверждение комиссия ссылалась на прокламации Ростопчина с угрозой сжечь французов, если они осмелятся войти в Москву. Таким же доказательством являлся для нее выпуск из тюрьмы преступников, которым дана свобода с тем, чтобы они «подожгли город в двадцать четыре часа» по вступлении французских войск. Затем, — свидетельствует протокол комиссии, — «разные офицеры, военнослужащие в российской армии и полицейские чиновники получили тайно приказ остаться в Москве, будучи переодеты, чтобы распоряжаться зажигателями и дать им сигнал к запалению».

Наконец «бессомнительно доказано, что губернатор Ростопчин, для отнятия всех средств тушить пожар, приказал вывезть… из 20 кварталов в Москве все пожарные трубы, дроги, крючья, ведра и все проч. пожарные орудия». Все это явно доказывает, что «пожар произошел от уложенного плана».

Первый официальный историк Отечественной войны назвал процитированный протокол военной комиссии сцеплением «вымыслов и лжи». Но уже Богданович несколько мягче выразился о военно-судебной комиссии: здесь «ложь перемешана с истиною». И действительно, если вся концепция французской версии, быть может, и не выдерживает критики, то почти все отдельные факты, приведенные военно-судной комиссией, не могут быть аннулированы.

Вопреки утверждениям официальных историков, «колодники» не были вывезены из Москвы: брошенные на произвол судьбы, обреченные к полуголодному существованию, они участвовали и в упомянутых выше «патриотических» подвигах и в разграблении домов — им ничего другого и не оставалось делать. В составе 26 подсудимых мы видим поручика 1-го Московского пехотного полка Игнатьева, солдата и девятерых полицейских (Soldats de police a Moscou). Из свидетельств самого Ростопчина мы знаем, что он выбрал нескольких наиболее надежных полицейских, которые должны были остаться в Москве и доносить московскому градоправителю о положении дел. Они остались и исправно отправляли свою миссию, за что впоследствии были вознаграждены.[117] Что же касается зажигательных веществ, найденных в домах и у подсудимых, то и здесь, несомненно, была доля правды. У нас нет никаких реальных оснований утверждать, что зажигательные снаряды, фигурирующие в качестве» вещественных доказательств в протоколах французской военной комиссии, являются вымыслом. Основания могут быть исключительно лишь психологические — Наполеону выгодно было для реабилитации в общественном мнении представить дело таким образом. Как ни сильны подчас бывают для исторических выводов подобные соображения, все же они требуют проверки. Бесспорно, шар Леппиха сам по себе не имеет никакого отношения к пожару (среди ранних иностранных историков высказывалась мысль, что Леппих дал первую мысль о сожжении).[118] Но после Леппиха остались «горючие материалы». Это факт, не подлежащий сомнению. Они и послужили, по словам Ростопчина, «предлогом, за который с жадностью ухватились, чтобы доказать, что в этой лаборатории приготовлялись зажигательные материалы для сожжения Москвы».

Но как быть с тем, что все французские мемуаристы,

современники, участники великой армии — солдаты и офицеры без различия, действительно, в один голос утверждают, что у поджигателей были «горючие материалы». Возьмем ли мы сержанта Бургоня, возьмем ли кого-нибудь другого — мы встретим все одно и то же в различных вариациях. Нет ничего более легкого, как утверждать, что все эти показания очевидцев недостоверны, что все это — позднейшие повторения французской официальной версии. Но есть ли для этого какое-нибудь основание? Подчас рассказ очевидца отличается такой непосредственностью, что сразу можно увидать, где он рассказывает с чужих слов, по слухам, и где передает личные впечатления и наблюдения. Несомненно, рассказы очевидцев окрашены большой дозой субъективизма, детали часто очень недостоверны, но это все же не повод для поголовного отрицания их рассказов. Сержант Бургонь в своих воспоминаниях много раз рассказывает, как он со своим патрулем наталкивался на поджигателей с «факелами», перебегавших из одного дома в другой, он рассказывает, как ему приходилось охранять, по просьбе мирных обывателей, дома от поджогов и т. д. «По крайней мере, две трети этих несчастных (забранных в плен патрулем) были каторжники… остальные были мещане среднего класса и русские полицейские, которых легко было узнать по их мундирам». Свидетельство простого сержанта, рассказ о непосредственных наблюдениях представит, конечно, гораздо большую ценность, чем знаменитый рассказ Сепора, всецело передающий официальную версию о пожаре, поджигателях и ракетах. Возьмем ли мы артистку Луизу Фюзи (Fusil, «Souvenirs d'une femme sur la retraite de Russie»), возьмем ли итальянца офицера Ложье (Laugier, «La grande агтёе»), возьмем ли полковника Комба («M6moires»), возьмем ли генерала Дедема («Memoires»), возьмем ли письмо Марэ, герцога Бассано, датированное 21 сентября (Chuquet, «Lettres de 1812»), — мы повсюду встречаемся с одним и тем же. Единогласие поразительно. Марэ говорит о «горючих материалах», найденных в домах, а капитан Бургоэн, остановившийся в доме Ростопчина на Лубянке, рассказывает, как вскоре после прибытия в трубах была обнаружена кадка с фитилями, ракеты и т. д. Последнее сообщение особенно любопытно… То же подтверждает Боссе, который передает со слов д-ра Жоанно, жившего там, что в печных трубах ростопчинского дома были найдены взрывчатые вещества и горючие материалы.[119]

Однородные факты, сообщаемые иностранными мемуаристами, во всяком случае, показывают, что московская полиция во главе с Ростопчиным замешана в пожаре. Сообщения

современников-иностранцев можно добавить и сообщениями русских современников (напр., о горючих веществах, спрятанных в некоторых домах, о поджогах людьми, нанятыми Ростопчиным, говорит ген. Левенштерн в своих воспоминаниях). Но в особенности приходится обратить внимание на показание одного из самых достоверных свидетелей-очевидцев московских событий летом и осенью 1812 г. — Бестужева-Рюмина. В своем «Кратком описании» он рассказывает, как он пошел посмотреть (в то время, когда французы еще не вступили в город), что делается в городе. «На Лобном месте, что близ кремлевских Спасских ворот, площадь была полна народу, так что тесно было; в воздухе же был нестерпимый смрад от того, что лавки москотильного ряда были уже зажжены, и, как говорили, зажигал лавки сам частный пристав городской части, какой-то князь». Глинка передает другую версию: «Я слышал от гравера Осипова, шедшего мимо рядов в день оставления Москвы, что в москотельный ряд брошена была бомба».

Если мы сопоставим эти факты с предписанием Ростопчина 1 сентября полицмейстеру Ивашкину о вывозе пожарных труб с приказом его разбить бочки со спиртом и водкою, с распоряжением о сожжении комиссариатских барок у Симонова монастыря и Красного Холма (что и было исполнено «по мере возможности, в виду неприятеля до 10 часов вечера», как доносил пристав Вороненко), то еще очевиднее будет довольно деятельное участие московской полиции в первых поджогах.

Ростопчин выражал полную уверенность, что Москва сгорит, как только вступят в нее французы.[120] Мы сошлемся в данном случае не на намеки, которые делал Ростопчин в своих объявлениях московскому населению или в ранних письмах к Багратиону и разговорах с Ермоловым. Напр., Багратиону 12 августа он писал: «Народ здешний умрет у стен московских, а если Бог не поможет, обратит город в пепел»; сошлемся не на апокрифическую в значительной степени беседу, которую ведет перед отъездом из Москвы Ростопчин с своим младшим сыном и которую передает внук Ростопчина Сегюр: «Приветствуй Москву в последний раз, через ½ часа она будет в огне», и не на свидетельство принца Евгения Вюртембергского, что Ростопчин считал лучше сжечь Москву, чем отдавать ее французам. По словам автора, Ростопчин перед советом в Филях сказал ему: «Если бы меня спросили, то я бы сказал: уничтожьте город прежде, нежели отдавать его неприятелю».

Мы сошлемся лучше на два письма Ростопчина от 1 сентября, из которых одно было адресовано императору Александру, а другое — жене. «Москва в руках Бонапарта будет пустынею, если

не истребит ее огонь, и может стать ему могилою», — пишет Ростопчин императору. «Город уже грабят, — сообщает Ростопчин жене, — а так как нет пожарных труб, то я убежден, что он сгорит». «Я хорошо знал, — пишет Ростопчин через неделю жене (9 сентября), — что пожар неизбежен». Правда, через два дня он приписывает себе только мысль о сожжении Москвы, которую не удалось выполнить. «Моя мысль поджечь город до вступления в него злодея, — сообщает 11 сентября Ростопчин жене, — была полезна. Но Кутузов обманул меня… Было уже поздно…» Через месяц, 13 октября, почти то же Ростопчин повторяет и Александру: «Скажи мне два дня раньше, что он (Кутузов) оставит Москву, я бы выпроводил жителей и сжег ее».

Многие хотят видеть в последних указаниях как бы подтверждение того, что Ростопчин, лелея, быть может, мысль о сожжении Москвы, фактически не принимал в нем участия. Вряд ли, однако, это отрицание может опровергнуть приведенные выше показания. При всех разговорах и намеках на возможность сожжения Москвы действительность и сознание современников были очень далеки от такой возможности. При том впечатлении, которое произвел на русское общество пожар Москвы; при том негодовании против варварского поступка французов, какое он вызвал, — признание со стороны Ростопчина, что он участвовал в сожжении Москвы, хотя бы даже с патриотической целью, показалось бы чудовищным и вызвало бы скорее бурю негодования. Ростопчину неизбежно приходилось молчать о своем «патриотическом» подвиге. Нельзя забывать и того, что только в официальных реляциях можно было утверждать, что Москва оставлена пустой, что из нее все вывезено. Современники, зная правду, конечно, не верили подобным сообщениям, тем более что в момент оставления Москвы, в момент бегства из Петербурга решительно никаких сознательных патриотических целей не ставилось. Содействуя поджогам Москвы, не ставил каких-либо сознательных патриотических целей и сам Ростопчин: это была простая месть человека, находившегося «в крайне раздраженном состоянии», «слепая ненависть», как выразился один из современников. Ростопчин подводил итоги своим многочисленным обещаниям, которые все оказались мыльными пузырями. И эта «слепая ненависть» отзывается, действительно, чем-то «скифским», если мы припомним, что в Москве на милосердие неприятелей оставляли тысячи русских раненых…

В совершении акта сожжения Москвы могло сказаться и обычное упрямство Ростопчина — «упрям, как лошак», — сказал он сам про себя.[121] Раз народилась в уме Ростопчина мысль, он ее осуществлял вопреки логике, вопреки изменившимся

обстоятельствам, вопреки, наконец, простому здоровому смыслу, участник кампании 1812 г. А.А. Щербинин, считавший инициатором пожара Ростопчина, так говорит по этому поводу: «неизвестно внутреннее побуждение Р., полагал ли он лишить французов пристанища или обратить на возненавиденного им Кутузова проклятие России за гибель Москвы».

При таких условиях Ростопчину о своем «подвиге» приходилось умалчивать и стирать следы своего участия в московском пожаре.[122] Вернувшись в Москву после французов, Ростопчин еще в большей мере должен был считаться с враждебным настроением тех, кто потерпел материальные убытки от пожара. Он сам признавался в письме к Воронцову, что «многие верят ему», т. е. Наполеону. И мы видим, что Ростопчин принимает довольно энергичные меры к прекращению нежелательных слухов: он еще с большим усердием предъявляет обвинение в политической неблагонадежности и отдает в «рекруты» тех, которые «много врут о разорении Москвы…»

Проходят годы. Непосредственные впечатления от пожара ослабевают. За границей творится «патриотическая легенда» о пожаре Москвы. Ростопчин делается европейской знаменитостью. Его поступок с сожжением собственного поместья Воронова возводится в перл патриотического воодушевления. «Сожигатель Эфесского храма, — говорит Вильсон, — доставил себе постыдное бессмертие, разрушение Воронова должно остаться вечным памятником русского патриотизма». Ростопчин чрезвычайно чувствителен к славе. Лучше всего это может показать письмо, адресованное из Москвы 28 апреля 1814 г. Воронцову: «Сделайте же мне одолжение, устройте, чтобы я имел какой-либо знак английского уважения, шпагу, вазу с надписью, право гражданства». Ростопчин прекрасно сознает, что его «известность держится на пожаре Москвы», как пишет он одной из своих дочерей. Бонапарт «соделал своими ругательствами имя мое незабвенным». «В Англии народ желал иметь мой гравированный портрет», «в Пруссии женщины модам дают имя мое» — так характеризует Ростопчин свою заграничную популярность. Человек столь мелкого самолюбия упивался своей славой, хотя бы она основывалась на «скифском» поступке. Ростопчин попадает в Париж, где он разыгрывает из себя знаменитость. Все его хотят видеть. Издаются его портреты с подписями «L'incen-diaire Rostopchine». Московский властелин в отставке удовлетворен и вовсе не намерен возражать против тех «ругательств», которые, по собственному признанию, создают ему славу. И только в 1823 г. Ростопчин выступает с знаменитой брошюрой «La v rit sur l'incendie de Moscou», в которой пишет: «я отказываюсь от

прекраснейшей роли эпохи и разрушаю здание своей знаменитости». Зачем издал Ростопчин эту брошюру через десять лет молчания? «Он хотел сложить ответственность с одного себя за последствия пожара, — отвечает внук Ростопчина. — Он хотел вернуться в Москву, и зная, что его "патриотический подвиг" на родине далеко не возбуждает того восторга, уважения или любопытства, как в Западной Европе, пишет брошюру, которую посылает своим компатриотам, как "залог для примирения"». Ростопчин в ней стоит на так называемой «патриотической» точке зрения. «Главная черта русского характера, — пишет он, — есть некорыстолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивать ссору следующими словами: "не доставайся уже никому"… "Я слышал следующее выражение: "лучше сжечь"… Я видел многих людей, спасшихся из Москвы после пожара, которые хвалились тем, что сами зажигали свои дома».

Казалось бы, писал Свербеев в своей статье о пожарах Москвы, что после такого резкого отречения Ростопчина от возводимого на него подвига, после такого искреннего и вместе насмешливого на то негодования с первых строк его знаменитой брошюры,[123] после всех приведенных им в ней доказательств, что он никогда не замышлял сожжения Москвы,[124] современники и потомство оставят его память в покое и перестанут прославлять его имя небывалым подвигом. Напротив того, чем более отдалялась от нас знаменитая эпоха, тем упорнее стали мы писать, печатать, проповедовать, «что Москву сжег Ростопчин, что Москву сожгли русские».

Так утверждает, напр., Хомутова в своих воспоминаниях, которые писались через двадцать лет: «никто не сомневался, что пожар был произведен по распоряжению гр. Ростопчина: он приказал раздать факелы выпущенным колодникам, а его доверенные люди побуждали их к пожару». Мы уже цитировали мнение самого Свербеева, с которым в значительной степени нельзя не согласиться. Но это мнение нисколько не опровергает участие Ростопчина в поджогах — оно свидетельствует только, что не было никакого разработанного правительством плана сожжения Москвы, что Москва вовсе не была вольной жертвой «нашего патриотизма».

ЕЩЕ О РОСТОПЧИНЕ

1. РОДСТВЕННИКИ О РОСТОПЧИНЕ [125]

Воспоминания г-жи Нарышкиной, старшей дочери мнившего себя «спасителем отечества» московского градоправителя в 1812 г., гр. Ф.В. Ростопчина («Le comte Rostopchine et son temps»), могли бы представить значительный интерес, так как дочери Ростопчина в знаменательную годину было уже 15 лет, и она, следовательно, была свидетельницей, которая сознательно могла воспринимать явления окружавшей жизни. Воспоминания, написанные в 60-х годах, на склоне лет мемуаристки, давали возможность отнестись объективно к событиям давних лет и подойти к ним, не поддаваясь тому вихрю субъективных восприятий, которые в значительной степени мешают многим и многим мемуаристам того времени нарисовать подлинную картину эпохи, покрытую в устах современника флером несколько сентиментального патриотизма. И только исторический скальпель выскребает обыденную жизненную прозу из документов и сухих архивных дел, передающих факты, а не настроения.

К сожалению, воспоминания Нарышкиной в качестве исторического источника обесценены той определенной целью, которой задавался автор — возвеличить своих родичей. Вся книга написана для восхваления великого деятеля, неоцененного потомством. Это — апология, апология неудержимая, не считающаяся с фактами. Написанная через много лет по обрывкам личных воспоминаний или записей, сделанных с чужих слов или со слов столь любившего всегда себя возвеличить отца, книга полна фантастическими измышлениями, повторением без проверки всех тех легенд, которые передал потомству сам Ростопчин в своих записках: личные наблюдения автора, как современника, не дали ему возможности ориентироваться сколько-нибудь удачно в фактах.

Странная судьба Ростопчина. То фаворит, то фрондирующий вельможа в опале, то герой на час, то кумир, низвергнутый с пьедестала «спасителя отечества», низвергнутый, в сущности, той же консервативной дворянской оппозицией, которая выдвинула его в 1812 г. чуть ли не на первое место. Что же это, судьба большого человека? Отнюдь нет. Ростопчин был маленький человек, умевший себя, однако, прекрасно рекламировать,

человек огромного самомнения и самого бесстыдного бахвальства.

Еще при жизни Ростопчину пришлось заниматься самореабилитированием, и с этого момента реабилитация Ростопчина безостановочно продолжается — и все неудачно. Старательно реабилитировала и реабилитирует его националистическая историография, пытающаяся изобразить Ростопчина как образец для патриотического подражания. Безуспешно тем же делом занимается и потомство Ростопчина. Внук последнего гр. Сепор с этой целью выпустил в 1871 г. целую книгу «Vie du comte Rostopchine»; за ним несколько лет тому назад последовала внучка гр. Л.А. Ростопчина (дочь младшего сына Андрея[126]); ныне издаются воспоминания старшей дочери — Наталии. Последние пытаются прибавить новый штрих в реабилитации.

Воспоминания писались, как мы знаем, в 60-х годах, в период одних из тех медовых месяцев русской общественности, которые спорадически выплывают у нас на поверхности. И, пером дочери, Ростопчин становится уже либералом, горячим противником крепостного права, за что его и возненавидела аристократия. Читатель, хоть немного знакомый с биографией Ростопчина и с основами его мировоззрений, ясно видит, какие метаморфозы происходят под родственным пером: крепостник становится убежденным защитником крестьянской свободы. Если послушать дочь Ростопчина, то окажется, что последний, в юных годах пораженный низостью окружающей знати и угнетением бедного народа (peuple des campagnes), отправляется за границу с исключительной целью найти нравственное противоядие в изучении быта и нравов других народов. Он делается англоманом — поклонником и моральных качеств английского народа, и его политического устройства. Здесь, в Англии, Ростопчин усвоил то понятие «чести» (слово, незнакомое в русских вокабулах), которое руководило им впоследствии во всех деяниях.

Как далеки все эти черты от действительности, наилучшим образом показывают письма самого Ростопчина к его другу кн. Цицианову в первые годы XIX века. В период наибольшего своего либерализма, именно в тот момент, когда, находясь не у дел, Ростопчин заигрывал с бывшими екатерининскими мартинистами, на которых впоследствии возводил наиглупейшие обвинения, он в таких словах отзывался о той Англии, которая, по словам дочери, явилась его как бы политической воспитательницей: «Я ничего гнуснее правил Аглицкого министерства не знаю, а между глупыми привычками в людях

говорят: honnete comme un Anglois». (Письмо 30 марта 1804 г.) Он резко осуждает, напр., адм. Чичагова за то, что тот «отъявленный якобинец на аглицкую стать», и вообще всех тех, кто делает Россию «орудием губительной Аглицской политики». Ростопчин в это время за «Бонапарте»…

Такую же историческою подлинность имеют и все остальные свободолюбивые мечты. Только в воображении г-жи Нарышкиной Ростопчин умоляет Александра I после 1812 г. дать политическую и социальную свободу тем, кто спас корону и честь России. Нарышкина убеждена, что если крестьянское освобождение 1861 г. обагрилось в России кровью, то только потому, что не было второго Ростопчина, который сумел бы на своем народном языке растолковать массе дарованную свободу… Однако должны быть пределы и для родственного чувства!

Если бы воспоминания г-жи Нарышкиной были изданы лет сорок назад, они представляли бы еще значительный интерес, так как заключают в себе многочисленные выписки из записок и писем Ростопчина, но теперь, когда и переписка и записки Ростопчина опубликованы в подлинном своем виде, выдержки уже не имеют такого значения. Приходится отыскивать новые штрихи, что довольно затруднительно, так как издатели не потрудились сделать никаких объяснений, ссылок.[127] Пожалуй, новых черт мы не найдем в воспоминаниях Нарышкиной, если только отбросить давно опровергнутые сказки о Верещагине и приведенные выше вполне фантастические характеристики свободолюбивых мечтаний гр. Ростопчина. Но зато в воспоминаниях дочери найдутся новые нюансы для подтверждения ростопчинского бахвальства.

1815 год. Дочь громко читает отцу «Певца во стане русских воинов» Жуковского. Чтение вызывает такое замечание со стороны Ростопчина: «Если Гомер жил бы в наше время, я думаю, что он счел бы меня достойным фигурировать среди Гектора и Ахилла, но Жуковский в своей "Илиаде" боится не понравиться императору, говоря обо мне».

Передавая некоторые беседы «героя» 1812 года, Нарышкина и не подозревает, что она тем самым с поразительной отчетливостью вскрывает ту подоплеку комедианства, которая лежала в основе геройских подвигов одного из наиболее прославившихся патриотов Отечественной войны.

1 сентября в 5 час утра Ростопчин прощается с уезжающей семьей. Дрожащим от волнения голосом он с пафосом говорит, что ему, как начальнику города, предстоит разделить все опасности с народом и, быть может, погибнуть в битве. Как хорошо известно, Ростопчин и не думал ехать на «Три горы», куда

призывал население. Это была одна из привычных ему буффонад. Спрашивается, однако, если он морочил население сознательно в целях своеобразного успокоения, то для чего он делал это по отношению к собственной семье? Психологически это было бы совершенно непонятно, если бы неискренность и поза не были второй натурой Ростопчина.

В воспоминаниях Нарышкиной находится подтверждение одного факта, который до сих пор в литературе продолжает быть спорным, — факта участия Ростопчина в Московском пожаре. Все поклонники Ростопчина настаивают на этом факте, видя в нем проявление наибольшего ростопчинского героизма и его патриотической мудрости. Большинство исследователей не видят, однако, в пожаре Москвы элементов сознательно продуманного плана и отрицают активное участие в нем Ростопчина. Москва сгорела сама по себе. Я очень далек от какого-либо преклонения перёд фальшивым образом демагога-барина и очень мало склонен видеть в Московском пожаре акт патриотического самопожертвования — для этого решительно никаких данных нет. Но участие Ростопчина для меня является несомненным — это была еще новая буффонада.

Нарышкина всю историю рассказывает в обычном духе националистической и родственной историографии. Она повествует о том, что 31-го ночью у Ростопчина было таинственное совещание с начальником полиции Брокером, приведшим на совещание несколько обывателей и полицейских, которым и были даны соответствующие инструкции. Нарышкина прибавляет, что в 1819 году, когда она уезжала из Парижа, отец поручил ей передать 5000 фр. двум женщинам, Прохоровой и Герасимовой, в качестве вознаграждения за хорошо исполненное их мужьями поручение.

К сожалению, только приходится сделать оговорку, что при чтении воспоминаний Нарышкиной невольно очень мало им доверяешь, и не только потому, что она рассказывает в большинстве случаев, по слухам и с чужих слов, — дочь восприняла по наследству многие качества отца, заставляющие вообще относиться с большой осторожностью к ее рассказам; и прежде всего это столь типичное для Ростопчина самовосхваление, заставлявшее его так часто говорить сознательно неправду.

Мы могли бы, казалось, более доверять Нарышкиной там, где она говорит о семье, о взаимных отношениях между отдельными членами, отца, матери и детей. Интимная жизнь иногда дает очень много материала для характеристики внутренних переживаний описываемой личности, дает возможность глубже

войти в психологию лица и вскрыть иногда побудительные причины того или иного его действия. Но, конечно, в изложении Нарышкиной и отец, и мать, и дети — все это персонажи исключительных добродетелей, обладающие исключительными для своего времени интеллектуальными и моральными качествами.

Семья Ростопчина — семья выдающаяся. О добродетелях самого Ростопчина мы хорошо осведомлены. Послушаем теперь характеристику его супруги. Она обладала доблестями «настоящей римской матроны: благородством, независимым характером, стоицизмом», которые дочь не встречала ни в одной женщине русской нации. И так далее в том же духе. В данном случае родственники разошлись в оценке своих родичей, и в упомянутых воспоминаниях внучки мы встретим совершенно иную характеристику бабки. В изображении графини Лидии Ростопчиной ее бабка является женщиной, преисполненной пороков. Как другие потомки Ростопчина употребили много энергии и силы для восстановления его утраченного в истории облика рыцаря без страха и упрека, так внучка давно уже поставила своей задачей «рассказать правду» о графине Екатерине Ростопчиной и с этой целью в 1904 г. выступила в «Историческом Вестнике». В изображении внучки, это была жестокая, черствая женщина, фанатично преданная католичеству, бывшая слепым орудием в руках иезуитов. Насколько справедлив такой образ? Воспоминания внучки, как и все, что выходит из-под пера семьи Ростопчиных, крайне тенденциозны. Патенты на право именоваться великими людьми раздаются чрезвычайно легко. И, вероятно, образ жены Ростопчина в значительной степени сгущен в своих отрицательных свойствах. Бабка не сходилась с матерью автора воспоминаний (небезызвестной московской поэтессой, само собой разумеется, заслужившей, по мнению дочери, бессмертия в России). Вероятно, эта вражда положила неизбежный отпечаток на характеристику внучки. Но, несомненно, что живописуемая «доблесть римской матроны» сильно тускнеет при сопоставлении двух родственных характеристик.

Но как же уживались неудержимые патриотические чувствования Ростопчина, приводившие его в 1812 году к человеконенавистнической проповеди, с той полной противоположностью, которую представляла его жена. Ведь почти неизбежно при искренности здесь должна была создаться почва для семейной трагедии, для тяжелых внутренних переживаний. Ничего подобного не было — это свидетельствует все описание и дочери, и внучки.

Скажут, потому, что Ростопчин обожал свою жену. Не только потому. У Ростопчина всегда были две физиономии: одна — напоказ, другая — сама по себе. И первая постоянно видоизменялась в зависимости от обстоятельств. Весь шовинизм Ростопчина в некоторые периоды его жизни не шел далее выступлений напоказ. Все его французские вкусы московского барина той эпохи оставались во всей неприкосновенности. И это очень ярко показывают воспоминания его собственной дочери. А при таком жизненном укладе, естественно, и не было семейных разногласий. В жизненном обиходе Ростопчина не было ничего такого, что соответствовало бы представлениям ефремовского дворянина Силы Андреевича Богатырева — литературного идеала графа Ростопчина.

После прочтения воспоминаний Нарышкиной фигура московского патриота для нас остается такой же, как прежде. Ростопчин человек ума маленького и весьма сомнительных моральных добродетелей. Но поставленный судьбою в годину сильного национального подъема на ответственный пост, Ростопчин, как в фокусе, собрал в себе все то отрицательное, что, к сожалению, почти всегда прилепляется к здоровому чувству патриотизма. Именно потому, что Ростопчин был человек очень некрупного калибра, все уродливые наросты, связанные с неправильным пониманием истинного патриотизма, выливались у него в безобразную форму грубого шовинистического задора, другими словами — в проповедь человеконенавистничества.

Правда, когда лично переживешь время, похожее на эпоху, в которой действовал Ростопчин, пожалуй, отнесешься к нему с большей снисходительностью. Ростопчины если не рождаются, то проявляются на общем фоне общественных настроений; они лишь более ярко проявляют то, что в силу какой-то роковой неизбежности переживает едва ли не значительное большинство общества, охватываемого каким-то психозом.

2. РОСТОПЧИН В ОЦЕНКЕ А.А. КИЗЕВЕТТЕРА [128]

Ростопчина многие порицали до 1812 г. и ненавидели после подвигов его в период московского властвования. Его слава «спасителя отечества», основывавшаяся в значительной мере только на личном самохвальстве, очень быстро закатилась. Но история не переставала им интересоваться, потому что судьба заставила его играть крупную роль в общественной жизни своего времени, поставив его в центр событий. Ростопчину

посчастливилось в исторической науке.

Как в жизни Ростопчин умел своим бахвальством внушать веру в себя в некоторых слоях общества, сумел еще при жизни сделаться знаменитостью, так и в историю и историю литературы он сумел войти все-таки, как крупный, незаурядный человек, своеобразный, оригинальный и талантливый писатель. Это признавал даже такой большой ученый, как Тихонравов. И едва ли не один Л.Н. Толстой еще в «Войне и Мире» дал поразительно жизненную, психологически понятную, ничтожную фигуру истинно-русского барина с его фальшивой демагогической публицистикой. Нравственная личность Ростопчина, столь ярко проявившаяся в расправе с Верещагиным, встретила всеобщее осуждение в потомстве. Развенчан был лишь его героизм, но и только.

Естественно, что при таких условиях, когда приходится говорить о Ростопчине, вынужден бываешь полемизировать и низводить Ростопчина все же с некоторого пьедестала, на который незаслуженно поставлен он как исторический деятель. Так пришлось поступить и автору этих строк в статье, посвященной Ростопчину как деятелю 1812 г. Некоторым критикам (напр., в «Современнике») показалось странным такое литературное донкихотство — развенчивать того, кто уже давно развенчан. Последнее не только неверно по отношению к прошлому, но и к самому близкому настоящему.

Как приходилось уже указывать, как раз в новейшей работе в. кн. Николая Михайловича «Александр I» делается сочувственная оценка деятельности Ростопчина в 1812 г.[129] Но вот и другая чрезвычайно ценная работа, в которой, конечно, нельзя ожидать найти признания положительных сторон за деятельностью Ростопчина, как представителя крепостнической публицистики и дворянско-националистических стремлений; нельзя и встретить сочувствия к тому бюрократическому произволу, который характеризует собой все поступки московского властелина в 1812 году. Я имею в виду напечатанные в «Русской Мысли» (декабрь 1912 и январь 1913 г.) статьи А.А. Кизеветтера «Политические и социальные воззрения гр. Ф.В. Ростопчина».[130]

По обыкновению, написанные ярко и образно статьи автора полемизируют косвенно с теми «из современных нам писателей», которые «тотчас покидают спокойный тон, начинают волноваться, сердиться и спорить, лишь только им приходится коснуться деятельности Ростопчина». Автор припоминает, что и современники не могли спокойно говорить о Ростопчине, что Ростопчин привлекал всеобщее к себе внимание, и это, по мнению А. А. Кизеветтера, a priori уже доказывает, что Ростопчин

незаурядный человек. Итак, автор не согласен с «порицателями Ростопчина в наше время», склонными «преуменьшать размеры личных дарований» этого деятеля и склонными считать, что «его прославленное остроумие не шло дальше пошлых и плоских претензий на острые словечки». Но остроумие само по себе не есть еще патент на ум, тем более, что грубое остроумие Ростопчина действительно принадлежало к числу самых низких по пошибу.

Этого не отрицает и А. А. Кизеветтер, но в том факте, что подчас плоские ростопчинские шутки, в которых «не было ни тени истинного остроумия», имели большой успех в московских гостиных, автор видит как бы некоторое оправдание для Ростопчина: принужденный «жить и ладить с этим обществом, он должен был спускаться до уровня его умственных интересов». Конечно, в «московских гостиных» было множество «нравственных карикатур», как выразился К.Н. Батюшков. «Смеяться всему, что бы он ни сказал, считалось в обществе обязательным», — говорит в своих воспоминаниях одна из московских обывательниц того времени Хомутова.

Возьмем для примера небезызвестного А.Я. Булгакова, занимавшего в 1812 г. пост домашнего секретаря гр. Ростопчина. Его личные воспоминания и многочисленная переписка ярко очерчивают убогую фигуру ростопчинского alter ego. Пресмыкаясь перед своим шефом, восторгаясь его грубыми буффонадами, Булгаков всю любовь к отечеству видел в наивозможных ругательствах по отношению к французам и заподозренным в революционных помыслах русским «мартинистам» и «якобинцам». Эти враги отечества мерещились испуганному уму в каждом либералисте.

Ту же психологию, те же речи и слова мы найдем и у Булгаковского друга, чиновника петербургского почтамта И.П. Оденталя (его письма о «петербургских новостях и слухах» в 1812 г. опубликованы в «Русской Старине» С О. Долговым).

Сходство до удивления близкое. Конечно, он «истинный патриот», боится «иллюминатов» и в восторге от назначения «благодетеля рода человеческого», «настоящего русского барина» гр. Ростопчина на ответственный пост московского генерал-губернатора: он «истребит с корнем нечестивых», т.е. либеральные элементы, которые искони не понимали «национальных стремлений и идеалов» России, т.е. России «настоящей».

Булгаков, Одентaль — маленькие люди, которые своими маленькими голосами вторили зычному голосу «великого мужа», «незабвенного для России» и «увенчанного бессмертием»

«вельможи» графа Феодора Васильевича Ростопчина. Оденталь убежден, что «исключая малого числа негодяев, никто без благоговения имя графское не произносит». Мы знаем, что Оденталь ошибался, ростопчинские буффонады далеко не всем современникам так нравились.

Если бы все русское общество того времени было так нравственно низко, если бы оно состояло почти исключительно из Булгаковых и Оденталей, непонятно было бы, почему оно так возмутилось расправой Ростопчина с Верещагиным, что А. А. Кизеветтер считает одной из главных причин опалы Ростопчина. [131]

Ростопчин не только салонный болтун, но как будто бы и видный писатель для своего времени. Здесь приходится предоставить оценку Ростопчина, как писателя, историку литературы. Но нельзя не заметить, что А. А. Кизеветтер невысокого мнения о литературных достоинствах ростопчинских произведений, представляющих по стилю «рабское копирование чужих образцов» (литературы Екатерининской эпохи). Его известная комедия «Вести», по мнению автора, не более как литературный эфемерид. Чтобы оценить Ростопчина как писателя, по мнению А.А. Кизеветтера, надо подойти к Ростопчину не как к художнику, а как к публицисту. Здесь, однако, Ростопчин безнадежно слаб; его произведения не возвышаются над бездарными творениями других современных патриотических писателей. Вы не найдете у него ни одной оригинальной мысли, — все это шаблон галлофобов, и только ростопчинские «Мысли вслух» имели успех. А.А. Кизеветтер считает это как бы одним из доказательств того, что Ростопчин даровитый человек. Едва ли это так: неужели от того, что современники читали «бешеные» статьи «Сына Отечества» Греча или наивное патриотическое славословие «Русского Вестника» Глинки, мы признаем, что С.Н. Глинка был, напр., даровитый писатель? Позднейшая казенно-патриотическая литература Ростопчина, его знаменитые «афиши» с их фальшивым народным языком — образец скорее полнейшей бездарности. Они нравились некоторым, но почему-то всегда забывают сказать и про отрицательные отзывы современников, среди которых встречаются и такие: «глупые афиши», писанные «наречием деревенских баб» (Маракуев). Во всяком случае, успех литературных произведений «вельмож-патриотов» надо отнести на счет известных общественных настроений эпохи, а не литературных и публицистических их достоинств.

Что же касается личности Ростопчина, то надо сказать, что под пером А. А. Кизеветтера он вырисовывается в очень

неприглядных очертаниях. Приводя из жизни Ростопчина массу фактов, автор доказывает, что это был интриган «самого низменного сорта»; его жизнь дает пример «нравственной низости», «человеконенавистничества», «беззастенчивой лжи», «трусости», «злостных подлогов…» Неужели можно найти что-либо положительное в подобном человеке!

А.А. Кизеветтер находит: при всех «слабостях ему все же не были чужды стремления к известной духовной независимости». В чем же проявлялась эта «духовная независимость»? Подтвердить фактами здесь трудно. Автор приводит в доказательство независимые ответы Ростопчина гневливому Павлу. Взяты эти примеры из книги внука Ростопчина, гр. Сегтора, написанной в 1871 г. и представляющей малоценный панегирик деда. Эпизоды «касаются того, что могло произойти лишь с глазу на глаз между Павлом и Ростопчиным». И автору приходится сказать, что рассказы Сегтора следует «оставить в стороне». Независимость Ростопчина проявилась и в письмах к Александру I в период 1812 г. «Давать Александру совет таким тоном, похожим на требования и упреки, — говорит г. Кизеветтер, — позволяла себе только любимая сестра Александра, Екатерина Павловна». Письма действительно откровенны, резки и подчас назойливы. Но причина этой резкости не в том, в чем видит ее А.А. Кизеветтер. Следует припомнить таинственные нити, протянутые между тверским салоном Екатерины Павловны, Ростопчиным, Багратионом и др. К сожалению, для истории до сих пор еще в значительной степени являются загадкой создавшиеся здесь отношения, та цепь интриг и замыслов, о которых мы знаем лишь из обрывков, полунамеков и догадок. Но факт, что Ростопчин был назначен московским главнокомандующим вопреки личному желанию Александра, который не любил самомнительного и глупо назойливого графа. Ростопчин чувствовал за собой сильную поддержку. Именно потому, что он был неумный человек, он возомнил себя спасителем отечества, выступил с непрошеными советами и, когда роль спасителя отечества оказалась пуфом, стал сеять «верноподданнические» интриги, устрашая Александра ложными слухами о революции и т. п. Вряд ли эту черту можно отнести к числу черт, характеризующих нам «духовную независимость». Как ни мало обольщается А.А. Кизеветтер личностью Ростопчина, он все же видит у него «благородную смелость высказывать свои мнения». Но как же соединить это благородство с низким интриганством и малодушием, столь часто проявленным Ростопчиным? Автор объясняет это противоречие так: «не стесняясь моральным принципом, Ростопчин в то же время твердо держался определенных

социально-политических принципов». Он «носился с фантастическим идеалом независимого гражданина, исповедующего идеологию политического рабства и увлеченного этой идеологией не за страх, а за совесть». «Ростопчин — отдаленная эмбриональная форма современных нам истинно русских приверженцев самодержавия с рабской идеологией, но с крамольным темпераментом, готовых с пеною у рта отстаивать абсолютную власть монарха, но лишь в уверенности в том, что эта абсолютная власть может служить не иначе, как интересам именно их группы». Но разве нет в этом признания некоторого противоречия? Какое же увлечение «рабьей идеологией» за «совесть» можно найти там, где защита этой идеологии основана на сознании своих сословных интересов: без самодержавия не будет и дворянства, говорили охранительные публицисты нач. XIX века, и в числе их гр. Ростопчин. И нам думается, что в этом отношении Ростопчин не выделялся из своей среды — среды крепостнически настроенного дворянства.

В заключение А.А. Кизеветтер выяснил ту социально-политическую подоплеку, которая лежала в деятельности Ростопчина. «Дворянским страхом, — говорит автор, — обусловливалось политическое реакционерство Ростопчина; им же объяснялся и его социальный консерватизм; из того же источника проистекал… и его национализм». Здесь автор безусловно прав. Но в одном, нам кажется, автор неправ — это именно в оценке дарований Ростопчина, личность которого служит для него «одним из ярких образцов того, в какой сильной степени умственные дарования иногда обесцениваются дефектом сердца». Если одни, быть может, и склонны «преуменьшать размеры личных дарований Ростопчина, то А.А. Кизеветтер, нам кажется, склонен к излишнему преувеличению их. По мнению автора, даже все поведение Ростопчина в 1812 г. диктовалось определенно выдержанной системой. Поступки Ростопчина в 1812 г. «при всей своей видимой легкомысленности, непродуманности и нелепости, в сущности, целиком вытекали из определенного склада убеждений, являлись неизбежным (?) выводом из законченного политического миросозерцания». Конечно, связь между поступками Ростопчина и его миросозерцанием («дворянским страхом») — несомненна. Но едва ли все поступки Ростопчина в 1812 г. можно объяснить только дефектом его миросозерцания. Продолжим параллель, проведенную А.А. Кизеветтером, и сравним Ростопчина с теми общественными типами нашего времени, родоначальником которых он был. Допустим, что личность Ростопчина не влияла на его поступки; все объясняется его «политическим

миросозерцанием». Не погрешим ли мы в таком случае во имя глубины исторического понимания реальной действительностью? Представим себе, что на место Ростопчина московским главнокомандующим в 1812 г. был бы назначен человек тех же воззрений, того же круга, но без ростопчинского темперамента и других ему присущих свойств. Неужели Москва явилась бы свидетельницей тех диких сцен, которыми сопровождалось ростопчинское властвование? Неужели темперамент таких недавних градоправителей, как ген. Думбадзе, Толмачев и т. д., не накладывал своего отпечатка на характер деятельности администраторов, проводивших в жизнь определенное политическое credo? Совершенно не колеблясь, приходится сказать, что деятельность этих лиц и в наше время приобретает исключительную, специфическую окраску. Так было и с Ростопчиным в 1812 г.

Мы отнюдь не можем признать действительно нелепую деятельность Ростопчина в 1812 г. продуктом продуманной системы, «неизбежным выводом из законченного политического миросозерцания». Не буду повторять тех фактов, которые характеризуют, по моему мнению, весьма неумные (чтобы не сказать большего) буффонады ставленника тверского салона, явившегося в Москву с определенным как бы уполномочием возжечь дворянские сердца патриотизмом и остановить крамолу. Его деятельность, как это ни странно, инспирированная отчасти иезуитами, его донкихотская борьба с фантомом революции и личными врагами, его фальшивая демагогия при инстинктивной боязни черни, его самохвальство и пускание «пыли в глаза», его вера в нелепые и глупые слухи, его афишированная театральность, дикое самодурство и человеконенавистничество, его трусливое хвастовство и обманы решительно всех и вся — пожалуй, очерчены уже достаточно. От этой шумихи получилась только ерунда, запутавшая еще более узел затруднений в те беспокойные дни, которые переживало население Москвы накануне иноплеменного нашествия.

Но если личность Ростопчина так мизерна, то какой же интерес может вызвать она в историке? Ведь тогда интерес будет только археологический, говорит А. А. Кизеветтер. Не совсем так. Автор сам показал, что Ростопчин воплотил в себе распространенный общественный тип. В личности Ростопчина этот тип обнаружил, до каких абсурдов может доходить практическое проявление тех общественных течений, которым дана привилегия выражать собой «настоящую Россию», ее национальные идеалы. Ростопчин интересен для истории и потому, что Ростопчины всегда существуют иу нас в России до

последнего времени властвовали, да, пожалуй, властвуют и теперь, интересен и потому, что его жизнь оказалась тесно связанной с событиями своего времени, и потому, что его личность не получила еще в истории правильной оценки.

Лишь Л.Н. Толстой своим художественным чутьем нарисовал правдивый облик крикливого самодура, и этот облик должен, по нашему мнению, войти в историю.

3. РОСТОПЧИН И МАСОНЫ [132]

Опубликованная Б.Л. Модзалевским в «Русском Библиофиле» интересная переписка Н.И. Новикова и А.Ф. Лабзина говорит, между прочим, о сношениях Новикова с гр. Ростопчиным. Эпизод любопытнейший, принимая во внимание позднейшие отношения гр. Ростопчина к масонам. Он ненавидел и преследовал в 1812 г. личного своего врага московского почт-директора Ф.П. Ключарева; не оставил в покое и Новикова в 1813 г., заподозривая его в изменнических намерениях, так как Новиков в своем Авдотьине лечил, между прочим, и французских раненых. Как известно, московский патриот не допускал человеколюбивого отношения даже к беззащитному врагу. Так боролся с «мартинистами» — врагами отечества — охранитель истинно русских основ в начале XIX века, в период, когда он был в зените славы и влияния, или когда подготовлял себе почву в тверском салоне вел. кн. Екатерины Павловны. Но было время, когда «спаситель отечества» в 1812 г. и вождь боевого национализма после Тильзита был в немилости и опале. Тогда у него с врагом отечества устанавливались совсем иные отношения. Друзья Новикова имеют высокое представление о гр. Ростопчине, как известно, умевшем пускать пыль в глаза, даже по собственному признанию. Лабзин, которого Ростопчин в 1804 г. именует своим «другом», стремится познакомить его с Новиковым. Последний отказывается в начале 1800 г. от этого знакомства, так мотивируя в письме к Лабзину свой отказ:

«Касательно до намерения вашего познакомить меня с известною особою (т. е. Ростопчиным) я буду отвечать откровенно и искренно. О сей особе наслышался я весьма много доброго, а более всего от Ф. П. (т. е. того самого Ключарева, которого преследовал Ростопчин в 1812 г. исключительно по личным мотивам), и имею к ней искреннее сердечное почтение и весьма, весьма великое уважение, но не вижу ни малейшей возможности к сближению нас, хотя бы того и желал, ибо он весьма высок, а я

весьма низок и пр., так что между нами весьма великое расстояние пустоты». «Какая цель сего сближения и знакомства? — продолжает Новиков. — Мирская, а я к ней сделался неспособным и диким. Знатные не терпят противоречия» и т. д. «Но ежели Вы думаете и уверены, что из сего познакомления может произойти то, что он полюбит известные материи (т. е. учение масонов), захочет в них упражняться… то да благословит Господь сие ваше намерение…»

К приведенным мотивам Новиков делает характерное добавление: «но я весьма опасаюсь, не философ ли он, т.е. не вольнодумец ли? (это ныне синоним) и не считает ли он наше любимое или глупостью, или скудоумием, или обманом только для глупых». Вот в чем был заподозрен идеолог дворянского крепостничества престарелым представителем екатерининского вольнодумства, всегда, впрочем, как и его ближайшие друзья, с опасением смотревший на «нечестивых татей философского имени», проповедующих идеи равенства и буйной свободы. («Излияния сердца» — И.В. Лопухина.)

Не забудем, однако, что незадолго до предполагаемого знакомства с Новиковым Ростопчин делал донос Павлу на мартинистов. Как это характерно для искреннего и последовательного Ростопчина, каким он рисуется некоторым нашим исследователям… Прошло несколько лет. Ростопчин уже числится в рядах фрондирующих московских вельмож; живет в деревне и занимается улучшением хозяйства по английскому образцу. На этой почве и происходит письменное знакомство с Новиковым. Последний пишет Лабзину 12 февраля 1804 г.:

«Некогда хотели познакомить дядю (т. е. самого Новикова) с гр. Ростопчиным, я тогда отказался. Времена, а с ними обстоятельства переменяются: ныне я прошу о сем, — и вот причина. Он объявил в газетах, что с 1 марта будет принимать учеников аглицкому земледелию… Я хочу отдать ученика».

Рекомендательное письмо от Лабзина Новиков получил, ученика послал и совершенно очаровывается любезностью знатной «особы». «Я не могу и по сие время, — пишет он 18 апреля, — из удивления выйти о характере и свойствах сего истинно-почтенного мужа… сожалеть только и сердечно болезновать, что он не в действующих». И действительно, будущий гонитель «мартинистов» и доноситель на масонов в самых лестных и дружественных выражениях говорит о своих симпатиях к новиковскому кружку.

«Общий друг наш Александр Феодорович (т.е. Лабзин), — писал Ростопчин Новикову, — чувствительно одолжил меня, доставя честь знакомства Вашего. Вы сему поверить должны,

когда узнаете от меня, что весьма с давнего времени почитание мое к Особе Вашей твердо основано было на известных мне правилах Ваших и рвении образовать столь нужное просвещение и нравственность в отечестве нашем. Вы претерпели обыкновенные гонения, коим превосходные умы и души подвержены бывают, и лучшие намерения Ваши обращены были ядом зависти в дурное, но Провидение, ставя злым раскаяние и стыд, наградило Вас спокойствием души и памятию жизни добродетельной. Наслаждайтесь сими бесценными дарами в тихом убежище Вашем и верьте, что слухи и молва народная не что иное для меня, как ветер и буря в атмосфере; но я их не люблю, предпочитая тишину всему на свете».

Последнее Ростопчин блестяще опроверг своим последующим отношением к тем, кого он считал в числе своих «друзей» в 1804 году.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ [133]

1812 год ознаменовался подъемом патриотических чувствований и настроений.

Современная литература, привыкшие к официальному виршеству стихотворцы, правительственные манифесты — наперерыв превозносили доблести и героизм русского народа, проявленные в период Отечественной войны. Неудержимый поток восторга, самого грубого шовинистического задора, издевательства над неудачей врага — вот что характеризует нам господствующий тон общественного настроения после двенадцатого года. Патриотические манифесты, составляемые Шишковым, провозглашали дифирамбы «верности и любви к отечеству, какие одному только русскому народу свойственны» (манифест 3 ноября 1812 года). «Войска, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовь к отечеству, колико любовью к Богу», — гласил манифест, подписанный Александром в Вильно 25 декабря 1812 г. За манифестами то же повторит и ранний историк: «Россия не во все времена от всех народов отличались любовью и привязанностью к престолу своих государей: но в Бонапартовскую войну… все стремились с неописанной ревностью на истребление врагов своих, нарушивших спокойствие их отечества».[134] Те же мотивы, как мы знаем, звучат и в «бешеных» статьях «Сына Отечества», и в благодарственных одах и патриотических песнях 1813 г. «Русский Сцевола» — одна из любимых тем карикатуристов. Этому восторгу отдает дань и будущий певец гражданственности, семнадцатилетний юноша Рылеев: «Низойдите тени героев, тени Владимира, Святослава, Пожарского!.. Оставьте на время райские обители! — Зрите и дивитесь славе нашей»… «Возвысьте гласы свои, Барды. Воспойте неимоверную храбрость боев русских! Девы прекрасные, стройте сладкозвучные арфы свои: да живут герои в песнях ваших…»

Всякое виршество страдает преувеличением, и особенно виршество начала XIX века, привыкшее воспевать героев в выспренных формах ложного классицизма. Но, по-видимому, и в жизни каждый русский гражданин готов был себя считать

спасителем отечества. «Всякий малодушный дворянин, — писал Ростопчин Александру 14 декабря 1812 г., — всякий бежавший из столицы купец и беглый поп считает себя, не шутя, Пожарским, Мининым и Палицыным, потому что один из них дал несколько крестьян, а другой несколько грошей, чтобы спасти этим все свое имущество».

«Тупую гордость во всех сословиях», «в каждом сознание, что без него государство погибло», — отмечает тот же Ростопчин в письме к Воронцову в начале 1813 г.

Упрекавший других в патриотическом самообольщении в действительности более всех страдал этим сам Ростопчин, еще в 1812 г. объявивший себя спасителем отечества. Он разрушил козни Наполеона и по своему возвращению в Москву «спас всех от голода, холода и нищеты».[135]

Действительность, конечно, была очень далека от этого апофеоза деяниям героев 1812 г. «Кто не испытывал того скрытого неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе», — написал Л. Н. Толстой в наброске предисловия, которое хотел предпослать своему роману. Жизнь есть проза, где эгоистические побуждения и материальные расчеты играют так часто первенствующую роль, где примеры бескорыстного идейного служения являются скорее исключением. И патриотизм в эпоху Отечественной войны, патриотизм естественный и в значительной степени эгоистический, как отметил Ростопчин в процитированном письме к Александру, далеко не всегда был окрашен тем розовым цветом, в каком пытается его обрисовать патриотическая историография вплоть до наших дней.

Истинный патриотизм выражается «не фразами, не убийством детей для спасения отечества и тому подобными неестественными действиями», а «незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты». Правдивость этого замечания Толстого в «Войне и Мире» может быть легко подтверждена фактами. Крикливые шовинисты 1812 г. в действительности менее всего были способны к самопожертвованию. Пушкин в своем «Рославлеве» дал самую ядовитую и злую характеристику тем «заступникам отечества», патриотизм которых проявлялся лишь в «пошлых обвинениях в французомании», — в «грозных выходках против Кузнецкого моста». «Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществе решительный верх, и гостиные наполнились патриотами. Кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр; кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все заклялись

говорить по-французски, все заговорили о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в Саратовские деревни».

В этом внешнем патриотизме было в действительности очень мало глубокого чувства, зато много искусственности и сентиментализма, довольно ярко очерченных в воспоминаниях о Москве Хомутовой. Когда не верилось еще в возможность появления Наполеона под стенами Москвы, все пылали патриотизмом: молодые девушки воображали себя «то амазонками, то странницами, то сестрами милосердия» и примеривали на себе соответствующие костюмы. Тогда играли в патриотизм, и кн. Вяземский вербовал полк из женщин, давая пароль: «aimer toujour». Так было 22 июля. А уже 10 августа эти горячие патриоты «с видом отчаяния» «думали только о бегстве и о том, чтобы увезти свое добро или зарыть его в землю, либо замуравить в стену». «Бледные и трепещущие, они покрывали стены постоялых дворов чувствительными надписями: «Le mot adieu, ce mot terrible»… «je vous salue, o lieux charmants, quittes avec tant de tristesse»…

Но и это чисто внешнее возбуждение далеко не простиралось на в с ю Россию. «В Тамбове, — пишет Волкова 30 сентября, — все тихо, и если бы не вести московских беглецов, да не французские пленные, мы бы забыли, что живем во время войны». В то время как «вся Россия в трауре и слезах», в Петербурге веселятся, и салонный патриотизм выражается лишь в том, что «в русский театр ездят более, чем когда-либо».

Недаром молодой Никитенко в свой дневник записал: «общество наше поражало невозмутимым отношением к беде, грозившей России».

Когда от слов приходилось переходить к делу, патриотический мираж тускнел.

И это прежде всего приходится сказать про то дворянство, которое в изображении манифеста 1814 г. представляло «ум и душу» народа, которому достались наиболее лестные отзывы (напр., в речи Александра в Москве 16 августа 1816 г.), которое, по проекту шишковского манифеста, должно было стоять на первом плане и деятельность которого в то же время у некоторых современников находила совсем иную оценку. Каким диссонансом зазвучит знаменитый ответ кн. С.Г. Волконского на вопрос Александра, каков «дух народный». «Вы должны гордиться им: каждый крестьянин — герой, преданный отечеству и Вам». — «А дворянство?» — «Стыжусь, что принадлежу к нему, было много слов, а на деле ничего». Чем же объяснить этот суровый отзыв человека, принадлежавшего к самым привилегированным слоям

аристократического общества и в то время еще не вкусившего запретного плода западноевропейского просвещения? Чем объяснить позднейший отзыв о роли дворянства в 1812 г.? «В годину испытания… не покрыло ли оно себя всеми красками чудовищнейшего корыстолюбия и бесчеловечия, расхищая все, что расхитить можно было, даже одежду, даже пищу, и ратников, и рекрутов, и пленных, несмотря на прославленный газетами патриотизм, которого действительно не было ни искры, что бы ни говорили о некоторых утешительных исключениях».[136]

История дворянских ополчений (к сожалению, еще так мало разработанная), пожалуй, дает уже ответ на поставленный вопрос. Когда дворяне жертвовали «всем», как выражался в своих «письмах» офицер Ф.Н. Глинка, когда калужское губернское дворянское собрание постановляло: «Не щадить в случае сем не только своего достояния, но даже жизни до последней каждой капли крови», оно в действительности никогда не забывало своих интересов. «Общая необходимая защита своей собственности»[137] побуждала к патриотическим действиям, к откликам на призыв правительства. Тем более что призыв подчас высказывался в очень категорической форме как показывает, напр., дело о сборе с московских граждан 1 000 000 р. на покупку волов. По этому поводу в отношении Балашова к Ростопчину 6 июня весьма определенно говорилось, что государю угодно «составить или добровольным приношением или сбором посредством общей раскладки сумму миллион рублей». Общая раскладка эта уже относится к области принуждения, а не добровольной дачи. Любопытно, что на призыв 18 июля о добровольных приношениях из числа именитых граждан откликнулось только трое иностранцев. Также не удалось собрать добровольных приношений и со стороны дворянства, на которое пала половина нужной суммы, и пришлось прибегнуть к раскладке по числу ревизских душ. Ополчения носили тот же характер общей раскладки.

Это — любопытная черта для характеристики патриотического движения в так называемую Отечественную войну. Правительство Александра, при своей всегдашней подозрительности к дворянству из-за боязни проявления самодеятельности в этой олигархической среде, всемерно противилось даже в эпоху народной войны инициативе, исходившей не из кругов правительства. Всякого рода пожертвования рассматривались не как патриотический долг, а как правительственная обязанность. Яркое подтверждение можно найти в истории рязанской депутации, отправленной в Москву с предложением дать 60 000 работников. Министр полиции

Балашов очень резко принял эту депутацию и немедленно предложил ей выехать обратно. Нужно было дожидаться момента, когда правительство само запросит дворянство. И понятно, что при таких условиях многие из якобы добровольных пожертвований попросту не поступали фактически в кассу.[138] Приходилось обращаться к системе пени за недоимки, т.е. к системе, обычной при взимании каких-либо налогов и податей.

Организуя ополчения, помещики весьма тщательно наблюдали свои выгоды,[139] сдавая в ополчения ненужные или вредные элементы крепостной деревни, в уверенности по примеру милиции 1806 г., что за этих ополченцев они получат рекрутские квитанции, или перенося всю тяжесть на зажиточных крестьян, которые должны вместо себя ставить ополченцев. При таких условиях уже a priori можно было бы заподозрить полную правдивость правительственного извещения (манифест 3 ноября 1812 г.), что крестьяне «охотно и добровольно» вступали в ополчения. Хомутова в своих воспоминаниях свидетельствует, что сдача в ополченцы «на каждом шагу» сопровождалась «раздирательными сценами». Она говорит это про Москву. Но и в Симбирске ей пришлось быть очевидицей таких же сцен. По «тогдашнему обыкновению», замечает другой неизвестный нам современник, отдача в рекруты в 1812 г. «обязательно сопровождалась воем и плачем».[140] Эту обыденность мы и встречаем в год исключительного подъема патриотизма, когда, по словам Вигеля, «прекратились все ссоры, составилось общее братство».

Несомненно, в эту годину были примеры самого горячего юношеского энтузиазма: 16-летний мальчик, будущий декабрист Никита Муравьев, скрывается из дому, чтобы принять участие в борьбе с французами. Будущий же декабрист Лунин просит послать себя парламентером, чтобы, как говорит Н.Н. Муравьев, «всадить ему (Наполеону) в бок кинжал»,[141] и т. д. Можно привести и другие примеры такого юношеского воодушевления. Но вряд ли от этого изменится картина общей обыденщины, той жизненной прозы, которая очень и очень была далека от воспетого в лирико-эпических произведениях современников.

Беспристрастие скорее заставит согласиться с той же Хомутовой, которая так охарактеризовала общественные настроения в 1812 г.: «Одни готовы были все принесть в жертву отечеству; другие желали бы спасти его, не слишком вредя собственному благосостоянию; некоторые полагали, что все эти жертвы бесполезны». С такой оценкой, в сущности, соглашаются и те современники, которые на словах умели проявлять наиболее крикливое «патриотическое» воодушевление, и между ними,

конечно, на первом месте стоит гр. Ростопчин, приписавший себе честь обращения русской знати на истинный путь патриотического бескорыстия. За это на первых порах его многие из современников готовы были возвести на высокий пьедестал. «Я могу сравнить вас, — писал Ростопчину С.Р. Воронцов 7 марта 1813 г., — только с князем Пожарским; но ваше призвание было труднее его задачи… наше ложное образование, развиваемое нашим правительством… уже давно успело бы затушить в нас всякую искру патриотизма (так же как она затушена у других народов), если бы наш патриотизм не восторжествовал над угнетающей его силою, так сказать, вопреки правительству». «Ты не знаешь, что было в Москве с конца июля, — пишет Волкова своей корреспондентке 11 ноября 1812 г. — Лишь человек, подобный Ростопчину, мог разумно управлять умами, находившимися в брожении, и тем предупредить вредные и непоправимые поступки».[142]

Цитируя этих современников, мы входим вновь в сферу «пошлых обвинений», т. е. шаблонных памфлетических нападков на галломанию общества. «Патриоты», за исключением, быть может, наивного Сергея Глинки и недалекого старца Шишкова, как мы уже знаем, отличались в сущности сами в большой степени тем «нелепым пристрастием» к внешнему лоску утонченной французской культуры, за которое обвиняли других. К ним почти ко всем применима остроумная басня Измайлова «Шут в парике» (1811 г.), в которой метко вышучивались модные обличительно-патриотические нападки: шут нападает на одежду и, когда его уличают в ношении французского парика, кричит: «Безбожник, изменник, фармасон. Сжечь надобно его, на веру нападает».

Националисты торжествовали в 1812 г., когда вдругв русском обществе проявилось желание говорить и писать на родном языке, когда «офранцузившаяся» знать в виде протеста скидывает французские платья и заменяет роброны русскими сарафанами (Вигель), когда Гнедич приходил в ужас, услыхав, как молили «Бога о спасении отечества, языком врагов Бога и отечества, сохраняя выговор во всем совершенстве». Ростопчин, вероятно, сам молившийся Богу на французском языке и не могший обойтись без французского повара, с удовольствием констатировал в 1813 г. в «Русском Вестнике», что Кузнецкий мост обрусел, и вместо «Викторины Пешь, Антуанетты, Лапотер и лавок a la Corbeille, Au Temple du bon gout торгуют Карп Майков, Доброхотов, Абрам Григорьев, Иван Пузыев». Даже такой умный человек, как Мордвинов, и тот поддается общему шаблону; и он пишет из Пензы в ноябре 1812 г. Кутлубицкому: «Благословенное

время доброго начала… все злые духи бегут по всем дорогам из городов наших; исчадия адские — французское учение… французские прихоти… французские книги».[143]

Недолго, однако, продолжался и этот налет чисто внешнего патриотизма. Ушел враг, и жизнь быстро вернулась в свое старое русло. Прежняя «галломания» захватывает широкие круги дворянства еще в большей степени. Бывало прежде, — иронизирует Ростопчин, — «приедет француз с виселицы, все его на перехват, а он еще ломается». Но теперь так легко приобщиться к заманчивым благам утонченной французской культуры — к ее внешнему лоску. Теперь так легко и дешево получить французского «учителя» из числа оставшихся в России прежних врагов. Эти «выморозки» рассыпались во внутренние губернии. Каждый мелкопоместный дворянин может теперь тягаться со знатнейшими домами, имея «своего» француза. И каждый «порядочный дом», по словам Гнедича, действительно, считает своим долгом держать отныне французского учителя.

После 1812 г., свидетельствует нам Жихарев, французский язык распространяется еще больше. Лишь только «прононская гнусливость» несколько изменилась: стали «держаться чего-то среднего между горловым и гнусливым».[144] Сам Ростопчин должен уже в мае 1813 г. признать в письме к издателю «Русского Вестника», что пристрастие к французам не исчезло, «но еще усилилосьот учтивого какого-то сострадания к несчастным». «Русское дворянство, — пишет он Александру 24 сентября 1813 г., — за исключением весьма немногих личностей, самое глупое, самое легковерное и наиболее расположенное в пользу французов». Так как 1812 г. не излечил русских от «нелепого пристрастия к этому проклятому отродью», то Ростопчин советует «серьезно приняться за уничтожение этих восторженных поклонников».[145] Ему по-прежнему мерещится революция там, где ее не было и не могло быть.

В сущности, вся деятельность Ростопчина в возобновленной из пепелища Москве проникнута сыском к обнаружению тех, которые в 1812 г. не проявили должного патриотизма, т. е. стояли в стороне от той крикливой шумихи, в которой выражался в значительной степени общественный патриотизм Отечественной войны.

Первым распоряжением московского генерал-губернатора было предписание (13 октября) московскому обер-полицмейстеру Ивашкину «удостовериться путем опроса, кто помогал французам».[146] Начинается «ловля» тех, кто участвовал в муниципалитете, составляются особые списки «колодников»,

находившихся на службе у французов,[147] и, наконец, производятся опросы отдельных лиц, провинившихся, по мнению Ростопчина. Ростопчин долгое время, как мы знаем, задерживавший выезд из Москвы населения, теперь готов зачислить в число изменников всех тех, кто остался в Москве. Этих лиц и призывают к ответу и, по-видимому, ото всех получалось довольно стереотипное объяснение. Некто титулярный советник[148] на вопрос, почему он остался в Москве, отвечает: «Его сиятельству угодно было обнадежить московских жителей, чтобы они ничего не боялись и что французы отнюдь сюда впущены не будут». На тот же вопрос, по словам М.И. Димитриева, не без остроумия и язвительности отвечает кн. Шаликов: «Ваше сиятельство объявили, что будете защищать Москву… со всем московским дворянством… Я явился вооруженный, но никого не застал».

К таким же «якобинцам» был отнесен и дворянин Вишневский, пытавшийся, по словам Ростопчина, убедить дворян остаться в Москве (письмо Александру 17 марта 1813 г.).

Не оставляются в покое и старый Новиков и враг Ростопчина Ключарев. До Ростопчина доходит слух, что Новиков принимал больных из неприятельской армии. Для «патриота» Ростопчина, столь жестоко расправившегося по приезде в Москву с пленными больными французами, была органически непонятна возможность филантропии к врагу. И бронницкому исправнику Давыдову отдается 15 октября предписание узнать в соседних селениях: «какие сношения имели с неприятелем в с. Авдотьине Новиков и в с. Валовом Ключарев». Таким путем Ростопчин обнаружил целый ряд «изменников». С одними он расправлялся сам,[149] других, по предписанию Александра, сажал в кибитки и отправлял в Петербург. В начале сыск, по-видимому, не давал больших результатов. «До сих пор, — пишет Булгаков, — нам удалось арестовать только двух подьячих, которых граф тотчас отдал в солдаты». Затем последовали «иностранцы», «купцы-раскольники», «мартинисты», «якобинцы». В целях более успешного сыска, «для удаления неподходящего элемента», Ростопчиным принимаются соответствующие меры учета населения.

Но не один гр. Ростопчин разбрасывает обвинения в измене. Все те, кто из страха бежали перед неприятелем, готовы были представлять теперь свои поступки героическим самопожертвованием и обвиняют всех тех, кто не последовал их примеру. «Горько было от неприятелей, — записывает Н.Н. Мурзакевич, — но горше пришлось терпеть оставшимся в городе (Смоленске) жителям от своих приезжих соотечественников. В

чем только несчастных не укоряли: в измене, и грабительстве, и перемене веры».

Однако все те, кто считали себя спасителями отечества, Мининым и Пожарским, по мере того, как жизнь входила в свое старое русло, начинали подумывать о восполнении того, что было принесено вольно или невольно в годину бедствий на алтарь отечества. В данном случае чрезвычайно характерны те прошения и ходатайства, с которыми многие представители московского общества обращались к правительству в целях возмещения понесенных убытков от московского пожара. Когда была открыта эта запись в книгу «явочных просьб», мы встречаемся наряду с заявлениями претензий со стороны беднейших слоев населения прошения и от богатейших представителей московской аристократии. Если одни это делают в целях только довести как бы до сведения правительства о понесенных убытках, то другие предъявляют весьма часто необоснованные претензии. Среди заявивших претензию на возмещение убытков мы видим представителей самых знатных фамилий: гр. А.Г. Головин — на 229 000 р.; гр. И.А. Толстой — 200 000 р., и дальше кн. Засекина, кн. А.И. Трубецкой и т. д.

Потерянные вещи перечисляются до смешных мелочей; напр., в реестре кн. Засекиной мы встречаем 4 кувшина для сливок, 2 масляницы, чашка для бульона; дочь бригадира Артамонова перечисляет новые чулки и шемизетки. Одна дама, по свидетельству Ростопчина (письмо к Александру 2 декабря), «поставила в счет 380 р. за сгоревших канареек»; кн. Голицын предъявляет претензии за убытки, понесенные в его деревнях, и т. д.

Поток прошений был так велик, отыскание похищенных вещей — часто московскими жителями, подмосковными крестьянами и дворовыми, — было так затруднительно, что довольно скоро пришлось ликвидировать деятельность по возмещению убытков, понесенных в год нашествия врага и год величайшего патриотического воодушевления.

Таким образом, эгоизм, житейские расчеты всецело торжествуют над идеальными чувствами патриотического воодушевления, торжественно провозглашаемыми в напыщенных одах и официальных реляциях. «При свете ламп и люстр приметно начинал гаснуть огонь патриотического энтузиазма нашего», — замечает Вигель. Эти житейские соображения, в конце концов, развенчивают в московских гостиных и ореол минутного героизма, которым на первых порах окружается имя Ростопчина — спасителя отечества.

Если Ростопчину еще не приписывается определенно

инициатива пожара, то обвинение это уже носится в воздухе. Это действительно обвинение, потому что современники вовсе уже не склонны по подсчету убытков превозносить «патриотическую» жертву. Во всяком случае, нераспорядительность Ростопчина, его нелепые меры защиты столицы, уверения в полной безопасности оставляемого в Москве имущества содействовали увеличению понесенных убытков.

На этой почве постепенно и возрастало недовольство Ростопчиным.

Постоянный корреспондент СР. Воронцова Логинов в письме от 12 февраля 1813 г. с «великим изумлением» уже отмечает, что «так громко воспевают в Англии великие деяния гр, Ростопчина». «Мнение общества теперь таково, — пишет Логинов, — что все окончательно изверились в него настолько же, насколько раньше верили в его бахвальство». Логинов, и прежде не одобрявший склонность Ростопчина к «ремеслу писаки», передает теперь как бы общее осуждение его литературной деятельности: «Он до сих пор продолжает писать прокламации, вызывающие смех своим слогом и подчас странным содержанием». Итак, Ростопчин возбуждает «почти общий ропот» (слова Штейнгеля). Против него в Москве крепнет оппозиция, во главе которой стоит начальник кремлевской экспедиции П.С. Валуев. Разочаровываются в Ростопчине подчас и наиболее горячие его адепты, как известная нам Волкова. «Я отказываюсь, — пишет она 18 ноября, — от многого сказанного мной о Ростопчине… он вовсе не так безукоризнен, как я полагала… Ему особенно повредила его полиция, которая, выйдя из города в величайшем беспорядке, грабила во всех деревнях, лежащих между Москвой и Владимиром». «Я решительно отказываюсь от моих похвал Ростопчину», — добавляет Волкова через месяц. Причиной этого решительного отказа послужила история с магазином Обер-Шальме. Получив приказание от Александра продать с аукциона магазин Шальме, где было товара на 600 000 р., и раздать деньги бедным, Ростопчин, по словам Волковой, разделил деньги между полицией.[150] По словам Булгакова, дело обстояло следующим образом: «Так как мы (полиция) лишились всего, то он (Ростопчин) объявил нам, что мы вправе взять из магазина Шальме все, что только нам заблагорассудится. Для самого себя граф возьмет (Булгаков писал за несколько дней до «разграбления») столовый сервиз, так как его собственный сервиз похищен».[151]

Все это, вместе взятое, с возмущением по делу Верещагина, с возмущением по поводу всегдашнего произвола московского генерал-губернатора, не могло не вызывать действительно

всеобщего осуждения Ростопчина. Тот, кто приписывал почти исключительно себе лавры победителя, не встречал и поддержки со стороны Александра, который, почти по общему признанию, очень не любил властного «московского барина». Ростопчин чувствовал, что дни его господства сочтены. Он силен был лишь тогда, когда мог устрашать правительство возможностью революции. Но теперь в «бахвальство» уже не верили. «Я более ничего не хочу принимать на свою ответственность. Кроме того, трудно приучиться к тому, — пишет он почти единственному верному своему поклоннику Воронцову 1 ноября 1812 г., — что с тобой обходятся хорошо, когда в тебе нуждаются, и тебя выдают, как дикого зверя, когда опасность миновала».

Он о том же жалуется Глинке: «Меня обдают здесь пересудами; гоняют сквозь строй языками; меня тормошат за то, что я клялся жизнью, что Москва не будет сдана». Но Ростопчин и здесь не может стушеваться без позы. «Москва, — заявляет он, — была сдана за Россию, а не сдана на условиях. Неприятель не вошел в Москву, он был в нее пущен — на пагубу свою…»

Он грозит, что уедет во Францию, в Париж и оставит «почетное место», которое занимает, потому что «устал от равнодушия правительства к городу, который был убежищем для его государей et le grand ressor их могущества над подданными» (письмо Воронцову 26 янв. 1813 г.).

Ростопчинская отставка последовала в июле 1814 г. по возвращении Александра в Россию. «Третьего дня совершился мой развод в Москве», — писал он жене 1 сентября. Первый в России «патриот», в то время неоцененный, утешался тем, что в «немецкой земле» ему «делают почести и признают главным орудием гибели Наполеона». «По крайней мере, когда своим не угодил, то чужие спасибо скажут». «Как отнеслось московское общество к своему разводу с Ростопчиным?» «Москва в восторге от отставки Ростопчина, — пишет Кристин Туркестановой 3 сентября. — «Рассказывают, будто он написал жене: "Наконец Его Величество оказал мне милость, избавив меня от управления этой мошенницей. Не ручаюсь за подлинность фразы, во всяком случае, могу вас уверить, что мошенница в долгу у него не остается и платит ему той же монетой».

Вождь официального патриотизма 1812 г. велел сделать надпись на своем надмогильном памятнике: «Среди моих детей покоюсь от людей». Но мы знаем теперь, что если люди после 1812 г. не оценили сразу патриотических подвигов Ростопчина, то впоследствии потомство не по заслугам пыталось возвеличить эти несуществующие подвиги, и не только Ростопчина, но и всех, иже с ним сущих.

В ГОДЫ МИСТИЦИЗМА. ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБЩЕСТВО ПОСЛЕ ВОЙНЫ [129]

1. ЛИКВИДАЦИЯ ВОЙНЫ

Московский «патриот» гр. Ростопчин, попадая в оппозицию, как мы уже видели, становился неудержим в критике и, разнося всех, восхваляя только себя, иногда метко отмечает больные места современности[152]. Так было с Ростопчиным и при оставлении «почетного» поста московского генерал-губернатора. Отмечая «тупую гордость во всех сословиях и в каждом сознание, что без него государство погибло», Ростопчин свидетельствует горькую правду в письме к Воронцову 26 января 1813 т. — ничего не делают для народа, который более всех пострадал в годину бедствий. «Все только слова, слова без действий, — пишет он. — Что народу памятник из пушек и храм Христа Спасителя. До сего времени нет ни копейки для бедных, и если бы не остатки чрезвычайных сумм и мои собственные деньги (?!), верных пять тысяч человек умерло бы от голода и нищеты».

Конечно, Ростопчин пишет это для того, чтобы еще раз подчеркнуть свои заслуги, свою мудрость и оправдать свою вынужденную отставку. И тем не менее в его словах кроется глубокая истина, — в сознании гордости и самодовольства тонут прежние опасения, которые заставляли в 1812 г. дворянство из чувства самосохранения заговорить другим языком со своими крепостными, ибо в ту пору «решительный язык власти и барства более не годился и был опасен», свидетельствует один наблюдательный современник. Хотя «Русский Вестник» и уверял своих читателей, что «наглые французские рассыльщики» не в состоянии будут «завести бунт в России, так как одно дуновение правительства вырвет с корнем все их злоумышления», тем не менее дворяне видели во французах врагов своих прав и освободителей их рабов, мало полагаясь на отличительные свойства «души русского народа», руководствующейся «верою и нравственностью», не способной к бунтовщическим деяниям. Опасения были так сильны, что Ростопчину приходилось убеждать крестьян: «Не слушайте пустых слов. Почитайте начальников и помещиков, они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, обуть, кормить и поить». «Вы будете припеваючи жить по-старому», — вряд ли, конечно, подобное убеждение могло возыметь должную силу. Жить «по-старому» — это значит вернуться под крепостное ярмо. Крестьянские волнения 1812 г. еще раз показали тяжесть этого ярма. И о нем приходилось подумать: народная война ставила как бы ребром вопрос о крепостном праве. Вы постоянно встретите на это

указание у современников. 1812 год связан с определенными ожиданиями, с темными и неясными слухами, широко распространяющимися в народной массе.

Полковник Бискупский рассказывает, что уже при отступлении от Смоленска до Бородина говорили, что «офицерам и нижним чинам будут даны в награду земли при благополучном окончании войны». Среди крестьян распространялось отчасти убеждение, что попавший в ополчение получит волю. Недаром Ростопчин писал Александру 26 октября еще 1812 г.: «Умоляю ваше величество распустить ополчение последнего набора». Мы знаем, как боялись на первых порах народной войны, которой потом воскуривали фимиам. Боялись и после вооруженного крестьянина, вероятно, потому, что «пребывание французских войск поселило во многих местах буйство и непослушание», как писал Ростопчин Вязьмитинову 27 октября 1812 г. Мы страшились последствий войны, откровенно писал Ал. Тургенев Вяземскому в конце 1812 г. Страшились, что нарушатся отношения помещиков и крестьян — «необходимое условие нашего теперешнего гражданского благоустройства». Тургенев считал, что эти отношения «не только не разорваны, но еще более утвердились», но правительство оставалось в страхе.

Прежде всего стараются обезоружить население. Некоторые историки распоряжения о приобретении и отобрании оружия у народонаселения в ноябре 1812 г. хотят объяснить недостатком вооружения у войска, как объясняло это и правительственное «объявление для чтения в церквах». Оно гласило: «Православный народ! городские и сельские жители, мещанство и крестьяне! — Враг наш прогнан… Вы показали пример верности и храбрости, свойственной русскому народу. Вы отнимали оружие из рук неприятеля, ополчались против него и, помогая войскам нашим, повсюду истребляли и поражали шатающихся грабителей и злодеев. Вы достохвально исполняли долг свой… Ныне время брани миновало… Вы не имеете больше нужды в оружии, но имеет еще надобность в оном победоносное наше воинство… Итак, совершив дело свое и оставаясь по-прежнему мирными поселянами, отдайте не нужное вам оружие». А дальше говорится о царской милости, о выдаче в награждение за пушку пятьдесят рублей, за солдатское ружье и пару пистолетов по пяти рублей. Оружие предлагается «снести в храм Божий». Неужели не ясна вся искусственность этой официальной версии? Сопоставляя с теми опасениями, которые в правительственных кругах вызывала народная война, можно только прийти к убеждению, что здесь фигурировала скорее боязнь, а вовсе не нужда в вооружении.

Но так или иначе приходилось ликвидировать наследие

двенадцатого года и ответить на ожидания, как в низах, так и в прогрессивных кругах тогдашнего общества.

Заграничные походы отвлекали, однако, внимание от внутренней политики и отлагали под благовидным предлогом ликвидацию как бы принятых обязательств. Проходя под флагом освобождения народов от деспотизма узурпатора, от «рабства» — заграничные походы с энтузиазмом встречаются молодежью. Выслушивая слова приказа 25 декабря 1812 г.: «Вы идете доставлять себе спокойствие и им (землям соседей) свободу и независимость»; видя энтузиазм, который вызывает «магическое слово вольность» в Германии, армия преисполнилась гордостью и сознанием величия исполнения принятой миссии. Вероятно, многие искренно верили в то, что для Александра, как выразился Вигель, было «забавой ума его». «Свободу проповедовали нам и манифесты, и воззвания и приказы! Нас манили, и мы, добрые сердцем, поверили, не щадили ни крови своей, ни имущества», — вспоминал впоследствии Каховский в письме из крепости. Успех союзников, в конце концов, примирил с заграничными походами и реакционные круги, которые далеко не сочувственно отнеслись к ним на первых порах.

Боязнь новых пожертвований, а главное, неудач, — вот что страшило представителей правящего класса. То, что Наполеон после разгрома в России «выказал себя мастером военного дела», [153] то, что он и после неудач сохранял «грозный вид», заставляло многих беспокоиться за исход кампании, по меньшей мере «сомнительной». Бывший с армией Шишков не выдержал и во Франкфурте-на-Майне 6 ноября 1813 г. представил даже Александру целое «рассуждение о нынешнем положении нашем»: «Почему же во Франции не может случиться то же, что случилось в России» и «есть ли (чего, Боже сохрани) союзные войска потерпят во Франции такое же или подобное поражение, какое французы потерпели в России, тогда Европа упадет снова под иго их, опаснейшее и крепчайшее прежде». Других беспокоило внутреннее состояние России, то брожение, которое замечалось повсюду. Надо «подумать, — писал Ростопчин Александру, — о мерах борьбы внутри государства с врагами вашими и отечества». И только успех союзников успокоил сомнения[154]…

«Наполеон низринут!» — свергнут тот, кто в глазах правящего класса являлся порождением столь ненавистного революционного духа. И понятно, что при таких условиях торжествующий Александр встречается по возвращении из Парижа с восторгом: для одних он усмиритель революционной гидры, для других освободитель Европы от порабощения деспотизма. И те и другие с восторгом следят за «победоносным христиански-рыцарским»

шествием Александра от Немана до Парижа. Можно вполне поверить молодому Свербееву, что «радостная весть о вступлении в Париж союзных войск» произвела «всеобщий восторг, небывалый, нелицемерный». «Даже незнакомые, встречаясь на улицах, приветствовали друг друга лобызанием, как бы в Светлое Воскресение». В Москве идут торжества без «конца». «Народ в восхищении и боготворит его», — пишет в одном из неопубликованных еще его писем будущий декабрист А.Е. Оболенский, вспоминая пребывание Александра в Москве в августе 1816 г. «Он между приверженными к нему подданными современный отец. Так благосклонно его обращение, сколько свободен к нему доступ. Он обласкал дворянство и все состояния. Хотя в другой раз все готовы зажечь Москву без ропота[155]. Для него, кажется, нет им ничего невозможного». Это было время, когда князь П.А. Вяземский сочиняет свое четверостишие:

Муж твердый в бедствиях и скромный победитель,
Какой венец ему? Какой ему алтарь?
Вселенная, пади пред ним; он твой Спаситель!
Россия, им гордись; он сын твой, он твой царь!

Это было время, когда «имя русского народа, — по словам С.Т. Аксакова, — стояло на высшей степени славы». «Время незабвенное! — вспоминал Пушкин в «Метели». — «Время славы и восторга! как сильно билось русское сердце при славе отечества!.. С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута». «Имя императора Александра гремело во всем просвещенном мире, народы и государи, — записывает впоследствии свои юные воспоминания кн. С.П. Трубецкой, — пораженные его великодушием, предавали судьбу свою его воле. Россия гордилась им и ожидала от него новой для себя судьбы». Она ожидала этой новой судьбы именно потому, что низвержение Наполеона, по замечанию Греча, произошло при восклицаниях: «Да здравствует независимость, свобода, благоденствие народов, владычество законов». «Настал вожделенный мир» — писал декабрист Штейнгель Николаю из тюрьмы, рассказывая о своем настроении в эту радостную, казалось, эпоху. «Монарх от всех благословенный возвратился ко всеобщей радости. Все, казалось, обещало эпоху, от которой начнется период внутреннего благоустройства». Все это «казалось» потому, что «правительство не шло в разрез с общественным мнением; напротив, оно показывало, что его симпатии на стороне здравомыслящей и просвещенной части населения». Эта фраза принадлежит Н.И.

Тургеневу.

Обманчивый мираж скоро рассеялся перед современниками.

«Умиротворитель вселенной», увенчанный Синодом, Сенатом и Государственным советом от имени народа титулом «Благословенного», прославляемый в либеральном парижском салоне г-жи Сталь и в салонах мистиков, с восторгом встреченный при своем возвращении в Россию, — Александр I должен был как-нибудь ответить на те ожидания, которые возлагались на него в русском обществе. Хотя Александр и покинул, по словам Шильдера, Францию «с глубоким убеждением, что на развалинах революции нельзя основать прочного порядка», тем не менее в атмосфере дипломатических интриг, балов и шумных празднеств, таинственных соприкосновений с пиэтистами, мистиками-спиритуалистами и ясновидцами Александр чувствовал себя очень хорошо. Его мелкому тщеславию льстили и поэтические вирши современников. «Новым Агамемноном» провозглашал его Lebrun-Tossa (Allmanach des Muses, 1815). «Ta gloire fille des vertus», — воспевал Vieillard в лирических стансах, посвященных «блестящему метеору севера».

«Кроткий ангел, луч сердец», как именовал Державин Александра в кантате по случаю возвращения его из Парижа, не мог не чувствовать некоторого затруднения, когда приходилось слова и обещания переводить на конкретный язык фактов. Отныне образ «Александра-Освободителя», пророчествовал Штиллинг, должен «стоять перед глазами каждого христианина». Но «народ, давший возможность к славе»,[156] вероятно, очень мало интересовался «апофеозом русской славы между иноплеменниками» (слова Александра), насколько эта слава выражалась в торжественном молебне 29 марта 1814 г. в Париже; — интересовали более жизненные, более близкие и больные вопросы повседневного существования. Еще указ Правительствующему Сенату 30 марта 1813 г. о роспуске смоленского и московского ополчения, изъявляя монаршее «благоволение и признательность», гласил: «Да обратится каждый из храброго воина паки в трудолюбивого земледельца, и да наслаждается посреди родины и семейства своего приобретенными им честью, спокойствием и славою». Быть может, еще с большей определенностью подчеркивал ту же мысль приказ войскам по поводу заключения мира с Францией: «Совершена война для свободы народов и царства подъятая… Вы снискали право на благодарность отечества, именем отечества ее объявляю». Все надежды сосредоточиваются на одном, как показывает характерное письмо Ростопчина Александру 21 февраля 1814 г. о распространенности слухов по поводу

освобождения крестьян: «Некий Каразин, по словам филантроп, а в душе еврей, говорит, что в Петербурге заседает, под председательством Кочубея, по этому поводу комитет». Быть может, чувствуя трудность удовлетворить всеобщим ожиданиям при крепостнических тенденциях большинства правящего класса и вспоминая свои громкие обещания в либеральных парижских салонах, Александр и уклоняется на первых порах от каких-либо торжественных встреч, ограничиваясь несколько туманными обещаниями по устроении внешних дел приняться за «внутренние».

30 августа 1814 г. появился манифест, провозглашавший благодарность всем сословиям русского народа за участие в истекшую войну, объявлявший «о разных льготах и милостях». Вместе с тем следовали милостивые рескрипты, и в том числе Аракчееву, за «многополезные содействия…» «во всех подвигах и делах, в нынешнюю знаменитую войну происходивших». Устанавливая ежегодные торжественные празднования избавления России от «лютого» врага, «в прославление в роде родов сего совершившегося над Нами промысла и милости Божией», и медали в память прошедших событий, объявляя прощение всем тем, которые «пристали к неправой, Богу и людям ненавистной стороне злонамеренных врагов», отменяя на ближайшее время рекрутские наборы, прощая недоимки, манифест в сущности очень мало давал конкретного, так как основным его положением являлся пункт: «верный наш народ да получит мзду свою от Бога». Зато достаточно определенно говорилось о самом существенном — о ликвидации крепостного права. Это был ответ в духе ростопчинских объявлений московским крестьянам после войны. «Мы уверены, — гласил манифест, — что забота Наша о их благосостоянии предупредится попечением о них господ их. Существующая издавна между ими русским нравам и добродетелям свойственная, прежде и ныне многими опытами взаимного их друг к другу усердия и общей любви к отечеству ознаменованная, (?) не оставляет в Нас ни малого сомнения, что, с одной стороны, помещики отечески о них, яко о чадах своих, заботою, а с другой — они, яко усердные домочадцы, исполнением сыновних обязанностей и долга, приведут себя в то счастливое состояние, в каком процветают добронравные и благополучные семейства». Эта фальшь патриархальной теории крепостного права еще более резко была подчеркнута в проекте манифеста, составленного Шишковым. В нем говорилось о связи, «на обоюдной пользе» основанной. По словам Шишкова, именно эта фраза вызвала резкое возражение со стороны Александра. «Я не могу

подписывать того, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен» — сказал Шишкову Александр и вычеркнул слова «на обоюдной пользе основанные». Но, конечно, суть дела мало изменилась от этого смягчения. Зато Александр в отделе о воинстве прибавил слова, которые как бы давали обещания реализировать более осязательно благодарность воинству: «также надеемся, — гласил манифест, — что продолжение мира и тишины подаст Нам способ не токмо содержание воинов привести в лучшее и обильнейшее прежнего, но даже дать им оседлость и присоединить к ним их семейства». Это было обещание будущих военных поселений.

Таким образом, вся благодарность непосредственно за 1812 г. свелась к пышным словам, к установлению медалей и крестов и к раздаче нескольких миллионов городам, пострадавшим во время неприятельского нашествия. И то по этому поводу В.И. Штейнгель впоследствии в письме к Николаю имел полное право сказать: «Но сим пособием воспользовались не столько совершенно разорившиеся, сколько имущие, ибо оно раздавалось в виде ссуды под залог недвижимости».

Вопрос о нравственных обязательствах, принятых в 1812 г., следовательно, оставался открытым. Мы имеем право употребить этот термин. Недаром современники отмечают нам рост народного самосознания в эпоху наполеоновского нашествия: «Молот войны, — говорит в своих письмах Ф.Н. Глинка, — пробуждает дух народов, а также ускоряет зрелость». Народная война, по словам Розена, вызвала «такую уверенность в народной силе и в патриотической восторженности, о каких до того времени никакого понятия, никакого предчувствия не имели».

Мнение этих современников разойдется с убеждениями масона крепостника Поздеева, который в своих «Мыслях противодарования простому народу так называемой гражданской свободы» и в частных письмах будет доказывать, что «Россия все еще татарщина». Но, во всяком случае, тот, кто хотел и мог хоть на минуту забыть своекорыстные расчеты, должен был присоединиться к словам Кутузова, которые передает Ф.Н. Глинка: «Люди, освободившие отечество, заслуживают "уважения".

Но новые пиэтические настроения, возобладавшие в правительственных кругах после Отечественной войны, упрощенно разрешили все эти сложные вопросы морального обязательства. Божественное Провидение, перст Божий руководит событиями. Человеческое хотение должно умолкнуть перед волею Всевышнего. Эта воля ниспосылает испытания народам, эта воля и вознаграждает заслуженных.

И с этой точки зрения все события 1812 и последующих годов получали иную, более возвышенную окраску.

Уже в манифесте 25 декабря 1812 г. Шишков писал: «Да познаем в великом деле сем Промысел Божий, и видя ясно руку Его, поправшую гордых и злочестивых, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями, непохожими, на сих отпавших от веры осквернителей храмов Божиих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищею псам и вранам». Сочинив этот манифест, Шишков отправился с Александром в заграничные странствования. Здесь «в промежутках коротких переездов, имея довольно свободного времени», он углубляет мысли, высказанные в манифесте 25 декабря. «Занимался я чтением Священных книг, — рассказывает он в своих кратких записках, — и находя в них разные описания и выражения, весьма сходные с нынешнею нашею войною, стал я, не переменяя и не прибавляя к ним ни слова, только выписывать и сближать их одно с другим. Из сего вышло полное и как бы точное о наших военных действиях сделанное повествование. Для любопытного читателя я здесь оное прилагаю». Отсылаем интересующихся «пророчеством» Шишкова к подлиннику, где при помощи своеобразных этимологических экскурсов «Сор» превращался в «Росс», то есть Россиянин[157]. Вывод из всех этих размышлений был один: Россия и, в частности, Александр являлись «избранным орудием» Божества, призванным покарать «проклятую Францию».

Для реакционных кругов это означало борьбу с ненавистными просветительными идеями Запада, со всеми «адскими изрыгнутыми в книгах… лжемудрованиями». Это означало восстановление попранной революционной диктатурой идеи законной наследственной монархии Божьей милостью, восстановление авторитета религии, подточенного критикой разума, а вместе с тем возрождение социальных перегородок старого порядка. И все это вместе отвечало крепостническому настроению большинства той среды, которая, по характеристике правительственного акта 30 августа 1814 г., представляла собой «ум и душу народа».

Реакционная политика борьбы с либеральными общественными стремлениями прикрывается флагом христианской любви под эгидой Священного союза. Начала «святой веры» являются самым лучшим средствам для борьбы с свободным и опасным просвещением, «коего неизбежные следствия, по мнению Ростопчина, — гибель закона и царей», с требованиями разума и социальной правды.

Но прежде, чем пиэтическая реакция вылилась в конкретных формах, на новых настроениях смиренномудрия и преклонения перед высшей волей Провидения, окрепло представление о пережитой эпохе, как испытания, ниспосланного народам. «Не нам, не нам, а имени Твоему» — было выбито на медали в память «незабвенного» 1812 года.

«Гнев Божий, — говорит современник, — за преумножение наших грехов навел на нас сию горькую годину искушения, дабы мы восчувствовали руку Божию, могущую сокрушить нас подобно тростнику, но всегда готовую и сохранить призывающих имя Его святое». Но если война явилась как бы испытанием, ниспосланным свыше, то кто же, кроме Бога, может воздать должное в сем тленном мире, после «толиких чудесных событий».

И новый манифест 1 января 1816 г., — тот самый, который давно уже был заготовлен Шишковым, обозревая происшедшие события, давал уже очень определенное указание, что народ, избранный Самим Богом для выполнения высокой миссии несения правды в мире, не должен ждать никаких благодарностей.

«Мы, — гласит манифест 1 января 1816 г., — после толиких происшествий и подвигов, обращая взор свой на все состояния верноподданного нам народа, недоумеваем в изъявлении ему нашей благодарности. Мы видим твердость его в вере, видим верность к престолу, усердие к отечеству, неутомимость в трудах, терпение в бедах, мужество в бранях. Наконец видим совершившуюся на нем Божескую благодать; видим и с нами видит вся вселенная. Кто, кроме Бога, кто из владык земных, и что может ему воздать? Награда ему — дела его, которым свидетели небо и земля. Нам же, преисполненным любовью и радостью о толиком народе, остается токмо во всегдашних к Богу молениях наших призывать на него вся благая». Да и что нужно, наконец, избранному Богом народу? Правда, «мы претерпели болезненные раны; грады и села наши, подобно другим странам, пострадали», но зато ведь «Бог избрал нас совершить великое дело; Он праведный гнев свой на нас превратил в неизреченную милость. Мы спасли отечество, освободили Европу, низвергли чудовище, истребили яд его, водворили на земле мир и тишину… возвратили нравственному и естественному свету прежнее его блаженство и бытие, но самая великость дел сих показывает, что не мы то сделали. Бог для совершения сего нашими руками дал слабости нашей Свою силу, простоте нашей — Свою мудрость, слепости нашей — Свое всевидящее око». Итак, Россия вознесена на верх славы. «Что изберем, — спрашивал манифест: — гордость или смирение? Гордость наша будет несправедлива, не

благодарна перед Тем, Кто излиял на нас толикие щедроты… Смирение наше исправит наши нравы, загладит вину нашу перед Богом, принесет нам честь, славу».

Только что процитированный исторический документ дает довольно яркую характеристику той правительственной философии, которая, расширяясь и углубляясь под влиянием текущих событий, привела Россию в тупик самой мрачной реакции. Нужна ли реформа в том государстве, благоденствие которого как бы отмечено печатью Божественного Провидения. Народ, совершивший «великое дело», не может быть недоволен своим социальным и политическим укладом, ибо этот уклад является продуктом высшей политической мудрости. Народ, констатирует Карамзин, «привязан душою к образу своего существования и находит в нем свое счастье». Разве не доказали это «нам и целой Европе» последние события? Отсюда проповедь смирения или, другими словами, общественного квиэтизма.

И такая психология действительно упрощенно разрешала важнейшие государственные вопросы, остро поставленные в период Отечественной войны. К тому же подобная психология вполне гармонировала с настроениями императора Александра и придавала особо возвышенный характер осуществлению его давнишних мечтаний и стремлений.

Отныне его «великие подвиги» не связаны с «тщетной славой» и ознаменовываются «покровительством Всевышнего Промысла». И храм Христа Спасителя, заложенный в 1817 г. в Москве в память Отечественной войны, как бы должен свидетельствовать об этой особой милости Всевышнего.

Отныне же ликвидировались и все ожидания и реформы молодых прогрессивных слоев русского общества. Недаром Лагарп по поводу манифеста 1816 г. сказал, что существует «заговор против славы, приобретенной в 1814 г.». И когда архиепископ московский Августин приветствовал Александра в Москве в 1816 г. речью: «Тебе победителю нечестия и неправды вопием: осанна в Вышних!» — он приветствовал новую ярко реакционную полосу александровского царствования без либеральных колебаний, ту полосу, которая далеко несправедливо получила наименование в истории «аракчеевщины».

2. МИСТИЦИЗМ

Мистика и реакция эпохи Александра стояли в неразрывной связи с «благотворными идеями» Священного союза, которым харьковский проф. Надлер написал апофеоз в пяти томах.

Для того, чтобы международные отношения приобрели действительную силу непоколебимости, надо и во внутреннем управлении придерживаться тех же начал. «Отныне поданными своими государи будут управлять как отцы семейств», — гласил акт Священного союза. Чтобы упрочить учреждения, созданные людьми, их надо исправить, обосновав на началах, завещанных Спасителем. Надо перевоспитать людей, чтобы они восприняли благодатные действия Св. Писания; чтобы они твердо усвоили себе вечные религиозные истины. В связи с этой задачей стояла, конечно, прежде всего реформа образования, за которую вскоре и взялись мистики и реакционеры. Просвещение надо было основать на религиозных началах.

Первым следствием, извлеченным из практической программы Священного союза, было развитие библейских обществ, при помощи которых можно было бороться с «мнимо просвещенным врагом», как определил князь А.Н. Голицын в 1816 г. задачи библейских обществ. Первое библейское общество возникает еще в 1812 г. в Петербурге по инициативе члена британского общества распространения Библии Патерсона. Его задачей является распространение Библии в обществе и народе.

Деятельность библейских обществ, в связи с развитием деятельности всевозможных христианских миссионерских обществ, в это время широко распространилась по Западной Европе (первое библейское общество было учреждено в 1804 г.). В сущности в филантропических и просветительных целях этих обществ определенно звучали и реакционные мотивы, так как влияние Библии противополагалось как бы влиянию идей французской революции. « Опыт научает нас, — говорилось в проекте учреждения Петербургского библейского общества, — что повсюду, где Св. Писание всеми читается, оное сильно способствует к преуспеванию в добродетели, направляет человеческие страсти к лучшей цели». По отношению к России Библия, кроме того, должна служить «утешением в горестях» населению, пострадавшему от неприятельского нашествия. Правящие круги охотно взялись за мысль дать после 1812 г. «утешение» народу в Библии (с таким же восторгом в придворной среде принимается и манифест Священного союза).

Но Библия сама по себе — обоюдоострое оружие; знакомство с ней приводит подчас совсем к другим результатам, чем какие хотят получить. Примером может служить русское сектантство, обосновывавшее нередко даже свои социалистического характера учения библейскими текстами. В деятельности библейского общества с самого начала его было одно несомненно крупное положительное значение, вопреки помыслам его учредителей. Ведь для того, чтобы «бедные соотечественники, потерпевшие в последнюю войну разорение», могли найти действительное утешение в Библии и поучаться ей, чтобы Библия могла служить противовесом тлетворным идеям разума, читатель ее должен был прежде всего быть грамотным. И таким образом библейское общество должно было явиться рассадником просвещения, которое всегда за собой влечет пробуждение того общественного самосознания, которое думали заглушить темнотой библейских текстов. То, что у просвещенных людей затемняло сознание, то для непросвещенных являлось пробуждением (Библия притом стала издаваться на русском языке). Библейское общество вместе со Священным Писанием раздавало и азбуку; оно должно было признать необходимым учреждение сельских библейских школ. В связи с деятельностью библейских обществ явились в России под влиянием квакеров и так называемые ланкастерские школы, или школы взаимного обучения. При помощи этих школ также надеялись воспитать весь народ в религиозно-нравственном направлении… Но как раз здесь-то и началась революционная пропаганда.

С.-Петербургское библейское общество, переименованное по высочайшему повелению в 1814 г. в «Российское», открыло целый ряд отделений своих в губернских и уездных городах.

В члены попадает немалое число чиновной знати — «по долгу звания своего», чуть ли не все высшее духовенство — митрополиты и епископы. В провинции отделения организуются губернаторами, епископами, предводителями дворянства и другими лицами, занимающими такое же общественное положение и распространяющими идеи библейских обществ при содействии капитан-исправников, благочинных и т. д. Этих отделений уже скоро насчитывается до шести десятков, действующих весьма успешно. «Чтение Св. Писания, — констатирует отчет библейского общества за 1819 г., — распространяется у нас и между поселянами. Солдаты и матросы сами ищут себе пищи духовной. Во внутренности семейств Библия становится правилом жизни и ежедневным изучением. Но еще утешительнейшие виды представляются ныне для отечества нашего: в сообразность с волею монаршею вводится теперь

чтение Св. Писания по всем учебным заведениям нашим, и таковое основание послужит непременно к насаждению благочестия в духе возрастающего поколения, к созиданию царства Христова на земле». И действительно, модные библейские общества учреждаются среди воспитанников различных учебных заведений, даже «дети» Ришельевского лицея предаются «благословенному подвигу», учреждают между собой библейское сотоварищество для снабжения сверстников книгами слова Божия…

Библейские общества распространяются, потому что им покровительствует высшее правительство. Президент общества — сам кн. Голицын, глава Министерства народного просвещения. Все спешат записываться в библейские общества, ибо тому, «кто не принадлежал к Обществу Библейскому» — тому «не было хода ни по службе, ни при дворе» (Греч).

Александр Тургенев, брат знаменитого Николая, один из главных помощников Голицына по министерству, человек в сущности беспринципнейший в своих убеждениях, может служить хорошей иллюстрацией для характеристики библиомании в тогдашнем обществе. Тщетно допрашивает его друг кн. Вяземский про библейские общества: «Кого здесь обманывают?»… «Отведи душу: скажи, на что тебе наша Библия?» Тургенев отвечает цинично шуткой: «монашеское шампанское не хуже военного». Фигура А.И. Тургенева наилучше рисуется шуточным адресом одного из писем Вяземского, направленного туда, где Тургенев может отыскаться:

> За просвирой иль при котлете,
> С красавицей или попом,
> В храм Лютера или мечети!..

Верную характеристику дал ему Греч: «добрый человек, но пустой, надменный, ветреный, конечно, ничему не веривший…» Жил в верхнем этаже министерского дома и над кабинетом гонителя наук и просвещения сочинял либеральные конституции, беседовал с единомышленником своего брата Николая и меланхолически писал в 1816 г. Вяземскому: «Наша российская жизнь есть смерть. Какая-то усыпательная мгла царствует в воздухе, и мы дышим ничтожеством».

В насаждении этой атмосферы «ничтожества» принимал активное участие тем не менее сам автор этих строк.

Понятно, что библейские общества постепенно превратились в орудия насаждения популярного мистицизма и сделались центрами самого мрачного обскурантизма. Характерным

образчиком может служить речь симбирского губернатора Магницкого при открытии местного отделения библейского общества. Эта речь — целая проповедь против человеческого разума, против мрака философии, затемняющего свет Христов, против «мудрости бесовския».

Наряду с покровительством библейским обществам стоит и покровительство мистике всех оттенков, ибо флаг христианской любви, великих моральных заветов, высоких идей человеческого перевоспитания самое лучшее средство для борьбы с либеральными течениями, для борьбы с свободным просвещением, требованиями разума и социальной правды: мистика всегда была в России враждебна либерализму. Это покровительство мистике неизбежно должно было привести к очень печальным результатам. Мистическое фантазерство очень легко превращается в шаблонное ханжество, в крайнюю религиозную экзальтацию самого дурного тона, т.е. в изуверство и фанатизм. И эта мистика, действительно, весьма скоро получает самые уродливые формы проявления. При недостаточной культурности, «мистической вздорологии», по выражению Карамзина, легко приобрести адептов.

Сам Александр в своем пиэтическом настроении, как мы знаем, легко поддается влиянию крайних мистиков обскурантов, которые окружают его за границей. «Мрачная пифия мистики и реакции» — баронесса Крюденер, напрасно пытавшаяся привлечь Наполеона и возненавидевшая его за это, пользуется на первых порах большим расположением Александра[158]. Крюденер, жена русского посла в Берлине, представляет довольно типичную фигуру религиозной ханжи. Эта прежде светская женщина с возрастом делается очень падкой до религиозной экзальтации, особенно после неудач на литературном поприще[159]. Быть может, потому, что она честолюбива и хочет во что бы то ни стало играть роль. Тенета мистицизма увлекают ее, и трудно разобраться уже, где фальшь, где невежество, где искреннее увлечение и вера. Вместе с Штиллингом, перешедшим от философии Канта к «Духовидению», «помешавшаяся от святости», по выражению Греча, Крюденер вызывает духов, говорит с умершими, произносит назидательные проповеди, пророчествует не только о кончине мира и наступлении тысячелетнего царства Христова, но и на политические темы. В туманной неопределенности, как всегда, готовы увидать глубокий смысл.

Крюденер сумела сблизиться с фрейлиной Стурдзой, пишет ей пророчествующие письма об Александре и умеет хорошо польстить до болезненности самолюбивому императору: он для нее «белый ангел». Все эти «пророчества» удивительно совпадают

с теми охранительными началами, которые ложатся во главу внешней и внутренней политики Александра.

За Александром идут и его друзья, как кн. А.Н. Голицын, человек неглубокого ума и весьма поверхностного образования, явившийся главным официальным насадителем мистицизма в России. Прежде «придворный ветреник», в юности прославившийся веселым нравом, талантом передразнивания, по отзыву Чарторижского, и тем, что на пари дернул Павла I за косу во время обеда, потом «вольтерьянец» и поклонник идей «французских энциклопедистов», несколько неожиданно для себя сделавшийся в 1803 г. обер-прокурором Святейшего синода, наконец мистик и религиозный ханжа, с 1817 г. доходивший до того, что даже нюхал табак из табакерки со священным изображением — мало того и его собачка ела из подобной же тарелки. Он сосредоточивал в себе заведование и церковью и Министерством народного просвещения и при всем том, по выражению Вигеля, до конца оставшийся пустопорожней камергерской головой и любителем при всей своей набожности неприличных анекдотов (воспоминания Сологуба).

При таком высоком покровительстве наряду с Библией в обществе усиленно насаждается и мистическая литература, та самая, которая до 1812 г. не только не находила официальной поддержки, а скорее заподозревалась в тайных революционных целях, на сцену выступают те масоны-мистики, те «мартинисты», которых Ростопчин огулом зачислял в революционеры. В действительности эти ранние александровские мистики, принявшие наследие старого екатерининского масонства, были всегда политическими реакционерами. Проповедь их не заключала в себе оригинального зерна — она повторяла лишь учения немецких пиэтистов. И как у немецких мистиков чувство, не ограниченное требованием разума, легко вдавалось в безбрежную и ухищренную фантастику, так было и у русских их последователей.

Все нелепые увлечения немецкого розенкрейцерства с его поисками таинственных знаний, средневековой алхимией, кабалистикой и доходившей до добывания золота и «жизненного эликсира», с его таинственной обрядностью, магической терминологией и архимистическим созерцанием, — все это нашло себе отклик у масонов-мистиков.

В «Дружеском обществе» Шварца и Новикова это «алхимическое масонство» не затемняло, однако, основной идеи о нравственном и религиозном совершенствовании человека, не затемняло сознания человеческого достоинства. Широкая просветительная и благотворительная деятельность отличает

знаменитый Нови-ковский кружок. Он не отрешается от общественных задач, ставя себе гуманитарные цели общественного воспитания и обличая социальные недуги страны. У Новиковского кружка идея внутреннего обновления человечества не шла до известной степени вразрез с практической работой, направленной на удовлетворение глубоких реальных потребностей жизни.

Старые традиции уцелели и в александровское время, но потеряли всякую общественную ценность. Эти традиции в первые годы александровского времени поддерживал младший сверстник Новикова сенатор Лопухин. Около него ютится небольшой кружок мистиков, его выучеников, который, воспользовавшись благоприятным временем, пытается вновь оживить мистическую литературу путем многочисленных переводов немецких пиэтистов.

Уже в своих ранних произведениях XVIII в., в «Рассуждении о злоупотреблении разума» Лопухин, развивая идеи истиннохристианского понимания вещей, т.е. масонства, и отыскивая «натуру вещей», с большой резкостью выступал против европейского просвещения и равным образом против «французской революции с ее пагубными плодами»: «Равенство! Свобода буйная! — Мечты, порожденные чадом тусклого светильника лжемудрия, расположенные безумным писанием нечестивых татей» — так бичевал Лопухин Францию, это «исчадие папистического изучения и новой философии». Враг «разума», враг положительной науки, он искал тех таинственных знаний, которые раскрывались людям, преданным теософическому экстазу. Друг «божественной алхимии и магии, вооружающих избранных сынов нетленными сокровищами натуры и провождающих их в обетованную землю — в райские обители возобновленного эдема», Лопухин полное, так сказать, раскрытие таинств видел у немцев. Эккартсгаузен и затем Юнг Штиллинг — вот два величайших авторитета, которым раскрыты таинства природы. Вот два «величайших светила божественного просвещения», «проповедника истины и предвестника явления ее царства». Оба признанные оракулы мистицизма были в сущности крайние реакционеры, погрязшие в дебрях апокалиптических толкований и теософического тумана. Люди, в которых мистицизм убил всякую живую мысль, привел к полуболезненному состоянию видений и галлюцинаций: Юнг Штиллинг умер, по-видимому, убежденный, что в нем воплотился Христос — «поборник престолов и алтарей».

За немецкими учителями следовали и русские ученики. Запутавшись в темнотах мистических алканий и верований в

сверхъестественные начала, они являются такими же в сущности политическими реакционерами. Всякие мысли об освобождении принадлежат, по мнению Лопухина, европейской заразе: эти «пустословы», т.е. философы, содействовали порождению «буйного стремления ко мнимому равенству и своеволию, в противность порядка небесного и земного благоустройства».

У Лопухина был ограниченный кружок сочувствующих, и это прежде всего его непосредственные ученики: Ковальков и Невзоров. В их деятельности мы не найдем, в сущности, ничего оригинального — это все вариации на те же темы об аскетизме, о создании церкви внутренней и царства света Божия, борьба с разумом и наукой, представляющими из себя «излияние духа нечистоты». Заглушать всякий «глас ума собственного» — вот основная задача мистиков. Таков был по преимуществу Ковальков, совсем юноша, доходивший до болезненного исступления в своем мрачном религиозном экстазе. Другой друг Лопухина — Максим Невзоров, выученик Новиковской семинарии, одно время страдавший психическим расстройством и содержавшийся в Обуховской больнице, — не был в сущности глубоким и ревностным мистиком; в своей литературной работе он преследовал более морально-педагогические задачи. При содействии Лопухина он начал в 1807 г. издавать журнал «Друг юношества», где наряду с проповедованием нравственно-христианских целей борется с французским влиянием. К этому кружку относился и другой чрезвычайно плодовитый выученик старого масонства — глава петербургских мистиков, А.Ф. Лабзин, директор департамента военно-морских дел, начавший издавать в 1806 г. специальный христианский журнал «Сионский Вестник». Но тогда еще мистика не получила официальной санкции[160], и Лабзин вскоре должен был прекратить издание до более благоприятного времени. Направление «Сионского Вестника», в сущности, не выходило из общих мистических контуров. Это все та же «мистическая» ненависть к французской революции, к буйству разума и проповедь внутреннего общения и соединения человека с Богом для достижения высших моральных целей.

И в конце концов, в этой мистической литературе действительно было очень мало оригинального. Эккартсгаузен и Юнг Штиллинг — это были настоящие вдохновители тех, кто принял на себя наследие Новиковского кружка. Их проповедь, их морально-педагогическая деятельность в сущности никакой положительной ценности в общественном отношении не имела. Их религиозные искания заводили в лабиринт самого ухищренного мистицизма, который в лучшем случае должен был вести к полному квиэ-тизму, к отрешению от общественных задач.

Это отрешение и является характерной чертой мистицизма начала XIX века. Его представители так много говорили о христианской морали, о вреде гордости и любостяжания, и тем не менее проходили мимо того крепостного варварства, которое всегда останавливало на себе внимание их екатерининских предшественников. Они не доходили до идеи противоестественности рабства, убаюкивая себя тем, что их задача более существенная, чем думать о тленном мире — «свергнуть оковы не мнимые, оковы греха, смерти и ада». «Свобода — в добродетели», — устанавливает Лабзин в первой книжке «Сионского Вестника». «Добродетельный, благочестивый муж и в цепях свободен, а злой и в чертогах и во славе раб». Самое большое, до чего доходили они в своих моральных проповедях, это сентенции, направленные по адресу помещиков и фабрикантов: не жадничать; быть гуманными и из «кровопийцев» делаться благодетелями трудящихся. Так писал, между прочим, Невзоров в 1809 г. в своем журнале. Но ведь эта проповедь человеческих отношений к крепостным была, в конце концов, пустым местом, равно как и памфлетические нападки Невзорова на недостатки современного ему общества. Сатира Невзорова сводилась к» шаблонным нападкам на галломанию, на поверхностное воспитание и т.п. Здесь много было правды, как была она и в XVIII веке. Но эти нападки были лишены своего общественного значения, ибо оставляли в стороне ту социальную подкладку, которая питала крепостнические чувства и воспитывала в моральном варварстве все молодое дворянское поколение. Наоборот, боязнь положительных течений, шедших из Франции на Россию на ряду с модами, заставляла мистиков становиться всецело на защиту консерватизма: и недаром Лопухин — защитник крепостного права.

Если, таким образом, общественная ценность мистической литературы была весьма незначительная в смысле морального воспитания общества, то зато отрицательная ее сторона находила широкий отзвук в реакционных кругах: мистик и реакционер в конце концов сливались в одно целое. Вражда к науке, к разуму, к просветительной философии, к идеям политической свободы и социальных реформ, которые несла с собой революция, и, наконец, вообще к Франции — все это объединяло христианствующих литераторов и крепостников староверов в одну реакционную группу.

В сущности, упомянутый кружок мистиков, примыкавший по своим воззрениям и традициям скорее к отошедшему уже веку, первоначально был довольно одинок. Как ни обильна была относительно сама по себе мистическая литература, писателей

мистиков в действительности два-три. Всю первую книгу «Сионского Вестника» Лабзин написал один. Печатая в своем журнале незначительные отрывки творчества Лопухина, народного философа-мистика XVIII века, Сковороды и др., он преимущественно, однако, занимался переводом и переложением немецких оригиналов.

Эта мистика, будучи и в литературе одинока, не могла захватить широких слоев общества, не могла пустить глубоких корней. Аскетизм и мистицизм слишком далеки сами по себе от обыденной житейской обстановки, от того мещанства, которое все же является главным содержанием жизни общества при современной социальной структуре. И мистицизм, конечно, особенно мало подходил к дворянскому крепостному обществу.

Но те общественно-политические условия, которые создались после 1812 г., когда Россия как бы официально вступала на «путь апокалиптический», благоприятствовали распространению мистических исканий. Старые литературные авторитеты, однако, сошли уже со сцены. Новиков (ум. 1818) вместе со своим другом «Божьим человеком» СИ. Гамалея (ум. 1822) доживают век в с. Авдотьине под Москвой, совершенно отрешившись от общественной жизни. Лопухин тоже выходит в отставку после 1812 г. и поселяется в своем кромском имении. Живет здесь довольно одиноко, окруженный небольшой группой почитателей и учеников, проповедуя монашеский аскетизм, а в действительности предаваясь в своей крепостной деревне мистическим забавам. Он развел здесь сады, украсил их памятниками с причудливыми символами и в этом красивом уединении предавался самосозерцанию и мистическим размышлениям. Это был какой-то барский мистицизм, неизбежно в действительности очень далекий от основной проповеди: «Наипаче должно упражняться в люблении ближнего», Все любление ближнего сводилось к некоторому «нищелюбию», которым, по отзывам некоторых современников, отличался старый Лопухин.

Центральной фигурой становится Лабзин, возобновивший в 1817 г. свой журнал «Сионский Вестник» с посвящением его непосредственно Господу Иисусу Христу.

Лабзин издает свой журнал уже с «Высочайшего повеления» и получает даже 15 000 р. правительственной субсидии. Лабзин проповедует все те же старые мистические «истины», которые отзываются подчас тем же ребяческим легковерием. Этот «человек», признававший «науку», доходил до самых невозможных бредней. Химия — это «искусство, которым… просвещенные собственными очами созерцают таинства Иисуса,

последствия Его страдания и в химических явлениях видят все происшествие и следствия Его воплощения»… Эта «теософическая химия» была, конечно, весьма своеобразной наукой.

Та же ухищренная мистика распространяется и через переводы Эккартсгаузена и Юнга Штиллинга. Возрождаются и старые масонские авторитеты: Арндт, Яков Бем, Фома Кемпийский, Таулер, Сен-Мартен, г-жа Гюйон и др., появляются всевозможные «Божественные философии», «Гармония мира», «Таинство Христа» и т. д. С1813 —1823 гг. вышло до 60 мистических сочинений. Если до такого понимания «науки» в духе самого старого «алхимического мистицизма» доходил Лабзин, то к каким результатам должна была приводить мистика, насаждаемая через литературу, библейские общества, масонские ложи, людей просто невежественных, но поддавшихся по тем или иным мотивам господствующему в правительственных сферах настроению? Она приводила к самому мрачному и грубому ханжеству.

В самом деле, всякого рода «пророки» пользуются необычайным успехом. Особенно экспансивны в этом отношении дамы высшего круга. В начале царствования Александра среди них успешно действовали патеры-иезуиты, теперь успех имеют всякие ясновидцы и тому подобные толкователи. Некоторых из этих дам идеи обновления человеческой жизни на религиозных началах захватывают настолько глубоко, что они бросаются в практическую деятельность. Такова была кн. Мещерская, пользовавшаяся большим уважением со стороны самого императора. Это была впоследствии большая любительница «собачек и воспитанниц», на обязанностях которых лежало изучение индивидуальных наклонностей тех «Мими и Жужу», которые окружали княгиню. С таким же рвением кн. Мещерская, в связи с деятельностью библейских обществ, предавалась созданию и распространению назидательной литературы, в виде религиозно-нравственных поучений. Другие с такой же страстью отдаются новому религиозному чувству — мистическим исканиям.

Для широких кругов общества того времени чрезвычайно характерно положение, которое занял в Петербурге знаменитый скопец Кондратий Селиванов. Это было время, когда расцвел «зеленый райский сад», как поют скопцы в своих песнях. В «Сионе-граде» жил «искупитель»; «приходили к нему царские роды, все со страхом покоряли сердца, прославляли искупителя-отца». Действительно, мистицизм Селиванова среди многих лиц должен был вызвать интерес. Один из мистиков, находившихся под влиянием Лабзина, Кошелева и др., камергер Елянский,

сделался даже самым верным последователем Кондратия Селиванова. В царствование Павла последний находился в Обуховской больнице, главным врачом которой был мистик-масон Эллизен. После посещения в 1802 г. Александром I Обуховского дома Селиванов был переведен в богадельню при Смольном монастыре, а затем был передан на поруки Елянского. Селиванов поселился в доме петербургских купцов Ненастьевых. И очень скоро молва о «святом старце» распространилась по Петербургу.

Тогда уже дом Ненастьевых стали осаждать представительницы высшего света и купечества, желая получить благословение от праведника. Кондратий Селиванов и его последователи получили такую популярность, что Елянский, явно человек ненормальный и подверженный галлюцинациям, в 1804 г. представил даже императору Александру через Новосильцева целый план необходимых государственных преобразований «на прославление истины Господней и на возвышение возлюбленного отечества, Росс-Мосоха именуемого». Правда, за мечты о «таинственной церкви», на фундаменте которой должно базироваться государственное устройство России, Елянский был отправлен в Суздальский монастырь; но это не помешало самому Александру посетить «искупителя» перед Аустерлицем. По преданиям, разговор зашел: начинать ли войну или нет? И будто бы Селиванов не советовал начинать войны «с проклятым французом»: «Не пришла еще пора твоя, побьет тебя и твое войско, придется бежать куда ни попало». «Не даю благословения тебе, явному царю, не ходи ты на войну. Без тебя врага уйму». Во всяком случае, в Петербурге интерес к предсказателю от этого лишь усилился.

На вечерних собраниях у Ненастьевых можно было видеть немало представителей знатных петербургских фамилий. В1817 г. Селиванов переселился уже в специальный дом, выстроенный для него купцом Солодовниковым, — это был «дом Божий», «Горный Сион». Солодовников устроил все приспособления для жизни «второго Сына Божия» и для его проповеди. Сам «искупитель» восседал на троне, с которого можно было видеть танцующих и поющих во время молитвенных радений. К Селиванову ежедневно сходилось на радения от 200—300 человек: здесь бывали военные, дамы, купчихи, монахи, монахини, здесь бывали постоянно племянники петербургского генерал-губернатора Милорадовича, жена полковника Татаринова и др. «Днем, — рассказывает современник, — нередко несколько карет, заложенных по тогдашнему обыкновению четверкою и шестеркою лошадей, стояли в Баскове пер», — это все приезжали к

«известному старцу», — как именовался Селиванов в полуофициальной переписке, — чтобы познакомиться, с таинственной проповедью нового христианства.

Только в 1820 г., когда проповедь Селиванова стала распространяться среди нижних чинов, проповедник вновь был отправлен в Суздальский монастырь. Отправлен был, впрочем, с почетом — в особой коляске, стоившей казне 1700 р. Каждый мистик был любезен сердцу кн. Голицына.

Конечно, проповедь Селиванова могла заинтересовать, но не увлечь. Еляиские считались единицами.

Одна из посетительниц еще ненастьевских собраний Татаринова образовала свой кружок, получивший значительную популярность своими экзерциями среди мистиков, не могших удовлетворить своих религиозных потребностей одними лишь немецкими умствованиями и самосозерцаниями. Татаринова представляла собой довольно заурядное явление, — это была женщина, впавшая в религиозность после семейного несчастья. Ненастьева вовремя сумела подойти и воспользоваться ее настроением, окрепшим под влиянием небезызвестного рижского теософа действ, стат. совет. Гюне и его приятеля действ, стат. совет. Багинского. И весьма скоро Татаринова всецело уже отдается мистическому трансу, сама делается пророчицей, что и влечет к ней души и сердца других ищущих. В1817 г. Татаринова образует свое собственное «Братство во Христе». К ней присоединяются многие из тех, которые бывали на радениях у Селиванова: мы видим на ее собраниях тех же гвардейских офицеров Д. и А.Г. Милорадовичей, знаменитого художника Боровиковского, Лабзина, Е.А. Головина, командира л.-гв. Терского полка, впоследствии главнокомандующего на Кавказе, министра народного просвещения кн. Голицына, тайного советника Попова, обер-гофмейстера Кошелева, вице-президента библейского общества и мн. др. Здесь и представительницы аристократической среды княгиня Енгалычева, и княжна Крапоткина, и свящ. Алексей Малов, и монах Иов. Человек пятьдесят, по словам современников, собираются на молитвенные собрания Татариновой. Скоро эти молитвенные собрания превращаются в мистические радения со всеми их атрибутами. К ним члены татариновского кружка уже привыкли у Селиванова и «тоскуют» по ним. Надо ведь особо повышенное настроение, особое возбуждение, чтобы впасть в транс, чтобы «отверзлись уста» и начать пророчествовать. Как всегда, это возбуждение вызывается искусственным путем: путем пляски, быстрого верчения и т. д.

В сущности, трудно установить, что в действительности

происходило на этих радениях. О них ходило по городу много сплетен, как всегда, быть может, в значительной степени ложных. На собраниях одевали белую одежду, пели различные масонские, скопческие, хлыстовские песни, образовывали «круг» и предавались тем «телесным движениям», которые более возбуждали способность к пророчеству. Чем экзальтированнее была натура, тем большая проявлялась в ней способность к пророчеству. Первенствовала сама Татаринова. Один из участников «радений» рассказывает, как под влиянием пророческого слова Татариновой тайн. сов. Попов «начал кружиться невольным образом, сам испугавшись столь сильного над собой духовного влияния». Все это происходило, конечно, с «премудростью, всеведением и властью явно божественным». Вот эта «возможность обладать способностью говорить не по размышлению… а по вдохновению, в котором голова нисколько не участвует», и привлекала на радениях. «Подчиняясь средству под названием радения, — рассказывает Головин, — я, отлагая и попирая ногами всю мудрость людскую с ее приличиями», низлагал «гордость естественного разума». Этот род движения, по словам того же Головина, производил такую «транспирацию», какой и самые земные поклоны «не производили». И после такой «транспирации» Головин чувствовал «себя каждый раз необыкновенно легким и свежим», что, как оказывается, имело благотворное влияние на его здоровье. Головин попросту в это время страдал истерическими припадками, которые сопровождались для него «сладостным чувством внутреннего блаженства», — явление, хорошо известное в психопатии. Участниками татариновского кружка и являлись в большинстве люди, которых мистика доводила почти до болезненного состояния. Люди с расшатанными нервами, как Головин[161], экзальтированные фанатики вроде Татариновой, ищущие мистики, заблудившиеся в дебрях своих исканий, вроде Лабзина, религиозные ханжи вроде т. с. Попова, истязавшего свою дочь за то, что она чувствовала «отвращение» к обрядам татариновского кружка, — вот кто составляли центр, к которому притекало, вероятно, немало шарлатанствующей братии; к ним примыкали и другие религиозные ханжи, которых время плодило немало. Таков, например, подполковник Преображенского полка А.П. Дубовицкий, человек, одержимый меланхолией, носивший вериги в 30 фунтов, секший себя кнутами и занимавшийся у себя в деревне миссионерством. Впоследствии этот Дубовицкий — богатый помещик — устроил у себя целое общежитие в 68 человек, щедро одаряя своих последователей. И, как обнаружило следствие в 1828 г., он и чужих и своих собственных детей

изнурял голодом и побоями, каждодневно наказывал розгами и плетью, у которой концы были со смоляными шишками. Также до крови сек Дубовицкий и тех своих крепостных, которые недостаточно проникались его «миссионерством»[162].

К такому религиозному изуверству, в конце концов, приводили искания высшей религиозной истины.

Конечно, все подобные крайности были только единичными фактами. Недаром лишь татариновский кружок приобрел незаурядную историческую известность. Ни в Москве, ни в провинции, в сущности, нет ничего аналогичного.

Центром мистики является Петербург, вернее, даже петербургская аристократия, близкая к придворным кругам и очень чуткая ко всякого рода переменам в высших сферах. Мистика расцветает там, где ей особенно покровительствуют, где она будет заметна и угодна. И знаменательно, что о татариновском кружке не только знают, но определенно сочувствуют, как сочувствуют до времени и модному салону, где пророчествует явившаяся в Петербург г-жа Крюденер. Татаринова имеет свидание с императрицей Елисаве-той Алексеевной, и последняя обещает ей свое покровительство. Сам император выражает ей одобрение: «Я вами очень доволен за учение ваше о Спасителе нашем». Сердце Александра пламенеет особой любовью к Спасителю, когда он читает в письмах Д.А. Кушелева о татариновском обществе. Имеется свидетельство, что Александр сам посетил татариновские радения. Характерно, что радения до 1821 г. происходят в Михайловском замке, где устроительница собраний живет, имея бесплатную квартиру. В 1821 г. Татаринову выселяют из Михайловского замка; причина та, что брат государя, Николай, просит замок под инженерное училище. Александру неловко отказать в просьбе брату, и он ассигнует по наитию «на молитве» специальные деньги (8000 р. ежегодно) Татариновой на «наем квартиры со всеми удобствами».

Чрезвычайно любопытны и сами мотивы этого покровительства, как видно из разговора Александра с Татариновой, передаваемого довольно осведомленным о делах татариновского кружка ст. сов. Ивановым. «Продолжайте, — сказал будто бы Александр Татариновой. — Ныне распространяются на Западе карбонарии и проникли уже в мою державу».

Как и ранний мистицизм александровского времени, так и мистицизм, пышно расцветший после 1812 г., в действительности не пускал глубоких корней в русском обществе. В каждом обществе мы найдем, конечно, искренних мечтателей, не удовлетворенных жизнью, стремящихся понять ее смысл и

разрешать сложные религиозно-философские вопросы; мы всегда найдем известное число надломленных натур, ищущих как бы самозабвения в мистических созерцаниях; мы найдем людей слабых волею, поддающихся метафизике. Модные течения подчас могут широко охватывать общество. Мистицизм «augmente journallement» сообщает австрийский посол в Петербурге Лебцельтерн своему шефу 26 мая 1817 г. И тут же делает попутно замечание об органе Лабзина: он столь мистичен, что его «мало кто понимает». Но именно вещи, которых не понимают, особенно затуманивают головы. Так было и с Александром, который, по собственному признанию, читал лабзинские переводы и тщетно старался их понять.

Этим модным течениям в обществе поддается даже такая трезвая натура, как Сперанский, усиленно рекомендовавший своему другу приемы древних аскетов для достижения благодати: уединяться, смотреть в пуп и повторять: «Господи, помилуй», чтобы увидать «Фаворский» свет. В ссылке Сперанский занимается переводом «Подражания Христу» Фомы Кампийского, по поводу чего Вигель в своих записках замечает: «Я стараюсь уверить себя, что тут не было лицемерного желания сблизиться вновь с набожным императором». Во всяком случае, надо помнить, что Сперанскому перед возвращением из ссылки пришлось поклониться временщику Аракчееву и отказаться почти от всего того, что он говорил и делал во времена «либерального» правительственного курса. И то его возвращенье, по свидетельству Сипягина, произвело «почти такое же волнение в умах, как бегство Наполеона с острова Эльбы».

После 1812 г. религиозные настроения несомненно должны были усилиться, как это почти всегда бывает после сильных общественных встрясок. Мы найдем подтверждение в словах объективного и спокойного современника будущего декабриста бар. Штейнгеля; он писал впоследствии: «Общее бедствие 1812 года наклонило ум и сердца к набожности. Отселе начинался период мистицизма». Но это еще не означает, что мистические настроения глубоко захватили общественное сознание. Если для одних, повторяем, здесь много было искреннего увлечения, для других это была своего рода вывеска — воспринималась внешняя оболочка модных течений. И остроумный александровский баснописец Измайлов дал меткую и злую характеристику распространившегося в обществе типа ханжи-мистика:

Бездушии прежде пил, играл
И женщин и мужчин, как дьявол, соблазнял.
Ни чести, ни родства, ни Бога он не знал,

Но вдруг потом переменился
И в землю все молился,
Ходить прилежно в церковь стал,
А дома Библию да Штиллинга читал…
Пусть думают, что я ума рехнулся:
Поддел я славно сатану,
А уж людей теперь, конечно, обману…

Разве это, действительно, не жизненный тип для александровской эпохи? Разве не глядит на вас образ какого-нибудь генерал-майора Брискорна, который, по словам Греча, занимался попеременно пуншем и Библией?

«В этой стране, — замечает французский посланник Лаферонэ по поводу увлечения мистицизмом, — более чем где-либо подражают вкусам господина».

Еще раньше современник Екатерины и Павла Массой так характеризовал русского дворянина: «Вкус и характер он будет менять так же легко, как моды, и несомненно, эта физическая и умственная гибкость его отличительная черта». «Из русского, — заметил еще Мирабо, — можно выковать при желании что угодно».

Мистический уклон в обществе вполне гармонировал к тому же и с сентиментальным романтизмом, столь характерным для литературных течений первой четверти XIX века. Если одни «предаются мрачным рассуждениям о бренности жизни и проводят целые ночи, — как выразился Батюшков, — на гробах и бедное человечество пугают приведениями, духами, страшным судом», то другие всецело находятся во власти самой «приторной слезливости»: кающийся грешник становится как бы особым типом в аристократическом русском обществе. И действительно, меланхолия очень близка мистицизму. Конечно, искренней эмоции здесь очень мало, это более искусственное или модное возбуждение. Нам уже приходилось отмечать любопытное явление, что именно наиболее рьяные крепостники любили настраивать себя на минорный лад и успокаивать, очевидно, свою совесть чтением «Сеятеля Благочестия», как Аракчеев. Этот сентиментализм был одной из опор реакции, идя в ногу с мистикой.

Сентименталисты в литературе любили восторгаться пастушескими идиллиями, воспевать «щастье крестьян», как Карамзин, и тем самым вместо того, чтобы будить общественное сознание, лишь убаюкивать его своими слезливыми излияниями. Русский мужик, правда, был весьма плохим объектом для

идиллических мечтаний. Это чувствовала, в сущности, и слезоточивая романтика. «Известно, — писал Панаев, — каковы нынешние пастухи и земледельцы: продолжительное рабство сделало их грубыми и лукавыми». Грубость отвращала тонкие натуры от пастушеских идиллий, взятых из русской жизни, но отнюдь не побуждала к ослаблению «рабства».

Если люди, способные «по целым часам» сидеть в сентиментально-меланхолической задумчивости (как опять тот же Карамзин), не всегда увлекались мистикой, которую называли «вздорологией», то все же от сентиментализма до мистического ханжества оставался один шаг.

«Пустословие» удивительно легко увлекает людей. Примером могут служить массоны нового типа, расплодившиеся в александровское время.

3. МАСОНЫ

После 1812 г. масонство, как отмечает современник, в «большом ходу». И его развитие нельзя не сопоставить с усилением мистицизма, с которым оно в прежние годы было связано неразрывными узами. Старые масоны в значительной степени сливались с мистиками. И когда мистика получила правительственную санкцию, должно было развиться и масонство, которое было гораздо более по плечу светскому обществу, чем идеи какого бы то ни было религиозного аскетизма, искреннего или неискреннего ханжества: Мария Антоновна Нарышкина в свободное от романтических приключений время могла посетить ложу Грабянки, ибо увлечение «духоведением» было в моде в 1806—1807 гг. Но вся натура этой жизнерадостной великосветской львицы, конечно, была необычайно далека от мысли о житейской бренности и от каких-либо мистических умствований и чувствований. Старые масоны екатерининского и павловского времени по недоразумению были зачислены в ряды «иллюминатов», т. е. людей неблагонамеренных, единомышленников западноевропейского иллюминатства, того масонского ордена, который был основан проф. Вейсгауптом в Баварии с целью противодействовать «всякаго рода деспотизму»[163]. Напр., масоны-мистики розенкрейцеры считали иллюминатов, по выражению Пыпина, скорее «извергами человеческого рода». Истинный масон, по мнению последователя розенкрейцерства Лопухина, автора «Катихизиса истинных франк-масонов», «должен царя чтить и во всяком страхе повиноваться ему, не токмо доброму и кроткому, но и строптивому». Эти политические в сущности реакционеры подверглись, однако, преследованиям.

Одновременно с возрождением мистицизма в первые годы александровского правления, когда, по словам одного из современников, в обществе стало замечаться движение «иного духа»,т.е. сознание о своевременности «критики в разум истины, искать царства Божия и правды ее» (что совпало, как мы знаем, и с националистическим течением в обществе), — возобновляются и масонские ложи. Так, под руководством масона директора кадетского корпуса в Петербурге Бебера, о котором молва говорила, что он обратил в масонство самого Александра, «весьма таинственно» начинает работать в 1805 г. ложа «Благотворительность к Пеликану». Есть свидетельство, что лопухинский кружок первоначально отнесся несочувственно к

возобновлению деятельности масонских лож[164]. Но Невзоров и Лабзин уже деятельные масоны; последним в 1808 г. учреждена также таинственная ложа «Умирающего Сфинкса».

Несмотря на обвинение «мартинистов» во всяких злодеяниях и революционных помыслах со стороны реакционеров, подобных Ростопчину, правительство не видит уже в масонах ничего зловредного. Масоны, получив поощрение со стороны прусского короля во время пребывания его в 1807 г. в Петербурге, определенно борятся с «вольномыслием»: напр., ложа «Нептун» Голенищева-Кутузова занимается специальной скупкой либеральных книг. Подобно тому, как Мюрат в Неаполитанском королевстве легализирует карбонаризм в целях сыска, так и русское правительство пытается использовать масонские ложи в целях отвлечения общества от «вредных начал» — помешать организации каких-либо других обществ, основанных на этих началах. Министр полиции Балашов определенно заявляет Вилламову в 1810 г., что правительство имеет виды на масонство. В том же году[165] Александру была представлена специальная записка о мерах «к устройству масонства». Записка рекомендует даже устроить «мать-ложу», создать особую организацию масонства для более удобного полицейского за ним наблюдения. И ложи в действительности получают полуофициальное существование. Чиноначальники масонских лож были вызваны ген. Балашовым, получили от него особое руководство[166] и были обязаны ежемесячно доставлять в министерство отчеты о собраниях, которые иногда посещал и сам Балашов. Эта практика продолжалась и при Вязьмитинове — преемнике Балашова — и вплоть до закрытия масонских лож.

Мало того, в том же 1810 г. вступает в число членов ложи «Петра к истине» (подчиненной директориальной ложе «Владимира к порядку») сам де Санглен — директор особой канцелярии Министерства полиции с целью «наблюдать, чтобы ложа соответствовала общей государственной цели — безопасности».

Естественно, что это полуофициальное разрешение придавало ложам несколько иной характер, чем тот, который отличал тайные масонские ложи на Западе и русские при их возникновении. Чиноначальники масонские: Бебер, позднее гр. Мусин-Пушкин, Брюс, Жеребцов строго соблюдали принятое обязательство. Жеребцов в своей ложе «Соединенных Друзей» установил строжайшую даже цензуру речей. Никто, кроме управляющего мастера, не имел права говорить, не подав своего «письменного слова» на одобрение Великого мастера. При открытии той или иной ложи всегда осведомлялись

предварительно — будет ли пользоваться «доверием» правительства открываемая ложа. В 1817 г. центральные масонские ложи приняли постановление, что впредь ни одна ложа не будет законна, если не будет признана правительством и учреждена без ведома центральных.

Мало того, гр. Мусин-Пушкин в 1819 г. прямо обращается с просьбой к Вязьмитинову не дозволять существования лож, независящих от великих лож в Петербурге. Правительственный контроль был настолько силен, что даже для перехода из одной ложи в другую требовалось до некоторой степени разрешение администрации, хотя непосредственное наблюдение за ложами и было вскоре отменено. Отменено было потому, что правительство убедилось, как заявил 23 марта 1812 г. масону Элизену Вязьмитинов, что «ложи никак сомнительны быть не могут». И позднее, в 1816 г., Александр то же самое сказал Тормасову при возникновении вопроса о разрешении открыть в Москве ложу «Александра тройственного спасения». «Я формально позволения на это не даю. У меня в Петербурге на это смотрят так (государь взглянул сквозь пальцы). Впрочем, опыт удостоверил, что тут зла никакого нет» (рассказ Штейнгеля)[167].

Насколько законопослушным является александровское масонство, показывают переговоры, имевшие место в 1818 г. между руководителями русского масонства с Испанским Востоком. Для этих переговоров приезжал в Россию специальный делегат Дон-Жуан-ван-Халес. Союз между двумя капитулами не был принят русскими каменщиками ввиду непрочности существования масонства в Испании, где последнее не пользовалось расположением правительства и где братья даже подвергались преследованиям.

Были, правда, и как бы тайные ложи, напр., Лабзина. Втайне продолжало работать и высшее масонское управление в России — так называемый Капитул Феникс. Этой высшей таинственной власти г-жа Соколовская придает большое значение. Между тем такое управление было в значительной степени фикцией. Это был лишь пережиток прошедшего времени. Любовь к таинственному у лиц, занимавших в масонстве высшие «должности», заставляла сохранять потерявший какой-либо реальный смысл пережиток XVIII столетия, когда русская масонская директория подчинялась формально Великому Мастеру IX Провинции, герцогу Карлу Зюдермандланскому шведскому. И как первый высокопросвещенный префект Капитула Феникс в России кн. г.П. Гагарин должен был охранять в тайне от масонской толпы учреждение Капитула, так и высокопросвещенный префект александровского времени Управляющий Великой

Директориальной Ложей Бебер в роли «Викария Соломона» должен был малозначащую тайну охранять от проникновения в нее так называемых профанов. И когда Ланской, открывая ложи, говорил: «велено нам собираться и научиться», это было лишь формой, которую так любили соблюдать и охранять вожди современного масонства.

Общее масонское постановление, однако, гласило: «не иметь никаких таинств перед правительством». В жизни такое правило было единственно реальным.

При таких условиях масонские ложи постепенно преобразовывались в своеобразные общественные клубы, где вся фантастика и символистика становилась лишь модным придатком.

В этих масонских клубах постепенно исчезли и те крайние черты символистики, которые отличали старое масонство. Новое масонство, более подходящее для широких кругов, в данном случае подчинялось и новым течениям, получавшим преобладание в Германии. Отсюда распространялась новая масонская система Шредера, отвергающая высшие степени, как отжившую «нелепость», и распространенная в России масоном Фесслером, одно время призванным читать лекции по еврейскому языку и философии в петербургской духовной академии[168]. Это вводило некоторое упрощение в сложный масонский ритуал, — упрощение, более подходящее к клубной обстановке. «Уложение» «Астреи» — получившего вскоре преобладание союза масонских лож — определенно уже говорит: «не иметь в предмете работ изыскания сверхъестественных таинств, не следовать правилам так называемых иллюминатови мистиков, тоже алхимистов, убегать всех подобных несообразностей с естественным и положительным законом».

Старое масонство отличалось причудливою обрядностью со своеобразной терминологией, преисполненной таинственной символистики и аллегории. Заимствованные из Швеции, Англии, Германии и Франции масонские системы представляли собой сложную иерархическую организацию (низшие степени, шотландские братья, теоретические братья), которая обязывала младших братьев строгому послушанию просвещенным братьям высших степеней. Иногда масонский орден имел целых 32 степени. Посвящаемый связывался строгим обетом молчания. Истинные масонские цели знали лишь члены высших степеней — свободные каменщики. В жизни обычного масонства эта таинственность превращалась в смешную игру титулов… Против этого ненужного балласта и раздался протест среди возобновивших свою деятельность масонских лож не только в

России, но и в Польше[169].

Под влиянием Фесслера известный и, по-видимому, искренний масон англичанин Элизен, доктор Обуховской больницы, открыто выступил против бессмыслицы высших степеней. Возникшие несогласия закончились учреждением новой великой масонской ложи имени богини правосудия — Астреи; отвергая иерархию, новый союз выставлял выборное начало и принцип равноправности членов[170].

В 1817 г. обе великие ложи на Востоке в С.-Петербурге («Астрея» и «Великая Провинциальная, или Директориальная, признававшая высшие степени»), заключили между собой братский конкордат, определивший их взаимные отношения. Большинство этих лож работало в Петербурге, были ложи в Москве и провинции: в Ревеле, Митаве, Кронштадте, Варшаве, Киеве, Симбирске, Тамбове, Ярославле и др. Некоторые из них работали на французском, польском языке, большинство на немецком и русском.

Ложи по-старому носили самые причудливые наименования: «Александра тройственного спасения», «Трех венчанных мечей», «Умирающего сфинкса», «Ключа к добродетели», «Александра к коронованному пеликану», «Нептуна в надежде» и т. д.

Несмотря на упрощение в масонской обрядности, последняя все же переполнена аллегориями, символами, туманным языком, которым любят изменяться свободные каменщики. Вся эта обрядность, конечно, не имела никакого глубокого значения. Да и большинство масонов, мечтавших о каком-то «всемирном гражданстве», говоривших, что «вселенная есть отечество каменщиков», даже гроссмейстеры были в сущности весьма плохо осведомлены о задачах деятельности своих европейских братьев. На заседаниях повторялись заученные фразы, написанные в капитулах и уложениях. Да, это была в действительности игра «больших детей», игра в духе того времени, отвечающем вкусам общества к ритуалам и театральным церемониям. Недаром масонскому ритуалу подражают и клубы. Пародируют эту обрядность даже такие литературные организации, как «Арзамас». Шуточная обрядность повсюду процветает вплоть до пирушек в аристократической среде, где входит в обычай, как рассказывает Стогов в своих воспоминаниях, пьяных хоронить со свечами и другими аксессуарами погребального ритуала.

Теоретически масонство ставит себе высокие цели: внутренне переродить человечество; изгладить между людьми предрассудки каст, уничтожить фанатизм и суеверие, бедствия войны. Одним словом, преобразовать «весь мир в единое непоколебимое святилище добродетели и человеколюбия»; образовать из сего

человечества одно семейство братьев, связанных узами любви, познания и труда. Создать «царство-равенство» — такова высокая задача, которую теоретически ставило себе масонство как целое. Вольные каменщики не признают никакого другого различия, кроме производимого добродетелью: порода, чин и богатство — отметаются:

Здесь вольность и равенство
Воздвигли вечный трон,
На них у нас основан
Полезный наш закон.

И символически ватерпас в ложе изображает это всеобщее уравнение. «Мы все одной природы, следовательно, и равны между собой». «У нас и царь со всеми равен, и нет ласкающих рабов», — поется в масонской песне.

Так было только в «песне»; в действительности масон Поздеев и теоретически считал недопустимым, чтобы «масоны» называли «братьями царей». И в теории было несомненное противоречие: недаром в десятую степень просветленного Капитула Феникса могли быть приняты только в теории лишь те дворяне, которые насчитывали не менее четырех поколений предков дворян.

Но от этой идеологии ничего не останется, как только мы спустимся с заоблачных высот к реальной жизни. Правда, нарисовать какую-нибудь единую характеристику общественного и политического миросозерцания масонов совершенно невозможно: в масонских ложах, как мы увидим, сходились люди самых различных миросозерцании и положений: здесь были заядлые крепостники, самые ухищренные мистики, люди прогрессивного образа мнений и, наконец, самые безразличные.

Было бы глубочайшей ошибкой утверждать, что между вольтерьянцем и свободным борцом — декабристом стоял «сантиментально настроенный идеалист, друг человечества и просветителей — свободный каменщик». С этим положением мы очень часто можем встретиться в современной литературе, рисующей себе тип «свободного каменщика» по известному экспромту — воспоминанию Пушкина о Кишиневской масонской ложе.

Самый искренний масон был скорее политическим консерватором: ведь он в поисках истины и света работал «над созданием храма внутренней жизни». Он думал о самоусовершенствовании путем обновления «изнутри», путем нравственного возрождения отдельной личности. Он мирился с

существующим строем, следовательно, его идеология в лучшем случае, как мы указывали, приводит к общественному квиэтизму, а по большей части к оправданию этого несовершенного существующего общественного строя. Всякую перемену он признавал «гибельным лжемудрствованием, проявлением пагубного буйства», ведущего свое начало от французской революции. Эти речи мы очень часто слышим в масонских ложах. «Простолюдины, — сообщает один из видных современных масонов гр. Виельгорский в своих «Беседах», — не имея никакого понятия о существе нашего ордена, весьма его любили, предполагая по названию свободных каменщиков, что наше братство старается их сделать вольными, в чем они весьма ошибаются, ибо мы стремимся свергнуть с себя оковы не мнимые, поистине тяжкие, а именно оковы греха, смерти и ада». Неправ был разве декабрист бар. Штейнгель, разделивший при таких условиях всех масонов на два рода людей — обманывающих и обманываемых.

Свобода человека — «свобода сил его внутренних»: «человек человеку может быть братом во Христе, а телом быть ему рабом». Но это положение противоречило и теории масонской: крепостной не мог быть членом ложи, его можно было употреблять лишь для услужения. Масонство и в теории, как мы видим на примере Невзорова, не возвышалось далее призыва фабриканта и помещика стать «благодетельным, милостивым христианином» — быть «кротчайшим господином», как говорил масонский устав.

Итак, масоны не поднимали вопроса об уничтожении крепостного права. Но часто за крепостное право они говорили много.

Самым настоящим крепостником был также знаменитый масон, последователь розенкрейцерства — Поздеев. Тот, кто хлопочет об освобождении крестьян, — писал он в 1817 г. С.С. Ланскому, — тот хочет Россию «в корень разорить». «Если дастся воля, это значит, — воля делать всякие беспорядки, грабежи, убийства» и т. д.; за три года перед тем Поздеев представил специальную записку: «Мысли противодарования простому народу так называемой гражданской свободы». Поздеев — защитник дворянских привилегий: «дворяне в государстве так, как пальцы у рук». Поздеев вовсе не представлял собой какого-либо исключения. Огромное большинство братьев масонских лож, одинакового с ним социального положения, были такими же крепостниками. Возьмем масона Сафонова[171], друга Лопухина. Это был «пышный степной барин», крепостник, как называет его Свербеев в своих воспоминаниях, который проповедует, что

крестьян надо «постоянно держать в черном теле» — они лучше тогда работают, лучше повинуются. И масон Кречетов и все другие считают невозможным давать свободу «невеждам».

Идеология масонов приводила также и к политическому консерватизму: «Россия все еще татарщина, в которой должен быть государь самодержавный, подкрепляемый множеством дворян», — писал Поздеев Разумовскому 27 сентября 1816 г. А пока эта татарщина под влиянием внутреннего света, несомого масонством, не переродится, надо сохранять status quo. И поэтому в «законах» масонских лож особенно старательно подчеркивается политическая благонадежность масонов. По уложению Астреи члены союза обязаны были «непоколебимой верностью государю и отечеству» и строгим исполнением существующих в государстве законов. На мастере ложи «Елизаветы от добродетели» лежит обязанность следить, чтобы в речах не упоминаемо было о политических происшествиях. Исключения делались лишь для тех торжественных случаев, когда заседания происходили «в честь монарха» и когда «усладительно» было говорить «о достоинстве и качествах, украшающих возлюбленного… государя». И это вовсе не было уставным только требованием, т.е. требованием формального характера, вытекающим из того полуофициального положения, которое заняли после 1810 г. масонские клубы. Это требование вытекало по существу из всей консервативной идеологии масонства.

Поэтому, если брать масонство в чистом его виде, то вопреки мнению некоторых современных исследователей (напр., г-жи Соколовской) решительно приходится отрицать за ним какое-либо общественное значение. Во всяком случае, если и можно вообще говорить о каком-нибудь моральном влиянии самого масонства, то оно было, как показывает В.И. Семевский, очень невелико.

Масонские требования быть «кротчайшим господином»; некоторые напоминания, хотя бы и словесные, в крепостнической среде о том, что и раб — человек, могло иметь свое гуманизирующее влияние — по крайней мере, на отдельные личности это имело, как мы знаем, влияние[172]. Филантропическая деятельность масонов, хоть и в самых ограниченных размерах, клала начала некоторой общественной благотворительности. Но, в общем, даже те, кто считали себя «истинными масонами», неоднократно должны были засвидетельствовать, что «работа» масонов, в конце концов, давала самые ничтожные реальные результаты. «Мы садимся, встаем, зажигаем и гасим свечи, слышим вопросы и ответы, мы баллотируем… и, наконец, мы собираем несколько рублей для

бедных — вот для чего мы собираемся в ложи», — говорит один из членов ложи «Избранного Михаила».

Масон Римский-Корсаков в своих «Размышлениях о разности систем в масонстве» дал такую же убийственную критику тех лож, которые были лишены «истинного масонства». А таких было огромное большинство: есть ложи, в коих все масонство ограничивается искусством в праздновании… торжественных лож[173] и банкетов: «есть братья, коих прилежность доказывается тем только, что, будучи тунеядцы и празднолюбцы, они не пропускают собираться в назначенный день… поговорить о профанских материях и вместе посидеть у эконома; есть братья, коих стремление сделаться лучшими и совершеннейшими состоит в том, чтобы облечься многими безжизненными степенями; есть братья, коих усердие к распространению масонского света заключается в торговле оным… есть братья, коих связь и дружба имеют единственной целью получить в профанском быту чин или прибыточное место…»

Основываясь на приведенных словах современников, нетрудно определить причины успеха масонства. Огромное большинство ищет масонского «света» просто как лекарства от «скуки» (напр., Симанский по собственному признанию). «Бездействие искало убежища от скуки, и шампанское заставляло забыть ничтожество целей этих собраний». Последнее свидетельство Рунича отнюдь нельзя признать тенденциозным. «Бостон есть лучший опиум в той атмосфере, в которой живет русское общество», — записывает Николай Тургенев в 1819 г. Если одни прилеплялись таким образом к карточной игре, другие искали развлечения в масонских столовых ложах, где «пороховницы» (бутылки) всегда были полны и где часто «заряжали ружья порохом» (наполняли стаканы вином). Тем более что некоторые «клубы» были обставлены роскошно: напр., в ложах «Елизавета к добродетели» был свой собственный хор братьев — «гармония». И действительно, «столовые ложи» наиболее популярны. Люди, слишком серьезно принимавшие масонскую мудрость, подают скорее повод к остроумию. Масоны, интересующиеся заседаниями «столовых лож», идут сюда как в клуб. И поэтому петербургская полиция имела полное право говорить, что масонские ложи «более могут быть уподоблены клубам, нежели нравственным каким собраниям».

Масонство привлекает, как мы видели, и тем, что в ложах можно увидать многих лиц, занимающих видное государственное положение, и сделаться их, по крайней мере, номинальными братьями. Одним словом, здесь играют роль соображения карьеры.

С другой стороны, если таинственность масонских лож отталкивает некоторых, как, напр., ген. А.П. Ермолова, то других она привлекает. Один современник рассказывает нам, как он решительно ничего не понимал при чтении мистической литературы, но это непонимание еще больше его подстрекало добиться смысла аллегории. Но, в конце концов, он так ничего и не понял[174]. Таинственность подчас привлекает и потому, что в обществе ходят, как всегда, различные преувеличенные слухи.

Отсюда создается мода, действующая заражающим образом. «Полагать должно, — говорит Вигель, — что в воздухе бывают и нравственные повальные болезни, даже меня самого в это время так и тянуло все к тайным обществам». Была мода на мистику, была мода и на масонство.

Немудрено, что масонов количественно становилось так много. Иностранный наблюдатель, французский посланник Буальконд утверждает, что видел список петербургских масонов, который заключал в себе 10 000 человек.

Но именно то обстоятельство, что масонские ложи превращались в своего рода клубы, имело влияние на то, что масонство сыграло известную общественную роль, противоположную своим основным заданиям.

Прежде всего, как указывают многие современники, масонские ложи содействовали некоторой нивелировке общества. Ложи после 1815 г. несколько демократизуются: звание рыцаря может получить и брат «подлого состояния» (но, конечно, не крепостной). В ложах начинают появляться люди среднего класса: чиновники, купцы и отчасти представители зарождающейся разночинной интеллигенции.

Если одни ложи носят характер аристократический, напр., «Елизавета к добродетели», другие — военный («Соединенных друзей»), то в третьих играет роль интеллигенция («Избранного Михаила»), в четвертых, наконец, как бы сосредоточиваются люди «подлого состояния» («Александра — к коронованному пеликану»). Определенного разграничения все же нет, и это содействует некоторому смешению. В ложах собирались таким образом люди самого разнообразного общественного положения и настроения: масоном вплоть до запрещения был вел. кн. Константин Павлович, приобретшие столь печальную известность в николаевское время Бенкендорф и Дубельт, Сперанский, художник Ф. Толстой, гравер Уткин, офицеры, купцы, актеры, лютеранские пасторы, некоторые из будущих декабристов и т. д.

В одной и той же ложе («Александра тройственного спасения») встречались в качестве сочленов московский полицмейстер Бибиков, ректор университета Гейм, будущие

декабристы Фон-Визин и А.Н. Муравьев. «Почти все образованное население, — говорит в своих воспоминаниях Пржецлавский, — все непрестарелые лица высшего и среднего общества принадлежали к ложам… В их стенах сглаживались так резко выдающиеся иерархические и сословные различия. Нередко плебей восседал в ложе выше светлейшего князя».

То же самое говорит в своих воспоминаниях и ген. Михайловский-Данилевский, автор столь патриотической истории 1812 г., принятый в масонство в период заграничного пребывания: «масонство, сближавшее особ различного состояния, было в сем отношении благодетельно для России, где разделение гражданских сословий отменно много препятствует развитию просвещения». Эта демократизация лож. то, что в них, по выражению современника, допускается «всякая сволочь», т.е. люди «подлого состояния», по другой терминологии, отвлекает от лож внимание представителей великосветского общества. Михайловский-Данилевский в процитированном выше отрывке своих воспоминаний говорит: «Знатные люди у нас редко были масонами; ложи были обыкновенно наполнены людьми среднего состояния, офицерами, гражданскими чиновниками, весьма редко купцами, а более всего литераторами». Знать, однако, на первых порах принимала довольно живое участие в масонских ложах. В.И. Семевский указывает, что в разное время принадлежали, между прочим, к масонским ложам многие из членов Государственного совета: Лопухин II, Куракин, Мордвинов, Кочубей, Гурьев, Ланской, Голицын, Потоцкий, Сперанский, Кампенгаузен.

Все они отстраняются от масонства, когда в клубах начинают проявляться до некоторой степени новые либеральные течения, когда и правительство начинает с подозрением смотреть на развитие масонства и ставит препятствия для его дальнейшего распространения. Так, в марте 1819 г. по распоряжению Александра закрывается полтавская ложа «Любовь к истине», входившая в союз «Астрея». Те же препятствия чинят маркиз Паулучи, враг масонства, в Риге и Магницкий в Симбирске. И уже руководителю «Астреи» гр. Мусину-Пушкину-Брюсу приходится в официальном прошении констатировать: «ныне масонство не имеет уже счастья пользоваться покровительством правительства». Вместе с утерей этого «покровительства» начинается выход многих членов из чиновной аристократии.

Предусмотрительный полицейский ум де Санглена, того самого, который сделался масоном со специальной целью сыска, еще в 1813 г. предостерегал об опасности масонства. «Должно бы, кажется, избегнуть, — писал он, — ошибки тех правительств,

которые, пренебрегая такими обществами, полагая, что они собираются единственно для увеселения, раскаялись в легковерии, но поздно».

И действительно, масонством заинтересовались те, кто думал о нестроениях родины и мечтал о преобразованиях, постепенно совершенно забытых правительством. Многие из будущих декабристов прошли масонскую школу. Многих влекла сюда романтическая таинственность союза, служащего якобы добродетели, справедливости и человеческому достоинству. Многие из них искренно желали на первых порах познать и распространять масонский свет — это были люди с «пламенным воображением», по характеристике декабриста Трубецкого, видевшие в масонстве «какое-то совершенство ума».

Многие из них сделались масонами за границей, где они видели в ложах наряду с весельем и проявление серьезной политической мысли. В самом масонстве с его бессмыслицей, по выражению Якушкина, «игрушками» (Пестель) — такие члены масонских лож быстро разочаровались. Но ведь масонские ложи были единственными общественными организациями, где могла проявляться общественная инициатива в дни наступающей реакции. Многие из декабристов нам говорят (А.Н. Муравьев), что хотели воспользоваться ложами для прикрытия политических целей, для вербовки членов в зародившиеся политические организации. С этой именно целью, по свидетельству Муравьева, директор канцелярии кн. Репнин-Новиков организовал в Полтаве ложу — как бы подготовительную стадию для перехода в Союз Благоденствия. Новиков, — утверждал Ф. Глинка на допросе, — в ложе «Избранного Михаила» говорил, что в масонстве только теория, есть другое общество практической благотворительности. Конечно, масонство, вследствие именно пестроты своего состава, могло давать подходящий материал для вербовки членов тайных обществ. В клубах масонских, несмотря на запрещение, почти неизбежно должны были подниматься разговоры о «политических делах».

Недаром мистик Лабзин, руководитель тайной ложи, уже в мае 1816 г. доносил Голицыну: «есть управляющие ложами люди весьма вредные, не только не верующие, но и не скрывающие своего неверия». (Лабзин просил, кстати, министра просвещения сделать государю представление о ложах, проповедующих вольномыслие.) По тем же причинам некоторым современникам казалось, что масонство «не могло не быть привлекательным в тогдашней душной атмосфере аракчеевского времени»; по словам Пржецлавского, «ложи были как бы нейтральные территории, как бы оазисы среди всеобщего официального застоя»; масонство

«составляло едва ли не единственную стихию движения в прозябательной жизни того времени, едва ли не единственный центр сближения между личностями даже одинакового общественного положения». Так казалось недостаточно осведомленному современнику. В действительности же центр общения перенесен был в другое место — в тайные политические организации.

Про масонские ложи, как таковые, Н.И. Тургенев писал 11 февраля 1818 г. по поводу открытия в Симбирске кн. Баратаевым ложи своему брату: «ключ добродетели масонства у нас процветать теперь не может». Сообщая, что он не бывает в петербургских ложах, Тургенев добавляет: «да они того в теперешнем их церемониальном ничтожестве и не стоят». «В оном (масонстве), — показывал Чаадаев в 1826 г. — ничего не заключается, могущего удовлетворить честного и рассудительного человека». От масонства в новых тайных обществах оставался лишь придаток в виде привычки к соблюдению известных обрядов. Быть может, это дань моде, так как даже в литературных обществах распространялись масонские обычаи: напр., в «Вольном обществе премудрости и словесности» С.Д. Пономаревой при приеме членов практиковались вопросы и ответы масонского характера, или в Петрозаводском обществе «Французский парламент», основанном в 1821 г. губ. регист. Марьяновым. Эта форма, отчасти введенная в Союз Спасения, как заметил Трубецкой, была «в противность с характером большей части членов». И, быть может, в этой привычке сказывалась не столько, пожалуй, мода, как сознательный умысел: по словам Трубецкого, А.Н. Муравьев доказывал, что тайное общество только и может существовать под видом масонской ложи. А ведь далеко не все члены первых тайных политических обществ могут быть зачислены в группу сознательных: первые общества в значительной степени были лишь подготовительной ступенью. Здесь шла еще только пропаганда.

4. НАЧАЛО ЛИБЕРАЛИЗМА

Тот дух, который проявляется в некоторых масонских ложах, так же тесно связан был с двенадцатым годом, как и мистика, получившая столь большое значение в жизни. Мистические бредни не могли заглушить порывов «лжеименного разума» у небольшой просвещенной части русского общества. Если одних двенадцатый год заводил в реакционный тупик, то других Отечественная война и особенно пребывание русских войск за границей вели на другой путь — путь пробуждения интересов к общественным и политическим вопросам. «Наполеон вторгся в Россию, — писал впоследствии из крепости императору Николаю А. А. Бестужев, — и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу… Вот начало свободомыслия в России».

Целый ряд декабристов свидетельствуют нам, что их заграничные впечатления пробудили чувства гражданственности. Наблюдая западноевропейскую жизнь, деятельность законодательных учреждений, знакомясь с литературой и с некоторыми представителями общественной мысли, в наиболее мыслящем офицерстве русской армии зрела мысль, что «гражданину свойственна обязанность», а не только слепое повиновение, как выразился в своих воспоминаниях кн. С. г. Волконский. С другой стороны, то, что даже «мельком» приходилось видеть в Европе, порождало чувство, что «Россия в общественном, внутреннем и политическом быте весьма отстала». «Естественно» напрашивалось «сравнение со своим», поднимался вопрос: «Почему же не так у нас?» Являлось, наконец, желание, чтобы и Россия пользовалась той же образованностью, той же свободой, теми же правами, «какими пользовались некоторые из европейских наций» (Беляев). «Французским ядом» заражались не только офицеры, но и солдаты. Последние, как бы предчувствуя, что то обхождение, к какому они привыкли во Франции и какого желали для себя, по словам Розена, и в России, столкнется с находящейся в фаворе «шагистикой, часто предпочитают остаться за границей». По этому поводу Ростопчин писал своей жене в 1814 г.: «Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старшие унтер-офицеры и простые солдаты остаются во Франции, а из конно-гвардейского полка в одну ночь дезертировало 60 человек с оружием и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей», и понятно, что при таких условиях корпус Воронцова за «либерализм», как выразился Завалишин, по возвращении из

Франции поспешили раскассировать. Во всяком случае, Н.И. Тургенев был прав, записав 25 апреля 1814 г. в свой дневник: «Теперь возвратятся в Россию много таких русских, которые видели, что без рабства может существовать гражданский порядок и могут процветать царства».

И контингент «таких русских» мог пополняться не только из среды армии, но и тех, которые после 1812 г. устремляются за границу, «в отпертую им со всех сторон Европу». Это, по замечанию Вигеля, «совершенно походило на эмиграцию». Во всяком случае, непосредственное знакомство с Европой могло дать гораздо больше действительно полезных сведений русскому дворянину, чем их давали сомнительные французские и немецкие учителя из «егерей». Это новое явление в петербургском обществе отмечает и Фадей Булгарин: «В Петербурге все занимаются политикой, говорят чрезвычайно смело, рассуждают о конституциях, об образе правления, свойственном России… Этого прежде вовсе не было, когда я оставил Россию в 1809 г… Я видел ясно, что посещение Франции русской армией, прокламации союзных против Франции держав, наполненные обещаниями возвратить народу свободу… произвели сей переворот в умах…» Но Булгарин в самой России не видел пищи для «поддержания пламени», а так как пламя продолжало гореть, то он «сейчас» же догадался, что здесь должен быть «foyers» — намек на австрийского посла Лебцельтерна, ведущего революционную пропаганду, так как Австрия боялась России. Видок Фиглярин не мог заметить, что очаг был совсем иной.

Новая просвещенная часть русской молодежи принимается за чтение научных книг. Молодых людей, по словам декабриста Крюкова, охватывает страсть к занятиям, начинают изучать, поскольку возможно, прошлое родины, а главное, знакомиться с действительностью, которая с каждым днем в связи с настроением в правительственных сферах становится все неприглядnее. Они еще питают надежды на реформы вплоть до 1820 г., вплоть до тех пор, когда правительственный курс определился уже слишком ярко. За эти годы нет недостатка в проектах и подчас наивных напоминаниях, с которыми обращается к Александру, например, надворный советник Д.И. Извольский[175].

В 1815 г. составил свою записку «о постепенном уничтожении рабства в России» П.Д. Киселев. Но социальный вопрос, т.е. разрешение вопроса о ликвидации крепостного права, не найдет себе еще в первые годы более или менее определенной постановки уже потому, что те, которые поставят его так остро в конце царствования Александра, или еще слишком молоды, или

недостаточно себе выяснили всю сущность сложной проблемы, хотя Н.И. Тургеневу и казалось в 1814 г., что после 1812 г., «после того, что русский народ сделал, что сделал государь, что случилось в Европе, освобождение крестьян» — дело весьма легкое, но это дело затрагивало слишком близко дворянские интересы. Против него объединялась вся реакционная клика, для которой малейшая попытка проведения социальной реформы вызывала тень подавленной революции.

Но зато подчас консерваторы в крестьянском вопросе, как, например, Мордвинов, были склонны к политическому либерализму; поэтому о конституции довольно много говорили в первые годы сгущавшейся постепенно реакции. Продолжая старые традиции дворянства, часто будут говорить нам современники об увенчании государственного здания собранием дворянских депутатов. Эту мысль выскажет крепостник, калужский предводитель дворянства кн. Н.Г. Вяземский, ее же будет проводить в 1818 г. в целях прекращения «беспорядочного управления» лифляндский дворянин Бок, те же определенно аристократические тенденции скажутся и в «пунктах» гр, Димитриева-Мамонова; отдаст дань увлечению «пэрством» Н.И. Тургенев и др. Конституционные разговоры найдут отклики и в периодической печати, и в «Духе Журналов», и в «Вестнике Европы», и в «Сыне Отечества».

Все эти рассуждения будут стоять в связи с намеками о возможности введения конституционных учреждений в России, которые от времени до времени делает Александр, до Троппальского конгресса все еще игравший в Западной Европе либеральную роль. Эта либеральная нота прозвучит и в нравоучительной ноте испанскому правительству: «правители народов должны добровольно ими данными постановлениями предварять постановления насильственные»; но особенно отчетливо в варшавской речи императора при открытии польского сейма 15 марта 1818 г. Эта речь произвела действительно на многих очень сильное впечатление. Непосредственный ее слушатель будущий декабрист Лорер плачет от умиления или восторга; такое же сильное впечатление производит речь и на Волконского, «с этой поры, — говорит он, — думы мои приняли другое направление».

«Вестник Европы», издаваемый теперь уже проф. Качановским, помещает отзывы заграничной печати об этой «превосходной речи». Все как бы заговорило после этой речи «языком законосвободным» «Ножницы представительства народного, — писал Вяземский, — придите к нам на помощь». «Пора, пора приставить к нему (правительству) в дядьки

представительство народное, — замечал тот же Вяземский в письме к Тургеневу 17 марта 1817 года, — пусть дядька будет глуповат, но все дитя будет немного посмирнее. Беда только, как дядька не забудет, что он из рабов и станет на все говорить: "Ваша господская воля"». «В Иркутске вряд нам увидаться, — пишет он Сперанскому, — разве восторжествует св. инквизиция; а бедных отправят для исправления под вашу державу». Но «оппозиция наша, — добавляет Уваров, — более скучная, нежели злая, а либерализм так рассеян и слаб, что и опасаться их нельзя».

В то время еще либеральному попечителю петербургского учебного округа гр. Уварову также мерещится, что «по примеру Европы начинаем помышлять о свободных понятиях».

Но напрасно «разгорячились головы». Александр, как мы знаем, был очень недоволен тем, что Козодавлев разрешил напечатать варшавскую речь в официальной «Северной Почте». Желчный Ростопчин, сидя в полуизгнании в Париже, не без злорадства по поводу этого писал своему верному собеседнику СР. Воронцову: «Все это кончится ссылкою дюжины болтунов». [176]

Так почти и было в действительности.

Многие из вдумчивых наблюдателей-современников не обманывались уже в искренности либеральных намерений монарха-реформатора; во всяком случае, они видели, что из всех многочисленных обещаний и разговоров решительно ничего не выйдет.

Не верил «сказкам» и Пестель, воспользовавшийся речью Александра, как целесообразным средством пропаганды в обществе, еще не умевшем достаточно критически разбираться в речах императора, которые, по меткому выражению современника, представляли в то время «смесь либеральных идей с Библией». Но, можно сказать, с каждым днем разочарование в Александре растет в либеральных кругах, до последнего времени все еще надеявшихся, что почин реформаторских начинаний будет положен самой верховной властью.

Для тех, кто слишком верил в Александра, разочарование было болезненно; приходилось прощаться со старыми утопическими мечтами, взлелеянными юностью. Поэтому мы и встречаемся с таким личным враждебным настроением у многих из декабристов по отношению к Александру. Раздражало то, что он был в России «не только жестоким, но, что хуже того, бессмысленным деспотом». Эту окончательную перемену во взглядах Александра, или, вернее, в тоне правительственной политики, Якушкин относит ко времени истории в Семеновском

полку. Но «бесстрастная история», которая, как мечтал Штейнгель, «может быть, объяснит, к изумлению грядущих веков», непостижимые противоречия в блестящем царствовании Александра, должна отнести начало определенной реакционной политики еще к более раннему времени.

5. РЕАКЦИЯ

Уже в 1819 г. перед нами раскрывается картина полной реакционной вакханалии, являвшейся прямым отзвуком той общеевропейской реакции, которая охватила и правительства и господствующие классы, вышедшие победителями в борьбе с революционными началами.

В Европе Священный союз уже выродился в «меттерниховскую систему», проявившуюся во всей своей силе после знаменитого «Вартбургского праздника» (1817) и убийства Коцебу (1819). Как в Европе, стремление основать просвещение на благочестии в целях укрепления национального духа и основ монархизма в действительности приводило к борьбе с просвещением, так было и в России, когда открылась эра «министерства затмения», как выразился консерватор Карамзин, и когда руководителем народного просвещения сделался тот, кто «с сокрушением и благочестием» слушал пророческие слова Татариновой — кн. А.Н. Голицын. Мистическая «комедия» превратилась, по словам Греча, в «трагедию». И вот почему она уже не была «смешна».

Когда Карамзин прочитал манифест 24 октября 1817 г. о преобразовании министерства народного просвещения в министерство духовных дел и народного просвещения, то тогда же в письме к Димитриеву он отметил, что попытка «мирское просвещение сделать христианским» лишь умножит «число лицемеров». Он был пророком. Лицемерие и обскурантизм свили себе особенно прочное гнездо в главном правлении училища, которое состояло из главарей библейского общества, крайних мистиков и пиэтистов, враждебных, как мы видели, в сущности, всякой науке[177].

Уже в инструкции, данной главным правлением 5 августа 1818 г. ученому комитету[178], основанной на крайне реакционной «Записке о современном положении Германии» члена правления камер-юнкера Стурдзы, в сущности определенно объявлялся поход против науки. Инструкция говорила, напр., о том, что надо в книгах естественных устранять «все пустые и бесплодные предположения о происхождении и изменении земного шара». В медицинские науки «не должно быть внесено ничего такого, что унижает духовную природу человека, его внутреннюю свободу и божественное предопределение». Ясно, что при таких условиях медицинские науки недалеко могли уйти от теософической химии Лабзина.

Напор мистики и реакции сказался прежде всего на рассадниках высшего просвещения—университетах, которые издавна были поставлены мистиками под подозрение. Еще Невзоров в 1790 г. при путешествии в Германии называл знаменитый Геттингенский университет «первейшим орудием, рассадником и распространителем всякого разврата и безбожия». Новые мистики, дававшие в своем обскурантизме много очков вперед Невзорову, с самого начала принялись за реформирование университетов. В 1816 г. в Харькове происходит уже торжественное сожжение сочинений проф. Шада, после чего автор высылается «за границу» за приверженность к Шеллингу, который своими сочинениями «дерзко» подрывал «основы св. писания». Затем в этот молодой университет попечителем назначается мистик, товарищ президента петербургского библейского общества З.Я. Карнеев, человек, хотя и бывший учеником самого Сен-Мартена и главою ложи «теоретического градуса», но тем не менее уверенный, что молния падает в виде треугольника в ознаменование троичности Божества. Легко себе представить, в каком духе должно было ид ти с тех пор научное преподавание в Харьковском университете.

Наиболее ярким применением на практике торжествующей системы обскурантизма было знаменитое обревизование и реформирование Казанского университета, произведенные Магницким, бывшим соратником Сперанского, бывшим обожателем Александра, как конституционного монарха, столь ярым либералом, что носил даже «якобинскую дубинку» с серебряной бляхой: «Droits de ГЬогшпе», сделавшимся теперь верным адептом новых настроений в правительственных сферах. После внимательного розыскания и труда нескольких лет Магницкий, как он рассказывает о себе, был поражен открывшейся ему глубокой истиной: все дело в воспитании, которое должно быть основано на вере. «Кровавыми литерами читаю, что сказала история: поколебалась вера… потом взволновались мнения… и тысячелетний трон древних государей взорван». Все тайные общества «начинали всегда с потайного действия на воспитание». Вот к чему приводит «неверие философии». Дух нашего времени либералов «карбонариев», суеверов, всегда один и тот же дух иллюминатов. И со страстью Магницкий в качестве попечителя Казанского округа стал уничтожать «неверие» и насаждать «веру». Магницкий в ужас пришел от Казанского университета, зараженного духом «вольнодумства и лжемудрия». Магницкий требовал «публичного разрушения университета». Но ему поручили его «исправить». И вот Магницкий приступил к преобразованию университета «на

началах Священного союза». Изгнав всех зловредных профессоров, Магницкий в 1821 г. издал характернейшую инструкцию, определившую дух и направление, которым профессора обязаны были следовать в преподавании наук философских, политических, медицинских и т. д. По этой инструкции, которую дерптский профессор Паррот назвал «бесконечной фразелогией, где невежество облекается мантией знания», ректор университета обязан был присутствовать на лекциях, просматривать тетради студентов и наблюдать, «чтобы дух вольности ни открыто, ни скрыто не ослаблял учения Церкви в преследовании наук философских и исторических». Как же шло новое преподавание? Философия должна была руководиться исключительно посланиями апостола Павла и доказывать преимущество Священного Писания над наукой; начала политических наук должны быть извлекаемы из творений Моисея, Давида и Соломона. Наука естественного права, как «мнимая наука», подверглась полнейшему остракизму. На профессоров всеобщей истории возлагалась обязанность показать слушателям, «как от одной пары все человечество развелось», преподавание новейшей истории — виновницы всех смут, было также бесповоротно запрещено. Русский историк должен был выяснить, что при Владимире Мономахе русское государство «упреждало все прочие государства на пути просвещения»; русская словесность превращалась в историю духовного красноречия. Математик, в свою очередь, должен был строить свою науку на принципах нравственности и доказывать, что «математика вовсе не содействует развитию вольнодумства. Математика лишь подтверждает высочайшие истоки веры, ее закон совершенно согласен с истоками христианской религии». «Причиною вольнодумства» — не математика (которая требует «на все доказательств самых строгих»), а господствующий дух времени, доказывает ректор университета проф. Никольский. «В математике содержатся превосходные пособия священных истин. Напр., как числа без единиц быть не может, так и вселенная, яко множество, без Единого владыки существовать не может… Две линии, крестообразно пересекающиеся под прямыми углами, могут быть прекраснейшим иероглифом любви и правосудия… Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви, через ходатая Бога и человеков, соединившего горнее с дольним, небесное с земным…» Проф. Фукс с таким же успехом показывал, что «цель анатомии находить в строении человеческого тела премудрость Творца…» и т. д. Таким путем опровергался «гибельный материализм», таким путем устранялись «разрушительные начала» и основывалось

просвещение «на началах христианской религии». Только тот профессор удовлетворял своему назначению, который расточал «похвалы магии и кабалистике» в духе старого масонства; и немудрено, что в профессора по античной словесности начинают попадать «за благочестивый образ мыслей».

В духе господствующего религиозного мистицизма преобразовывалась и жизнь студентов университета. Их жизнь наполнялась всевозможными упражнениями в благочестии. «Порченые студенты» в наказание помещались в комнату уединения в лаптях и крестьянском армяке — они должны были перед распятием и картиной страшного суда сокрушаться в своих грехах… Пока происходил этот искус, товарищи грешника молились за него перед лекциями, а сам грешник по раскаянии исповедовался и причащался. Неисправимых грешников Магницкий отдавал в солдаты…

Вот что делали «злые невежды из религии христианской», как выразился Н.И. Тургенев. Но еще хуже приходилось науке в «блистательную эпоху преобразования совершенно обновленного Казанского университета», когда щит «благочестия и страха. Божия» оградил профессоров и воспитанников от яда вольнодумства и лжеименного разума. Магницкий констатировал в торжественной речи на акте, что «в то самое время, как лжеименная философия бунтует умы на Бога и людей, в университете нашем самый яд сей претворяется в целительное средство против буйной гордости разума». Магницкий восторгался тем, что «в Житиях Святых исчезла тень Брутов» и что блестяще доказана «нелепость естественного права».

За Казанским университетом наступила очередь Петербургского, где в качестве попечителя округа действовал «подражатель и карикатура Магницкого», по отзыву Греча, Д.П. Рунич и его помощник директор Педагогического института Д.А. Кавелин. Рунич также открыл поход против всех наук политических и философских. Он обвинил четырех самых «благонамереннейших» преподавателей (Галича, Германа, Раупаха и Арсеньева) в том, что они стремятся к «ниспровержению всех связей семейственных» и государственных, в том, что они предпочитают Канта — Христу, а Шеллинга — Духу Святому и т. д.

Преобразование Петербургского университета шло так успешно, что казанский ректор уже поздравлял «петербургскую обитель благочестия и просвещения», каковой сделался университет после удаления из преподавания «всех вредных доктрин». В университетах насаждаются всякого рода библейские сотоварищества, являвшиеся «во время всеобщего брожения»

оплотом против безверия Вольтеров, Дидротов, Даламберов, против «лжемудрия германских и английских философов», против «лжесвятости и кощунства латинских папежников». Новое просвещение внедряется с таким успехом, что Магницкий, а вслед за ним и один из петербургских профессоров, могли с гордостью констатировать, что «развитие нечестия и опасность, грозившая цивилизации, общественному порядку и правительству, остановлены союзом, открывшим истинный свет». Но новая цивилизация такого рода, что Карамзину оставалось лишь скромно выражать надежду, что «Россия не погрязнет в невежестве».

К школьной борьбе против просвещения тесно примыкала и деятельность цензуры, направленной на устранение в книгах всего того, что, по мнению господствующего обскурантизма, подрывало основы веры и государства: «Благоразумная цензура, соединенная с утверждением народного воспитания на вере, по мнению Магницкого, есть единый оплот бездны, затопляющей Европу неверием и развратом». Легко себе представить, какие требования должна была предъявлять эта «благоразумная» цензура.

Цензура во все царствование Александра искореняла более или менее твердо «неверные мысли», которые определялись направлением правительственной политики в тот или иной момент.

В течение всего царствования и в особенности в 1813—14 гг. действовали черные кабинеты, занимавшиеся перлюстрацией частной переписки.

В 1812 г. Комитет министров разрешил брать из иностранных газет только известия «до России не касающиеся, а имеющие некоторую связь с нынешним нашим политическим положением заимствовать единственно из "С. Пет. Вед."», издаваемых под ближайшим надзором правительства. То был, правда, период войны. Но в действительности «у нас про домашнее всегда говорится не дома», — замечал кн. Вяземский по поводу статьи о семеновской истории в «Варш. Вед.».

Как всегда, цензура была непоследовательна, и, как всегда, при самых строгих «шлагбаумах мысли» в журналах подчас проходили статьи, не отвечавшие видам правительственной политики. И недаром Штейнгель в письме к императору Николаю впоследствии удивлялся, что цензура придиралась к слову «рок» и пропускала рылеевскую поэму «Исповедь Наливайки». Так бывает всегда.

В период так называемой реакции цензура довольно бдительно смотрела, однако, за тем, чтобы журналы не

высказывали мнений, не подлежащих ведению журналистов, как выражался Алексей Разумовский по поводу напечатания в 1816 г. в «Духе журналов» отрывка из Бентама «О запрещении мануфактур».

Дело шло не только о конституциях, а вообще о вопросах, до правительства касающихся или содержащих «опровержение правил, принятых правительством». Когда журнал «Невский Зритель» в 1820 г. поместил статью «О влиянии правительства на промышленность», Голицын написал 22 августа строгий выговор Уварову: «Такое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в коем случае не может быть позволено». В экономической литературе в это время идет полемика между протекционистами и фритредерами. Голицын и этим недоволен, и фритредеровский орган «Дух Журналов» получает строгое предостережение. «"Дух Журналов"», — писал Голицын 6 октября 1820 г. петербургскому попечителю округа, — позволял себе восставать на распоряжения правительства по части мануфактурной, когда не позволен был ввоз в Россию чужестранных произведений; когда последовало по новому тарифу разрешение, осмелился критиковать». Явно отсюда, что задача журнала «представлять все действия правительства необдуманными». Это говорилось про журнал, который в 1816 г. по поводу либерального тарифа писал: «Да здравствует мудрое благодетельное правительство». По мнению Голицына, «одному правительству может быть известно, что… прилично сообщать публике»!

И, конечно, тщательнее всего охраняется священная старина крепостного права. Журналистике скоро совсем запретили касаться крестьянского вопроса, что вызвало горькую реплику

Н.И. Тургенева в письме к Вяземскому: «когда-то нам запретят не быть хамами и прикажут быть порядочными людьми».

Такая же судьба постигла и все другие вопросы политического характера, дабы не подавать «повода к разным заключениям и толкам».

Замечено, — предписывает Голицын попечителю петербургского округа в мае 1818 г., — что издатель «Духа Журналов» помещает статьи, содержащие рассуждения о вольности и рабстве крестьян, о действиях правительства и другие неприличности: «А так как только одному правительству может быть известным, что из таких материй прилично сообщать публике, то повелевается отныне не писать даже в подкрепление какой-либо из подобных предметов мысли, ни против оной: то и другое нередко равно вредно поданием повода к разным заключениям и толкам». Тщетны, конечно, указания в ответ, что

сама «Северная Почта» — орган министерства — говорит о пользе свободного книгопечатания.

Лебединой песнью «Духа Журналов» была статья «Чего требует дух времени» (в начале 1819 г.), явившаяся откликом на варшавскую речь Александра. В этой статье дух времени определяется как желание «владычества законов на незыблемом основании». В 1821 г. журнал — орган землевладельческого сословия, консервативный по своему направлению, был закрыт.

В практику жизни постепенно все более и более входило предписание Голицына 4 апреля 1818 г.: не допускать «никаких мыслей и правил, нетерпимых ныне правительством». Цензура должна была следить, чтобы не обнаружился «дух, противный религии христианской», «своевольство революционной необузданности, мечтательного философствования или опорочивания догматов православной церкви».

Началось с уничтожения намеков на свободомыслие. Пострадал даже Ал. Тургенев, у которого цензура «вымарала английскую свободу в библейской речи». «Скоро ее, вероятно, и в лексиконе не останется», — замечает он в письме к Вяземскому 30 октября

1818 г. Также слово «liberte» цензор уничтожил у Михайловского-Данилевского. Что же удивительного, если профессору цензуры Тимковскому даже слово «втащиться» кажется мятежным словом. Здесь не спасало и высокое положение автора.

Постепенно изменяются старые книги, еще свободно обращающиеся. Так, напр., по требованию Филарета, бывшего в 1819 г. членом Главного Правления Училищ, уничтожается изданная в 1783 г. книга «О должностях человека и гражданина», ибо должности в ней «изложены по философским началам, всегда слабым». До какой абсурдности стала вскоре доходить цензура, в каких пределах стала уничтожать она дух «вольнодумства, безбожничества, неверия и неблагочестия», показывает начавшаяся в 1821 г. деятельность знаменитого цензора Красовского, обессмертившего себя в истории.

Этот ханжа, любивший раздавать духовно-назидательные книжечки, усердно клавший земные поклоны в церквах, чувствовал омерзение ко всему иностранному — «смердящему гноищу, распространяющему душегубительную зловонь», особенно к Парижу — «любимому месту пребывания дьявола»; испытывал, впрочем, такое чувство он больше потому, что, как «казенный человек», твердо следовал за правительственной политикой. И он запрещал статьи «О вредности грибов», ибо «грибы — постная пища православных, и писать о вредности их

значит подрывать веру и распространять неверие», равно как запрещал поэтам воспевать любовь в недели поста. В знаменитых примечаниях к стихам Олина «Стансы Элизы», которые Красовский не решился пропустить «без особого разрешения министра духовных дел и народного просвещения», сказалась особенно ярко уродливость того положения, когда писатель попадает в зависимость от религиозного ханжи и невежды.

Что в мнении мне людей? Один твой нежный взгляд
Дороже для меня вниманья всей вселенной…

— писал поэт.

«Сильно сказано, — делал примечание Красовский, — к тому же во вселенной есть и цари и законные власти, вниманием коих дорожить должно…»

Дыханье каждое и каждое мгновенье
И сердцем близ тебя, друг милый, обновясь…

«Все эти мысли противны духу христианства, ибо в Евангелии сказано: кто любит отца своего или мать паче Мене, тот несть Мене достоин»…

Невольно припоминается позднейший отзыв николаевского министра Уварова: «Красовский у меня, как цепная собака, за которой я сплю спокойно».

Мы коснулись той области, где реакционная тупость неизбежно должна была проявляться особенно ярко, так как здесь она боролась непосредственно с просвещением. Она сказывалась и в других областях жизни. Общественный и политический обскурантизм объединял самые разнородные элементы, насколько дело шло о защите дворянско-крепостнических традиций и о борьбе с «софизмами новой философии», которые «привели к гибельным переворотам французского королевства». Патриот Трощинский яро возражает против реформы гражданского уложения в 1815 г., против кодекса Наполеона: «Как можно заимствовать законы от ужасной революционной пропаганды». Против всяких реформ и идеолог консервативно-дворянской партии — Карамзин, враг мистики. Как ни враждебна карамзинистам староверческая партия Шишкова, готовая видеть в Карамзине якобница, сеющего вольнодумство и материализм, и она сольется в общих постулатах реакции. «Опора и надежда дворянства, — престол, а ограда и твердость престола — дворянство», — как метко охарактеризовал в 1818 г. калужский

предводитель дворянства князь Вяземский солидарность интересов монархии и дворянства; истекшие «события научают паче всякого умствования: во Франции не стало дворянства — она пала; в России оно было, и Россия восстала (против Наполеона), восторжествовала и блаженствует…» Неученый истиннорусский дворянин Аракчеев будет в том же лагере патриотов, масонов, пиэтистов, мистиков, которые будут восхвалять «божественную поэзию» Священного союза[179] и тот государственный институт, которому Россия обязана своим «величием и благосостоянием», т.е. монархию. Только «народы дикие не любят порядка, а нет порядка без власти самодержавной», — будет доказывать Карамзин, «республиканец по чувствам». «Самодержавие есть душа, жизнь» России.

В этом лагере будет и Каразин, восхвалявший в записке 1820 г. «начала христианско-монархического правления»; и трезвый реакционер, Жозеф де Местр, покровитель иезуитов, враг «трансцендентального христианства» — Священного союза. Их всех объединит одно — защита необходимости крепостного права. И эти настойчивые заявления о рабовладельческих правах ликвидируют совершенно к 1820 г. крестьянский вопрос, выдвинутый Отечественной войной, когда чувство самосохранения заставило дворянство заговорить в 1812 г., языком человеческим со своими рабами. Но протекали годы, и крепли исконные традиции тех, кто был для своих рабов вместо «отцов» (Поздеев), кто «в малом своем круге» «представлял лицо своего монарха», как изображал помещика-полицмейстера Каразин в «Мнении украинского помещика» по поводу освобождения крестьян в Лифляндии. Эти патриархальные теории любили развивать сентиментальные писатели александровской эпохи. Убеждали в том же и такие умные реакционеры, как Жозеф де Местр, писавший в 1815 г., что крепостное право «совсем не то, каким его всегда себе представляют». Нетрудно показать фактами, что крепостное право в эту пору было «именно тем, чем его всегда себе представляли».

В 1824 г. в курском губернском правлении рассматривается громкое дело о «невероятных действиях» помещиков супружеской четы Денисьевых, изысканным способом мучивших своих «Богом и государем данных подданных». Разве это был единичный случай в 20-х гг.? Нет! Крепостное состояние, свидетельствует Якушкин, «у нас обозначалось на каждом шагу отвратительными своими последствиями. Беспрестанно доходили до меня слухи о неистовых поступках помещиков, моих соседей»[180]. «Ужасы» крепостного права становятся одной из основных причин

развития вольномыслия. Пусть у некоторых в данном случае говорит не только чувство нравственного возмущения, что русский народ является «рухлядью господ», что людьми торгуют, «как скотом», но и теоретические соображения государственной безопасности и собственной помещичьей пользы. Важно, что крестьянский вопрос во всей своей силе и важности становится в общественном сознании прогрессивных слоев: «Угнетение одного класса другим не может быть залогом благосостояния великого… народа», — пишет молодой смитианец Н.И. Тургенев в знаменитом своем труде «Опыт теории налогов» (1818 г.). Но в то именно время, когда начинается теоретическая и практическая разработка крестьянского вопроса, он окончательно изъемлется из сферы открытого обсуждения. Поводом послужила напечатанная в 1818 г. в «Духе Журналов» довольно консервативная в сущности речь малороссийского генерал-губернатора кн. Н.Г. Репнина о том, что дворянское сословие ввиду собственных интересов должно позаботиться о благосостоянии крепостных крестьян: «обеспечить их благосостояние и на грядущие времена, определив обязанности их». «Связь, существующая между помещиками и крестьянами, есть отличительная черта русского народа. У иноземцев часто владелец помышляет только о доходе, а нисколько о тех, которые ему оный доставили. Но сколько пагубны были от сего последствия! Пришли враги, и за родину никто не принес себя в жертву. Меняли царей, опровергали древние законы и обычаи, ко всему были равнодушны». Напечатание этой речи вызвало большой переполох в цензуре и в лагере тех, кто был глубоко доволен мирным исходом Отечественной войны. Голицын немедленно указал попечителю С.-Петербургского учебного округа на «неприличности», допущенные в журнале, т.е. помещение статей, содержащих рассуждения о «вольности и рабстве крестьян» и о «действиях правительства». Напрасно редактор в сущности крепостнического журнала оправдывался тем, что в речи кн. Репнина «нет ничего ни о рабстве, ни о свободе крестьян, а только самое мягкое и осторожное напоминовение об улучшении участи крестьян». Но зачем улучшать участь тех крестьян, которые в куплетах для «сельской комедии» русского Тита-Ливия (так именует Карамзина Воейков в «Доме сумасшедших») воспевали своих благодетелей помещиков: «Как не петь нам? Мы щастливы! Славим барина-отца».

Вопрос об освобождении крестьян, изъятый из сферы гласного обсуждения в печати, в сущности, совершенно ускользает из поля зрения правительства. Основной предпосылкой становится тезис, заимствованный из кодекса

реакционного мировоззрения Жозефа де Местра: «император не может царствовать» без крепостного права. Ростопчин поясняет причину этой невозможности: «освобождение крестьян противно желанию дворянства». Отсюда становится «правилом», что «бедным народом легче и надежнее управлять, нежели… в добродетели живущим». Этого правила и держится правительство в последние годы царствования Александра, как поясняет Штейнгель в письме из крепости императору Николаю. А для назидания тех, кто выходит из повиновения «боярам», приказывается наказывать «публично», а не «в частях на съезжих», как поясняет С.Т. Аксаков в письме к детям из Москвы 17 июля 1818 г. И понятно, что «столетний старовер» (так именует Шишкова А.Ф. Воейков в своем «Доме сумасшедших») встречает большое сочувствие в Государственном совете в 1820 г., когда возражает против проекта запрещения продажи людей без земли. Проект не получил законодательной санкции, хотя касался самой возмутительной стороны крепостного права. Иного и нельзя было ожидать от «автоматов, составленных из грязи, из пудры, из галунов и одушевленных подлостью, глупостью, эгоизмом», как выражался Н. Тургенев в своем дневнике.

Единственным результатом обсуждения в Государственном совете «непристойности, с какой продаются люди в России» (выражение Якушкина), было то, что «объявления в газетах о продаже людей заменились другими»: прежде en toutes lettres печаталось, что рабы продаются наряду с «домашним скарбом», как-то: перинами, кроватями, попугаями, моськами, малосольной осетриной, сивыми меринами и т. д.; теперь продажа заменяется словами «отпускаются в услужение», что «значило», говорит И.Д. Якушкин, «продавались».

Напрасно в 1823 г. бар. Штейнгель с некоторой наивностью убеждает Александра в письме, что Россия «несет еще праведную укорзину от всей просвещенной Европы за постыдную перепродажу людей, в ней существующую». Этим письмам уже не внимают («многие, очень многие писали, но не внимали им», — должен засвидетельствовать Каховский во время суда над декабристами). Мы уже знаем, что непрошеные напоминатели подчас встречаются с резким окликом: «Дурак! не в свое дело вмешался…»

Французский пленный, доктор Руа, наблюдавший русскую помещичью жизнь в течение двух лет после Отечественной войны, с полным правом мог говорить лишь о «мнимом смягчении злоупотреблений крепостным правом».

Рассказывая о случаях жестоких наказаний крепостных, которые пришлось наблюдать мемуаристу в поместье,

принадлежавшем лицу, известному «своей мягкостью и гуманностью», Руа добавляет: «И пусть не думают, что факты, только что мною рассказанные, случаются редко; напротив — они до того каждодневны, и сами русские до того к ним привыкли, что даже не обращают на них совершенно внимания… Мне приходилось по целым дням слышать раздирающие душу крики несчастных жертв. Эти нечеловеческие крики преследовали меня повсюду, даже во сне, и меня охватывал ужас при мысли о стране, где управляют народом при помощи таких варварских средств». «Далеко еще русским, — меланхолически заключает Руа, — до истинной цивилизации, несмотря на весь блеск лакировки, приобретаемой отдельными представителями из числа привилегированных классов».

Во второй половине царствования Александра крестьянский вопрос в сущности не подвинулся вперед, и мечты Массона видеть 30 мил. крепостных, освобожденными по мановению молодого царя, оказались эфемерными. И с полным правом в одном из писем к А. Тургеневу Вяземский мог спрашивать: «Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел?»

Но ужасы крепостного права бледнеют перед тем кошмарным явлением александровского царствования, каким сделались военные поселения, осуществлявшие обещания 1814 г. дать войскам оседлость и присоединить к ним их семейства. Это был мрачный эпилог «блестящего» царствования, венец реакции, последовавшей за Отечественной войной.

6. ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Хотя идея учреждения военных поселений, как говорят историки, была не нова[181] — она бродила и у императора Павла, высказывалась польским публицистом Сташицем. находила себе некоторое осуществление в устройстве австрийской военной границы и т. д., тем не менее, по всей справедливости, это «небывалое великое государственное предприятие» должно быть всецело отнесено на долю личного творчества императора Александра I.

Родилась ли эта «счастливая мысль» во «всеобъемлющем уме» Александра, как объявлял в одном из своих приказов 1826 г. Аракчеев, или она пришла ему при чтении статьи профессора Сервана Sur les forses frontieres des etats, как думал Шильдер, при знакомстве ли с ландверной системой Шарнгорста (мнение А.Н. Петрова), — во всяком случае, Аракчеев имел право в цитируемом приказе сказать, что «сие новое, никогда, нигде на принятых основаниях небывалое великое государственное предприятие, справедливо обратившее на себя внимание целой Европы, обязано своим началом и осуществлением величайшему из царей». Генерал Маевский, служивший в военных поселениях, свидетельствует, что он вместе с Аракчеевым читал проект их учреждения, собственноручно написанный императором. И другой сослуживец Аракчеева, Мартос, тоже подтверждает, что Аракчеев выставлял себя только исполнителем воли монарха. Но как бы то ни было, именно Аракчеев явился главным проводником в жизнь идеи императора, и 29 июня 1810 г., получив уведомление, что военные поселения поручают его ведению и заботам, он в таких восторженных словах благодарил за оказанную милость: «Я не имею столько ни разума ни слов, чтобы изъяснить, батюшка ваше величество, всей моей благодарности». Аракчеев и испортил, по мнению Свербеева, «благую мысль» Александра.

«Благая мысль» заключалась в том, чтобы не отрывать крестьян в мирное время от земледельческих занятий, а вместе с тем облегчать государственный бюджет по содержанию армии. Первый опыт был сделан в 1810 г., когда поселен был Елецкий мушкатерский полк в Климовицком уезде Могилевской губ. И первый уже опыт мог быть зловещим предзнаменованием того, как в жизни будет осуществляться «великодушное побуждение». При осуществлении великого замысла на первых же порах не считали нужным учитывать интересы тех, кого хотели

облагодетельствовать. Судьба несчастных крестьян Могилевской губ., выселенных в Харьковскую, чтобы очистить место для первых военных поселенцев, в этом отношении удивительно характерна: по словам современника, лишь «немногие достигли» места своего нового жительства, — большинство умерло «от голода».

События 1812 г. приостановили развитие военных поселений. Зато теперь, с 1816 г., принялись за них с еще большей энергией, так как для развития их явился новый повод: благодарность армии за славу, данную России и ее государю.

«В награду» давалась оседлость, которая должна была содействовать «улучшению состояния воинов». «Желая, с одной стороны, изъявить особенное внимание к заслугам победоносных наших воинов, — гласила грамота, данная 21 марта 1821 г. Украинскому Уланскому полку и перечислявшая все преимущества военных поселений, — с другой — отвратить всю тягость, сопряженную для любезноверных подданных наших с ныне существующею рекрутскою повинностью, по коей поступившие на службу должны находиться в отдалении от своей родины, в разлуке с своими семействами и родными, что естественно устрашает их при самом вступлении в службу, и с тоскою по своей родине ослабляет их силы, и новое их состояние делает им несносным. С отеческим попечением занимаясь средствами сделать переход сих людей в военное состояние нечувствительным и самую службу менее тягостною, мы положили в основание сему то правило, чтобы в мирное время солдат, служа отечеству, не был отдален от своей родины, и посему мы приняли непреложное намерение дать каждому полку свою оседлость в известном округе землею и определить на укомплектование оного единственно самих жителей сего округа». В такую форму вылилась идея военных поселений, и когда они «окончательно устроятся», тогда в России «не будет рекрутских наборов», как, по словам Якушкина, заявил Александр П.Д. Киселеву, не сочувствовавшему любимой идее императора. Эту идею создания «военной касты с оружием в руках и не имеющей ничего общего с остальным народонаселением», Якушкин называет не только вредной, но и бессмысленной. В действительности за официальными грамотами, в которых рисовались идиллические картины будущего благополучия воинских чинов, скрывалась и другая мысль, которую верно отметил А.Н. Пыпин: «Учреждения военных поселений надо поставить в связь с европейской политикой Александра: это была попытка создать огромную армию, которая обеспечивала бы влияние России и спокойствие Европы». Утопичность этой мечты

была официально засвидетельствована уже при преемнике Александра.

На первых порах для военных поселений не было выработано какой-либо одной определенной системы. Они развивались на опыте и регулировались отдельными мерами, которые затем становились общей нормой[182]. Общее положение заключалось в том, что солдат одновременно должен был сделаться и земледельцем. Первоначально коренные жители местности, избранной для учреждения военных поселений, переселялись в другой край. Но солдаты, отвыкшие от сельского хозяйства, оказались плохими хлебопашцами, поэтому, при дальнейшем развитии военных поселений, коренные жители местности, назначенной для учреждения военного поселения, также зачислялись в военные поселяне. Из этих коренных жителей, женатых и отличавшихся «совершенно беспорочным поведением», выбирались «хозяева, получавшие земельный надел». В эту привилегированную группу попадали и лучшие нижние чины поселяемого полка. Другие местные жители, годные к военной службе, зачислялись в помощники хозяев, жили у последних, работая на них, и имели надежду впоследствии самим сделаться хозяевами «посредством женитьбы с коренными жителями и помещения у бездетных, по их согласию, избранных ими себе в наследники». Эти помощники числились в действующих частях полка. Воинские чины поселенных частей, т.е. поселяне-хозяева, «избавляются навсегда от похода и от необходимости переносить разные неизбежные с тем неудобства и недостатки, но будут жить в своих домах неразлучно со своими семействами, иметь всегда свежую и здоровую пищу и другие удовольствия жизни и, обращая в свою собственность все то, что от самих их зависит, приобресть рачительным возделыванием земли и разведением скота, умножать тем, год от года, состояние свое и упрочить оное своим детям» — так определяются выгоды оседлости в «правилах», разработанных Аракчеевым и Высочайше утвержденных 13 июля 1818 г. Чины действующих частей «в мирное время также станут жить в домах сотоварищей своих, чинов поселенных… и разделяя с ними упражнения их, пользоваться тою пищею, какую сами они употребляют, а выступая в поход, не будут уже заботиться об участи жен и детей своих и о целости своего имущества, потому что все сие в поселенных эскадронах будет и без них призренно, успокоено и сбережено их товарищами, так точно как бы самими ими».

Исключительно из военных поселян должен был комплектоваться полк; все остальные жители уездов, где учреждены были поселения, освобождались в мирное время от

рекрутских наборов и за это несли лишь в усиленных размерах другие повинности. Всех военных поселян одели в форменную одежду и обязали до 45 лет одновременно выполнять и фронтовые занятия и земледельческие работы, т.е. действительно «хлебопашца принудили взяться за ружье, а воина за соху». Воин должен был проникнуться мыслью, что «земледельческие и все прочие по хозяйству занятия по важности и ответственности равны как бы по службе во фронте». Хлебопашец должен был иметь «твердое знание всего касающегося до военной экзерциции» — так гласили цитированные выше правила.

После 45-летнего возраста военный поселянин попадал в число «инвалидов», употребляемых уже для других хозяйственных надобностей. Дети военных поселенцев, зачисляемые в кантонисты с семи лет, обмундированные в форменную одежду, также «принадлежали полку». До 12 лет оставаясь при родителях, они обучались в школе; от 12 до 18 лет приучались к хозяйству, помогая родителям, и занимались фронтовой службой. Далее из способных к службе комплектовались действующие части поселенного полка, остальными замещались нестроевые должности (правила 11 мая 1817 г.)

Такова в общих чертах была организация военных поселений. Волость с военными поселениями была изъята из ведения гражданского начальства (земская полиция имела право въезжать в волость «не иначе, как и тогда только, как батальонный командир признает нужным»). Всей хозяйственной частью в военных поселениях распоряжался также полковой комитет. Вся эта организация создалась попечениями гр. Аракчеева, который имел «главные заботы» о Высоцкой волости Новгородской губ., где был поселен в 1816 г. 2-й батальон гренадерского имени его полка. Устройство этих поселений должно было служить «образцом для прочих поселений», как сообщает Аракчеев в докладе, представленном императору 11 января 1817 г.[183].

Теоретическая бессмыслица получает характер чего-то ужасающего, потому что Высоцкая волость до точности воспроизводит порядки, царившие в грузинской вотчине графа Аракчеева. А так как по всей России военные поселения осуществляются по однообразному плану, то эти знаменитые порядки распространяются повсюду, где возникают военные поселения. Грузинская вотчина имела блестящий вид: повсюду чистота и как будто бы довольство. Всюду проведены шоссейные дороги, устроены прекрасные строения и даже «мирские банки» и т. д. Впечатление от благоустройства такое, что Александр при посещении Грузина в 1810 г. не мог не удержаться от благодарственного рескрипта образцовому хозяину: «Быв личным

свидетелем, — пишет Александр 21 июля, — того обилия и устройства, которое в краткое время, без принуждения (?!), одним умеренным и правильным распределением крестьянских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием успели ввести в ваших селениях, я поспешаю изъявить вам истинную мою признательность за удовольствие, которые вы мне сим доставили, когда с деятельною государственною службою сопрягается пример частного доброго хозяйства, тогда и служба и хозяйство получают новую цену и уважение». Александр ошибся, однако, в том, что блестящее состояние грузинской вотчины было достигнуто «без принуждения». Письменные приказы грузинского грансеньера, регламентирующие до мелочей жизнь его верноподданных рабов, опровергают в достаточной мере необоснованное суждение аракчеевского друга. Эти приказы и целые даже «положения» о метелках, при посредстве которых наводится блеск и чистота, вмешиваются в самые интимные семейные дела. Что может быть характернее знаменитого приказа Аракчеева о рождении детей. «У меня всякая баба должна каждый год рожать и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба — тоже штраф. А в какой год не родит, то представь десять аршин точива». Аракчеев по списку определял: кому на ком жениться, но и после женитьбы не оставлял своих подданных в покое. Им издаются даже «краткие правила для матерей-крестьянок грузинской вотчины» о кормлении грудных младенцев.

Таков был попечительный грузинский помещик, но у него была и другая черта, за которую Вигель называл Аракчеева «разоренным бульдогом», а именно жестокость. Нарушение всех многочисленных приказов в грузинской вотчине влекло самое строгое наказание: у каждого крестьянина в кармане должна была находиться особая «винная книжка», также велись и особые журналы наказаний. Если Аракчеев «с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи», то еще меньше он стеснялся со своими личными рабами. «Я имел случай узнать всю его (Аракчеева) коварность и злость, — пишет сослуживец графа Мартос, — превышающую понятие всякого человека, образ домашней жизни, беспрестанное сечение дворовых людей и мужиков, у коих по окончании всякой экзекуции сам всегда осматривает спины». Для наказания своих «добрых крестьян», которых Аракчеев любит «как детей» (о чем свидетельствует он в 1812 г. в письме к новгородскому губернатору Сумарокову), в Грузинской вотчине существовала сложная система. Так, на женщин надевались рогатки и в таком виде заставляли их в праздник молиться в

соборе. В графском арсенале всегда стояли в то же время и кадки с рассолом, в которых мокли орудия сечения. За первую вину граф сек своих дворовых на конюшне, за вторую отправлял в Преображенский полк, где виновных наказывали особо толстыми палками — аракчеевскими; по третьей вине экзекуция совершалась при помощи специалистов-палачей из Преображенского полка уже в грузинском дворце, перед кабинетом или в той библиотеке, в которой наряду с порнографическими произведениями было так много книг благочестивого и сентиментального свойства. Так как граф имел обыкновение лично осматривать — должным ли образом наказаны виновные, то, во избежание повторения экзекуции, наказанные нередко кровью животных покрывали рубцы на исполосованной спине. В усадьбе была и своя домашняя подземная тюрьма, изысканно именуемая «Эдикул», где неделями и месяцами сидели нарушившие хозяйственные «приказы» грузинского вотчинника. Не уступала в своих зверских инстинктах Аракчееву его домоправительница и любовница Анастасия Минкина — эта «великомученица» (по отзыву арх. Фотия), убитая крепостными. Она, как и ее возлюбленный, вырывала кусками мясо, и особенно у тех дворовых девушек, до которых был так падок ее сластолюбивый повелитель, упивавшийся чтением книг о ласках любовников. Любитель «благочестия», как и подобало, после зверского истязания любил прочитать «презренному преступнику» назидательное нравоучение. Иногда для большей изысканности или благочестия наказуемые поролись при пении хором красивых девушек: «Со святыми упокой, Господи». Вот что из себя представляла грузинская вотчина графа Аракчеева, достойная, по мнению Александра, особенного уважения.

То же самое было осуществлено и в военных поселениях. Здесь было еще хуже, потому что к ужасам крепостного права прибавлялись еще и ужасы тогдашней военной дисциплины, того тиранства, которое делало военную службу, по выражению Якушкина, почти «каторгой». Там, где господствовала аракчеевская палка, жестокости должны были удесетеряться, тем более что и состав офицерства в военных поселениях был самый низкий, так как служба здесь вызывала у большинства в буквальном смысле слова «омерзение». И при таких условиях звучало большой иронией требование, чтобы поселенный офицер «был кроток, терпелив, справедлив и человеколюбив». На военных поселениях муштровка не только не уступала общеармейской дисциплине, но, пожалуй, даже превосходила ее. Недаром такой любитель солдатчины, как известный уже в то время «за жестокое

обращение с офицерами и солдатами, за беспрерывные мелочные придирки по службе», — великий кн. Николай Павлович, осматривавший новгородские военные поселения вместе с братом, утверждал, что он в гвардии никогда не видел таких учений. О том же фронтовом совершенстве, не раз засвидетельствованном официально, говорит нам и другой современник, гр. Чернышев.

Нетрудно себе теперь представить, как жилось тем, которые должны были соединить соху с обучением ружейным приемам и другим всевозможным военным экзерциям. Военное поселение — это, в сущности, полковой лагерь, где повседневная жизнь регламентируется уставами и соответствующими предписаниями начальства. И по внешней форме военное поселение напоминает как бы постоянно правильно распланированный лагерь: впереди — дорожка для начальствующих лиц, сзади — для поселян. В новгородских поселениях все дома выстроены по одному образцу, каждый для четырех поселян-хозяев. На внешнее оборудование «образцовых» поселений затрачиваются огромные деньги, дабы все отличалось той аккуратностью и единообразием, которые так любил и в своем личном поместье гр. Аракчеев. Уничтожаются все препятствия, мешающие однообразию, хотя эта пунктуальность в распланировке подчас стоит колоссальных сумм: считают, что на организацию военных поселений затрачено более 100 мил. руб. Аракчеев вообще любил строить, отчасти, как оказывается, из честолюбивых замыслов: «надо строить и строить, ибо строения после нашей смерти некоторое хотя время напоминают о нас; а без того со смертью нашею и самое имя наше пропадет». Аракчеев ошибался, дела его не забыты потомством и, вероятно, никогда не будут забыты: строения же военных поселений давно уже разрушились. Быть может, только в заштатном городе Чугуеве Волчанского уезда Харьковской губ. сохранилась архитектурная особенность, говорящая, что здесь некогда было учреждение — пока еще единственное в мировой истории. И Аракчеев строил и достигал успеха «в той мере, какую только позволяли все усилия человеческие (его собственное выражение в докладе императору 4 ноября 1818 г.). В военных поселениях «всё» было «придумано ко благу человека», — как выражался Маевский: «самые отхожие места — все царские». И чего только не было в военных поселениях: чистые шоссированные улицы на несколько верст, освещенные ночью фонарями, бульвары, госпитали, богадельни, школы, заводы, заемные банки, прекрасные дома (в которых жители, однако, зимой мерзли), в окнах занавески, на заслонках печей — амуры, родильные с ваннами и повивальными бабками;

при штабе военных поселений существуют литографии (в то время еще большая новость), издается даже свой собственный журнал: «Семидневный листок военного поселения учебного батальона гренадерского графа Аракчеева полка». Не было только одного — человеческого отношения к тем, которых хотели облагодетельствовать столь оригинальным образом.

Жизнь в военных поселениях идет по раз заведенному масштабу, с соблюдением всех предписаний воинских уставов. Хозяйственные работы производятся ротами под наблюдением офицеров; отлучка на ночь допускается лишь с разрешения ротного командира. Женитьба и замужество совершаются также по приказу начальства, хотя официально в «положениях» и говорится, что «брачные союзы совершаются не иначе, как по обоюдному, не принужденному, добровольному на то согласию жениха и невесты». В действительности вопрос о брачных союзах разрешался проще, именно так, как это практиковалось исстари в грузинской вотчине. Составляются списки тем, кому пришла пора жениться или выходить замуж. В назначенный день собирают кандидатов для брачного союза и по жребию намечают пары. А дальше — то же, что и в грузинской вотчине. Вигель имел полное право сказать про военные поселения: «женщины не смели родить дома: чувствуя приближение родов, они должны были являться в штаб».

Одним словом, регламентируются все семейные отношения, все подробности обыденной жизни. Особенное внимание обращается на нравственность поселян, которым предписывается быть «попечительным отцом», «добрым мужем», «надежным другом и товарищем» (последнее при развитой и усиленно покровительствуемой системе доносов). «Добронравное обхождение в кругу своего семейства, — гласит «правило», — является «как бы порукою по себе начальству в хороших качествах». Весьма скоро, — как официально констатировал Аракчеев, — военные поселения крестьянам «очень полюбились». Дети и взрослые «приняли свойственный солдату вид», изучив солдатскую муштру, по доброй их воле без принуждения — «можно сказать играючи». Так же процветали и хозяйственные работы. Во время официальных обозрений военных поселений Аракчеев получал со всех сторон восторженные отзывы. «Все торжественно говорят, что совершенства в них по части фронтовой, так и экономической, превосходят всякое воображение», — замечает современник. Все почетные гости — иностранные принцы и посланники считают своей обязанностью съездить на Волхов и осмотреть это «удивительное чудо». Чудо удивительное в действительности: «там, где за восемь лет были

непроходимые болота, видишь сады и огороды», — писал в 1825 г. Карамзин.

«Кроме похвалы, никто из моего рта другого не слыхал», — сообщает Александр верному исполнителю своих идей после осмотра новгородских поселений в 1822 г.; «чудесными военными поселениями» восторгается в 1825 г. Сперанский, выставлявший в своей брошюре о военных поселениях в их пользу те самые аргументы, которые ложились в основу их при учреждении: неудобство и тяжесть рекрутчины, уменьшение государственных расходов на армию при новых условиях ее комплектования и, наконец, что особенно важно, наделение в собственность земли крестьянам-воинам.

Аракчеевские льстецы не останавливались ни перед какими похвалами военным поселениям, «основанным на истинном человеколюбии и выгодах общественных». Вот что писал, напр., о преимуществах военных поселений неизвестный нам, довольно чувствительный автор одной из записок, поданных Аракчееву: «Что может быть ужаснее зрелища для каждого, имеющего хоть малейшее сострадательное сердце, с понятием о человечестве, как производство рекрутских наборов в России…» Человек, определенный «в почетное звание солдата, не сделав еще никакого преступления, везется для отдачи на военную службу, как преступник под звуком кандалов…» «В казенных имениях, а наиболее в помещичьих, стараются сбыть в службу развращенных и порочных людей и там почтенное звание солдат делают наказательным». Военные поселения имеют перед рекрутством огромное преимущество уже потому, что сыновья «родятся в военном звании, всасывают в себя с молоком матери дух воинственный». Кроме того, военные поселения «доставляют способы открывать природные способности: из сего класса людей могут выходить великие люди, как были примеры в России Ломоносовых, кн. Меншиковых и пр., и природой дарованные гении не будут исчезать под сохою». Как же после этого не считать военные поселения не только полезным, но «даже необходимым для Российского Государства?»

Удачное начало заставляло развивать военные поселения, число округов которых с каждым годом растет. В 1825 г. население округов военных поселений составляло уже 374 480 человек. Помимо новгородских поселений на Волхове и близ Старой Руссы, имеются таковые в Петербургской, Могилевской, Слободско-Украинской, Херсонской и Екатеринославской губерниях. Но в действительности, несмотря на внешнее процветание, как должны были признать и современники, основные цели военных поселений не достигались. На это

указывал уже Барклай-де-Толли: «вместо чаемого благоденствия» поселенец подпадает «отягощению в несколько раз большему и несноснейшему, чем самый беднейший помещичий крестьянин», и тем самым уничтожается даже и мечтательное утешение военного поселянина на будущее его благосостояние». «Нельзя ожидать, — говорил правдивый генерал, — ни успокоения воинов, ни улучшения их состояния, а в противоположность должно даже опасаться упадка военного духа в солдатах и жалобного ропота от коренных жителей».

Эта «ужасная система» (по выражению Карамзина), ошибочная в своем основании, не могла иметь никаких положительных результатов уже потому, что хозяйство в военных поселениях велось в действительности самым безобразным образом: оно не облегчало казны и разоряло крестьян. По словам Брадке, богатый крестьянин делался бедным после «приписки к военным поселениям». Иначе и не могло быть при аракчеевской системе, руководившейся, по словам» Маевского, правилом: «нет ничего опаснее богатого поселянина. Он тотчас возмечтает о свободе и не захочет быть поселянином». Несмотря на огромные затраты на организацию поселений, несмотря на то, что с каждым годом росли капиталы[184] военных поселений (из которых даже субсидировалось военное министерство), получавших все новые и новые льготы, население в такой же пропорции беднело. «Обиравшиеся со всех сторон поселяне-хозяева с трудом могли прокормить себя, а между тем, — говорит А.Н. Петров, — они обязаны были постоянно даром кормить своих постояльцев[185] из солдат поселенных войск, доставлять овес и сено для полковых конных заводов и исполнять четыре дня в неделю казенную работу, а за поденную плату получать по 10 коп. в день».

В теории через три года по образованию округа военных поселений все войска, находившиеся в поселении, должны были находиться на полном содержании поселян без всяких расходов из казны. Поэтому постепенно уничтожались все привилегии, даруемые коренным жителям при переходе на поселение, прекращалась и выдача казенного провианта ввиду того, что «теперь хозяева настолько обжились, что не только в том не нуждаются, но даже отказываются, и подобные выдачи только идут на пирушку». Данные о жизни военных поселян, собранные в 1821 г. полуофициальным путем, показывают довольно ярко, какую нужду испытывали в действительности военные поселяне: при официальных осмотрах фигурировал жареный поросенок, который из одной избы переносился в другую, в обычное же время у поселян мяса «никогда не было, соли не бывает» «часто дней по 10-ти». «Роты обыкновенно собираются в батальонной

штаб на трое суток для учения, ходят всегда на таковые с одним только хлебом, без всякого приварка». При такой еде фронтовые занятия происходят от 6 ч. утра до 11 ч. и от 2 ч. после обеда до 10 ч. причем «между учением метут тротуары и чистят канавы перед строением», «праздничных дней» во все летнее время не имеют… «заставляют ночью плести лапти к будущему дню» и т. д. Немудрено, что при таких условиях «все поселяне изнурены так, что похожи больше на тени, нежели людей». При таком усердии благосостояние крестьян-воинов должно было быть нищенским еще и потому, что хозяйственные распоряжения военного начальства были весьма нецелесообразны. План летних хозяйственных работ, определяемый Аракчеевым, можно характеризовать одним примером из 1825 г.: «Люди, живущие за 80 верст, — рассказывает Маевский, — должны были, подобно волне, сменять одна другую, не оставаясь дома и двух часов». Конечно, это грозило полным разорением для поселян, но тем не менее пунктуальный Аракчеев ни за что не соглашался отменить свой несуразный план. «Печатного моего приказа ни за что не переменю прежде двух лет, — заявил он Маевскому. — А ты сделай, как хочешь, чтобы и волки были сыты, и овцы целы…» «Бережливость и чистота погребли пользу всего учреждения». И это, пожалуй, до некоторой степени верно. Когда нужно было белить избу или нечто подобное, то все уже отступало на задний план. Пусть сыплется рожь — прежде всего гигиена. В конце концов, какова была действительность, указывает тот факт, что число рождавшихся (о чем весьма, как мы знаем, заботился Аракчеев) в военных поселениях было значительно меньше умиравших. «При десятой доле умирающих, — рассказывает служивший в военных поселениях инженер Панаев, — смертность не считалась большой; когда умирало 1/8, тогда производилось следствие». Отсюда «надежды на избавление губернии от рекрутской повинности сделались пустою мечтою, — официально признавалось в 1826 г. — «Ясно видно, что едва ли 6-я часть убыли может быть пополнена кантонистами».

Такова была оборотная сторона военных поселений, официально до 1826 г. процветавших и пользовавшихся любовью облагодетельствованных крестьян. Много раз поселенцы молят о защите «крестьянского народа от Аракчеева». В военных поселениях замечается эпидемия самоубийств, происходящих «по неизвестной причине», которая заключается в «невыносимости здешней жизни». За мольбами идут протесты и волнения (они систематически происходят и при самом водворении военных поселений[186], которые в сущности с самого начала вводятся насильственно. В 1817 г. происходит бунт в округе Новгородских

военных поселений; в 1819 г. взбунтовались поселяне в Чугуеве, заявив: «не хотим военного поселения — это служба Аракчееву, а не государю». За бунтами следуют жестокие кары. Самые видные волнения были в Чугуеве, где было арестовано 2000 человек; 275 человек были приговорены военным судом «к лишению живота». 235 человек было отослано в Оренбург, причем не избегли наказания розгами и женщины. «Чувствительная душа» (выражение Александра I) Аракчеева смягчила наказание приговоренных судом к смертной казни: их было приказано наказать шпицрутенами, прогнав каждого через тысячу человек. Нескольким десяткам было дано от 3000 до 12 000 ударов. В действительности наказание шпицрутеном было жестокой смертной казнью: припомним, что шпицрутен это гибкий, гладкий лозовый прут в диаметре несколько менее вершка, в длину — сажень…

Живого человека «рубили как мясо». Сам Аракчеев должен был признаться в письме к императору Александру, что «несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли», и несмотря на такое жестокое истязательство, никто из истязуемых не принес повинной. Понятно, что на мыслящих современников, на всех тех, кого нельзя было зачислить в группу «паяцев самодержавия» (Н. Тургенев), истинное положение вещей в военных поселениях производило кошмарное впечатление. «Права собственности, права человечества — забыты», — восклицал Н.И. Тургенев еще в 1817 г.

Фактические осуществители идеи военных поселений, по словам Трубецкого, делались «предметами всеобщего омерзения, и имя самого императора не осталось без нареканий», и действительно, именно под влиянием известий о том, что происходит в военных поселениях, у И. Д. Якушкина появляется даже мысль о цареубийстве… До Александра, конечно, доходили слухи о «петербургских праздноглаголаниях», как выражался Аракчеев. Но он считал военные поселения «одним из величайших дел своего царствования», считал их таковыми, вероятно, из обычного своего упрямства — ведь это была его мысль, его идея. «Военные поселения будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова…» Действительность была недалеко от этого, но об этой действительности «по воле государя» в 1825 г. было запрещено что-либо сообщать в печати. Поистине военные поселения были венцом реакции. Они были введены во имя благодарности за вечно незабвенную Отечественную войну; таковы, следовательно, были и окончательные итоги войны: это были «цветущие поля» и

«блуждающие тени», — самое несчастливейшее зрелище, по официальным отзывам 1826 г. «Если сличить одно с другим, — заключает историк военных поселений А.Н. Петров свой очерк, — то эти цветущие поля, со всей справедливостью, можно было бы назвать землею крови и скорби».

Некоторые из будущих декабристов думали, что «образование военных поселений должно послужить одной из причин "переворота". И эти предположения нашли себе отклик в официальной записке 1826 г., представившей самую строгую критику опасности существования в государстве «нестерпимого порабощения». «Можно ли, — писал автор этой записки, по поручению императора Николая собиравший сведения о положении военных поселений, — при настоящем брожении умов и при явно вероломных покушениях на ниспровержение престолов, равнодушно видеть целые селения вооруженные, состоянием своим недовольные и под командою офицеров угнетенных — видеть все сие у ворот, так сказать столицы, и спать спокойно». Автор приходил к выводу, что военные поселения «в политическом отношении» есть «предприятие… опасное». Военные поселения еще продолжали существовать; в них происходили бунты, усмиряемые с не меньшей жестокостью[187], но самая идея военных поселений была подорвана.

7. «АРАКЧЕЕВЩИНА»

Устроитель военных поселений, «чародей», умевший превращать «болота» в «цветущие поля», давнишний друг императора, гр. Аракчеев, казалось, был в зените славы и влияния. «Аракчеев есть первый человек в государстве», — говорил он сам о себе Мартосу. Казалось, ничто не препятствовало временщику, а тем более мистика, сокрушавшаяся о грехах, проповедовавшая христианские заветы любви и морали, а в действительности прекрасно уживавшаяся с самыми жестокими проявлениями реакции. Среди мистиков мы не слышим протестов ни против военных поселений, ни против ужасов крепостного права. При «набожном мистике», петербургском митрополите Михаиле, по высочайшему приказанию стали даже «поминать на ектений в церквах поселенные войска всех округов военного поселения».

Но при всем своем влиянии Аракчеев был завистлив и, по выражению Греча, «издавна со всею злобою зависти смотрел на успех и распространение силы Голицына». Взирая «со скотским благоговением злого пса» на верховную власть, и он подлаживался под господствующую мистику. Но вместе с тем он покровительствует той ортодоксальной реакции, которая подкапывается под мистику, заподозривая и в ней политическую неблагонадежность. Среди врагов мистики прежде всего официальная церковь. Правда, мистика увлекла в начале и некоторых из церковных деятелей, например, митрополита Михаила, архиепископа Иннокентия, архимандрита Филарета (впоследствии известного московского митрополита), который был одним из деятельных участников Библейского общества[188]. Но огромное большинство деятелей официальной церкви, развивавших в проповедях положения Священного союза (они вывешены были в церквах), как это было приказано из центра, участвовавших в библейских обществах, однако, далеко не склонно было с одобрением смотреть на возрастающее влияние мистиков и пиэтистов. «Не странны ли, — писал Шишков, — даже не смешны ли в библейских обществах наши митрополиты и архиереи, заседающие вместе с лютеранами, католиками, кальвинами, квакерами, — словом, со всеми иноверцами».

Сам по себе уже интерес к мистике все-таки обозначал некоторые искания, некоторую неудовлетворенность, по крайней мере, официальной церковностью. Расцвет мистики обозначал известный упадок авторитета старого узкого богословия

византийского типа, которое заменяла новая «транспирация» в духе татариновских радений. Деятели официальной церкви не могли смотреть одобрительно и на то влияние, которое получают всякого рода заезжие пасторы, несущие с собой протестантско-мистическое влияние. Официальная церковность была, в сущности, враждебна и распространению в широких массах Св. Писания, о чем заботились библейские общества (к библейским обществам несочувственно относилось и католичество), она была враждебна той проповеди, что внутреннее откровение выше слова внешнего, которая раздавалось в устах мистиков. Она должна была протестовать против успеха, который имели в Петербурге квакеры (в 1818—1819 гг.), и видеть в печатании и распространении их догматов (в лабзинском журнале) подрыв господствующей церкви, авторизированной и традициями и правительственной властью. Наконец космополитичность, заключавшаяся, по идее, в мистике и аналогичных течениях, вызывала протест как среди ортодоксов, так и шовинистов-патриотов типа Шишкова. Основатель «Сионской церкви» Лабзин говорил, что нет основания для разделения христиан на различные исповедания. Мистики мечтают о соединении церквей. Библейское общество в своих идеальных мечтаниях также должно соединить все народы земного шара в одну христианскую семью. Недаром Михаил Орлов в речи, произнесенной в Библейском обществе в Киеве, рассматривает последнее «в смысле либерального установления». Один ученый того времени изобретает даже «всеобщий язык», дабы привести все народы к братскому единству и таким путем образовать единую семью небесного Отца. Истины, провозглашенные Священным союзом, также носят универсальный характер. Вселенная есть отечество и вольного каменщика. Масоны — всемирные граждане. Все это явно грозит государству, церкви и истинной религии опасностью. Бесспорно, православных должны были смущать практиковавшиеся в некоторых масонских ложах обряды воспоминания тайной вечери. И вот против Голицына образуется довольно дружный союз из «богомольного», но «слабого верой» Аракчеева, митрополита петербургского Серафима и «полуфанатика, полуплута», по отзыву Пушкина, архимандрита Фотия. Неподвижность мысли, застой и верность традициям — единственно прочное основание для государственной мощи. С этим согласны многие реакционные староверы, как западноевропейские, так и русские. «Кажется очевидным, — писал покровитель иезуитов Жозеф де Местр, — что библейские общества орудие социнианское, выдвинутое для ниспровержения общества церковного». То же самое писал и Ростопчин еще 3 июля

1813 г. (в письме к Балашову): «В сем заведении (библейских обществах) я пользы никакой не предвижу». «Я тут нахожу новые затеи иллюминатов и мартинистов, кои из Библии сделали себе духовное маскарадное платье». Между мистикой и ортодоксией — «православной дружиной» идет с самого начала тайная борьба, полная интриг и клеветы и обвинений в неблагонадежности; недаром еще в 1813 г. современник, будущий министр народного просвещения Николая I и оплот тогдашней реакции, гр. Уваров отметил полную путаницу, которая господствует в представлениях правящих кругов. «Состояние умов теперь таково, — писал он, — что путаница мыслей не имеет пределов. Одни хотят просвещения безопасного, т.е. огня, который бы не жег, другие (а их всего больше) кидают в одну кучу Наполеона и Монтескье, французские армии и французские книги, бредни Шишкова и открытия Лейбница; словом, этот хаос криков, страстей, партий, ожесточенных одна против другой, всяких преувеличений, что долго присутствовать при этом зрелище невыносимо: религия в опасности, потрясение нравственности, поборник иностранных идей, иллюминат, философ, франк-масон, фанатик и т.п. Словом, полное безумие».

Уваров пишет это бар. Штейну по поводу «соблазнительного» пререкания, происшедшего между арх. Феофилактом и арх. Филаретом по поводу изданной первым книги с разрешения светской цензуры: «Эстетические рассуждения» Ансильона. В одном месте у автора говорилось, что «в большей части обществ новейших политическая свобода совершенно исчезла». Причиной исчезновения является то обстоятельство, что «один человек является, другие ничто иное суть, как послушные орудия, верные исполнители его повелений».

По этому поводу Филарет в своей критике восклицал: «Да услышат блюстители общественного благоустройства и спокойствия… как называется общество, в котором "един человек является"… Это монархия… Итак… политическая свобода исчезла потому, что правление есть монархическое? Итак, политическая свобода… только в мятежах и ужасах революции?»

Политический донос вызывает достойный ответ в опровержении Феофилакта: «Да услышат владыки земные, не республиканские ли подданным их преподаются наставления, когда утверждается, что могут они пользоваться и политическою свободою… Между тем всякий верноподданный должен быть верным только исполнителем своего законодателя: «Всяка душа властей придержащим да повинуется»… Такие взаимные обвинения в иллюминатстве, т.е. неблагонадежности, были не редкость.

Любопытную и поучительную страницу этой действительной «путаницы» могла бы дать страница из истории тогдашней духовной цензуры, раскрытая в исследовании г. Котовича «Духовная цензура в России». Мистики преследуют все книги, направленные хотя бы косвенно против них. Но мистика главенствует, и духовная цензура ортодоксии применяет любопытные приемы молчаливой, пассивной оппозиции против книг мистического содержания, задерживая рассмотрение их по 3–4 года, оттягивая свои ответы под всякими благовидными и неблаговидными предлогами.

Любопытно и то, что в противовес петербургским мистическим влияниям на первых порах именно в Москве создается центр той «православной дружины», которая, приобретя авторитетных покровителей, выступила в конце концов открыто против мистики и сломила ее, доказав ее как бы политическую неблагонадежность.

В Москве возгорается небезынтересная даже литературная полемика: не имея возможности появиться в печати, она находит распространение в рукописном виде. С осуждением книг мистического содержания выступает в 1816 г. настоятель Симонова монастыря арх. Герасим, находивший все эти книги противными Священному Писанию. С реабилитацией мистики выступает старый лопухинский ученик Максим Невзоров, обрушившийся с резкой критикой против духовенства: «Нельзя, к сожалению, здесь пройти молчанием, что древле и ныне, по всей Европе и всем христианским государствам в свете и даже, наконец, у нас в России против истинно христианских книг первые восстают духовные. Полвека у нас продолжается издание разных философских, к падению религии служащих, книг, вольтеровских и подобных, но я не слыхал, чтобы духовенство, движимо будучи ревностью к истинному христианству, решилось делать правительству против заразительных сих книг формальные представления. Но лишь только дается свобода выходить истинно христианским сочинениям, оно первое начинает против них вопиять».

«Ругательные бумаги» Невзорова вызывают со стороны некоего кол. асессора Соколова жалобу в Синод, с предложением сжечь или остановить выпуск «несправедливо защищаемых» Невзоровым «нелепых книг». Некий другой губернский секретарь Смирнов в то же время непосредственно обращается к Александру по поводу книг, изданных в 1815–1816 гг., имеющих «благовидную наружность», но «гибельную внутренность», как «ведущих к потрясению христианства, престолов и к образованию тайных обществ, стремящихся владычествовать над миром».

Но московские ревнители веры, очевидно, в то время недостаточно еще ориентировались в положении дел: мистика казалась несокрушимой, и Синод лишь был молчаливым орудием в руках авторитетно стоящего кн. Голицына. В правительственном настроении чувствуется, однако, уже некоторый поворот не в пользу мистических исканий: «В лето 1822 благодатное» Фотий отмечает уже, что «участь Голицына становится все сомнительнее».

Чуткие люди даже из голицынских адептов стремятся уже повернуть фронт: едва ли ни первым был Магницкий, недавно еще столь ревностный насадитель библейских обществ. Магницкий — типичная фигура перебежчика. Ядовитейшую характеристику этого «святого человека» дал Воейков в своем «Доме сумасшедших»:

Я, как дьявол, ненавижу
Бога, ближних и царя.
Зло им сделать сплю и вижу
В честь Христова алтаря!
Я за орден — христианин,
Я за деньги — мартинист,
Я за землю — мусульманин,
За аренду — атеист!

Магницкий идет на поклонение в Мекку к «Змею-Горынычу», а за ним тянутся и другие. В антиголицынском лагере будет и директор его канцелярии Ширинский-Шихматов, представивший Александру целую записку «о крамолах врагов России», направленную против библейских обществ: он обличал здесь «хитрость врагов нашей церкви и отечества», заключавшуюся между прочим в том, что они, в намерении уронить достоинство священных книг, продавали их по самой низкой цене; а чтобы возвысить мнимое достоинство своих зловредных книг, продавали их очень дорогой ценою. В этом лагере обвинителей будет и «ревнитель веры» известный нам реакционер Стурдза, но все же истинной душой этого заговора является юрьевский архимандрит Фотий — самый типичный ортодоксальный фанатик и изувер.

Ничем не знаменитый Фотий, — грязный, цинический в манерах и выражениях самый дюжинный монах — так характеризует его Бороздина, сумел приобрести дамское расположение, и особенно в лице гр. Орловой, имевшей большие связи при дворе и сделавшейся самой верной последовательницей юрьевского архимандрита, его рабой, чуть ли не снимавшей с

него сапоги. Через нее Фотий проникает к кн. Голицыну и к самому Александру; как хитрый лицемер, умеет их расположить в свою пользу и постепенно подготовить падение кн. Голицына, а вместе с ним и всей мистики, — этого «беззаконного сборища из всех сект». Недалекий, но в то же время и незлобивый князь Голицын легко поддался влиянию Фотия. В тот самый момент, когда Фотий записывает, что положение Голицына поколебалось (1822 г.), он доставляет своему врагу цветы, а тот называет Фотия «человеком необыкновенным», «разговор» с которым «имеет силу, которую один Господь может дать». Он обращается «с разрешения и благословения любезного нашего отца Фотия» к своему ярому врагу гр. Орловой с братским наименованием: «Сестра во Господе». Усыпляя бдительность Голицына, «отче преподобный Фотий» проникает во дворец, где в течение 1822–1824 гг. не раз беседует с царем «о делах веры и отечества». Все эти разговоры сводятся к одному: «Эта новая религия (т. е. все лжеумствования о так называемой внутренней церкви, т. е. никакой, как выражался по-другому Шишков) есть вера в грядущего антихриста, дышащая единою революциею, жаждущая кровопролития, исполненная духа сатанина». Другими словами, «новая религия» подрывает основы веры, а вместе с тем и государства.

Все книги, изданные в период господства Голицына, содержат гибельную внутренность, ведущую к потрясению христианства, престолов и к образованию тайных обществ, стремящихся лишь к владычеству мира. Иезуиты, масоны, иллюминаты, якобинцы и все остальные заключили таинственный заговор, чтобы разрушить порядок и нравственность. Вся цель Голицына, — констатирует записка Фотия в 1824 г., — ниспровержение самодержавия и веры. Фотий готов утверждать даже, что мистики в 1817 г. хотели совершить покушение на Александра, и, в частности, в содействии этому обвиняет Лабзина.

«О сем опубликовано было, — замечает Фотий в своем «Историческом повествовании о делах Церкви Христовой и веры православной» (1824 г.), — в «Сионском Вестнике» следующими словами: «Той, кого нетерпеливость влечет, как Петра, ударить ножом, да молиться: "Господи! Даруй сердцу моему терпение!"» Будем, братья, ждать, пока Господь на то воззовет, как воззвал Илию на избиение Бааловых жрецов!»

Протестантские пасторы, вроде популярных Фесслера, Госнера, «хуже Пугачева», по мнению Фотия… Но не только они вредны: сам Греч ни более ни менее как «первый злодей, содействующий пагубе России». Для того чтобы «остановить революцию», надо уничтожить министерство духовных дел,

библейские общества и духовенству поручить надзор за просвещением. Так отвечает Фотий в письме на запрос Александра: что надо делать.

Пугачев и революция — вот два пугала, которыми можно было устрашить более всего и правительство и общество. Вероятно, находились наивные обыватели, которые, действительно, верили в существование какой-то тайной секты, стремящейся ниспровергнуть все основы государственные. По крайней мере, Сперанский в письме к Столыпину 22 февраля 1818 г. пишет: «Из письма вашего я вижу, что там еще ныне верят бытию мартинистов и иллюминатов. Старые бабьи сказки». Но эти старые сказки незадолго перед тем повторял не кто иной, как Ростопчин в записке, представленной в 1811 г. великой кн. Екатерине Павловне по поводу мартинистов; запрещение масонства в 1799 г. он объяснял тем, что масоны хотели убить Екатерину II и что жребий даже пал будто бы на Лопухина;[189] то же повторял позже «якобинец» Магницкий.

Вряд ли Александр I верил этим сказкам, усиленно распространяемым антимистиками. Но в этих сказках можно было найти опору для еще большего усиления реакции против возрастающей оппозиции в обществе и прежде всего для закрытия масонских лож, направление которых с точки зрения правительственной власти стало приобретать нежелательный характер.

Новые течения в масонах грозят сделать ложи гнездом иллюминатства и либерализма, докладывает в своей записке 1821 г. масон Кушелев, принявший должность великого мастера с согласия мин. вн. дел Кочубея исключительно в целях, чтобы «сие звание не впало в руки хищного волка или злоумышленного изверга». Ген.-губернаторы с «таким чутьем», как маркиз Паулуччи и кн. Волконский, уже в 1818–1819 гг. закрыли в своих губерниях масонские ложи. В 1821 г. закрыты все масонские ложи в Бессарабии в силу донесения о «кишеневских новостях» — в ланкастерских школах толкуют о каком-то просвещении. В то же время над всеми масонами было учреждено негласное наблюдение, запрещено было даже печатание масонских песен, а 1 августа 1822 г. масонские ложи были окончательно запрещены, равно как и все вообще «тайные общества». Мотивом были выставлены «беспорядки и соблазны, возникшие в других государствах от существования разных тайных обществ», ближайшим образом имелось в виду, как передает своему правительству Буальконт, — направление польского франкмасонства. «Все без исключения тайные общества, — доказывал маркиз Паулуччи[190] в записке о масонских ложах в

Остзейском крае, — принадлежат к числу средств, которыми пользуются для уничтожения всего существующего». Под личиной усердия и благочестия проскальзывают эмиссары новых учений — политических и религиозных. Паулуччи мог иметь в виду организации в Курляндии тайного общества «Вольных Садовников», поставивших себе целью, как утверждал в своих показаниях декабрист Бестужев-Рюмин, добиться присоединения своей родины к Польше ввиду существования в последней конституционного образа правления[191].

Конечно, масонство само по себе не играло здесь никакой роли. Недаром тот же сенатор, масон Кушелев — доброволец по политическому сыску — и тот должен признать в своем донесении 22 июля 1822 г., что, например, тайная ложа Лабзина, членом коей он состоял «единственно по верноподданнической приверженности», не заключала в себе ничего «необыкновенного и вредного». Недаром консервативный Михайловский-Данилевский, несведущий «в предметах, касающихся до политики», неодобрительно отнесся к закрытию масонских лож, не имевших «другой цели, кроме благотворения и приятного препровождения времени», недаром Ланской, управляющий союзом Великой Провинциальной Ложи, после закрытия лож считает нужным пояснить, что в ложах не допускались «никакие политические толки» и что членам «воспрещалось» иметь какие-либо «сношения» с другими тайными обществами.

Причина преследования тайных обществ заключалась не в масонстве, а в том, что после семеновской истории «прежний розовый цвет либерализма, — как выражался Вигель, — стал густеть и к осени переходить в кроваво-красный», другими словами, по донесению Лафероннэ, Россия в силу распространения смелых теорий становилась менее других защищенной от бурь, которые угрожают Европе.

«Постыдное злоключение» в Семеновском полку было приписано Александром деятельности тайных обществ: «это, вне сомнения, действие подстрекательства офицеров». Аракчеев даже убийство своей свирепой любовницы объясняет в письме к императору тем же «посторонним влиянием». За армией устанавливается бдительный надзор; для выяснения ее настроения учреждается специальная полиция, на которую по личному приказанию Александра «без всякой формальной бумаги» из министерства финансов отпускается 5 т. руб. Надо уменьшить число «негодяев и говорунов», соблюдая, однако, всю осторожность в «секретных делах полиции, дабы они не разглашались в публике», — пишет П.М. Волконский Васильчикову из Троппау 24 ноября 1820 г. Чрезвычайно

любопытен прием, к которому прибегают «для открытия имени «болтунов»: помимо наблюдения за офицерами, ездящими в Кронштадт в масонскую ложу, Волконский распоряжается установить за солдатами Преображенского полка наблюдение «через девок, поименованных в записках». Через полгода из Лайбаха 17 апреля 1821 г. Волконский вновь пишет Васильчикову, что ввиду неутешительных сведений о духе, господствующем среди молодежи, надо «заставить… молчать наибольших говорунов» (арестовать некоторых). «Дела в Италии и Пьемонте могут служить хорошим примером всем этим краснобаям». Все эти распоряжения отдаются по личной инициативе Александра ввиду доходящих слухов, что в Преображенском полку разговаривают «насчет истории Семеновского полка и о том, что ежели не вернутся арестованные… то они докажут, что революция в Испании ничто в сравнении с тем, что они сделают». И эти опасения во всяком случае были небезосновательны:вспомним, что Н.И. Тургенев записал 13 февраля 1820 г.: «Слава тебе, слава тебе, армия гиспанская». Под таким же впечатлением полулиберал, полуконсерватор Вяземский восклицает (в письме к Тургеневу): «Когда скажу себе: в России русскому жить можно; он имеет в ней отечество».

Под влиянием именно этих настроений и происходит закрытие масонских лож, дабы никто не мог бы прикрывать дела политические праздными собраниями для «приятного времяпрепровождения». Правда, результаты будут иные, как предусмотрительно отмечала еще в 1819 г. петербургская полиция: в случае закрытия масонских лож, они все равно будут существовать — только останется в них одна «сволочь», которая превратит ложи «в сборища разврата». Правительство преувеличивало силы действительной оппозиции. По словам принца Вюртембергского, Константин Павлович рассказывал ужасы о мятежном настроении войск, и в особенности гвардии: «Стоит кинуть брандер в Преображенский полк, и все воспламенится». Но хотя «заражение умов» и было «генеральное», в среде либералов, конечно, было много «Репетиловых, фанфаронов, повторявших фразы людей с высшими взглядами», как выразился Греч. В обществе и на либерализм была мода: Вигель прямо был оглушен «новым непонятным сперва для меня языком, которым все вокруг меня заговорило» (после 1812). В это время (1820), по признанию Греча, и он сам был «отъявленным либералом». Но Греч с успехом может быть отнесен к числу тех, которые повторяли «фразы людей с высшими взглядами». Сознательных граждан было еще слишком мало.

И если бы Александр оценил действительное положение дел, то он, «может быть, решился бы сыграть с вами плохую шутку», — сказал ген. Ермолов Н.И. Тургеневу[192].

Александр не знал, однако, истинной силы тайных обществ и боялся их. Боязнь вспышки наподобие Испании заставляла воздерживаться от активных выступлений, но в то же время усиливать реакцию: правительствам не дано усвоение истины, что реакция мало способствует успокоению революционных настроений, а лишь усиливает их.

«Общее мнение не батальон, ему не скажешь: смирно», — сказал еще Греч. А это общее мнение, во всяком случае, решительно осуждало крайности реакции, затрагивавшей подчас своей неумеренностью и элементы не только благонамеренные, но по своему существу и реакционные. Так было и с мистикой, которой ортодоксальной реакции, действовавшей и по личным мотивам, удалось нанести окончательный удар и свалить в 1824 г. Это «лето», еще более «благодатное», чем предшествующие годы, обнаружило, что в Петербурге пользуется большим успехом проповедь двух заезжих католических пасторов Линдля и Госнера, которые, по словам Греча, «не отрекаясь от католицизма, проповедовали какой-то мистический протестантизм». Магницкий Рунич, Кавелин и все другие приспешники Голицына «окружали их кафедры, выворачивали глаза, вздыхали, плакали, становились на колени» (Греч).

Госнер написал особые толкования на Новый Завет, которые были переведены на русский язык и печатались с одобрения Голицына в типографии Безака и Греча, за что последний, очевидно, и попал в число первых злодеев в глазах Фотия. При содействии Магницкого и обер-полицмейстера Гладкова, числившегося также в «православной дружине», из типографии была выкрадена корректура части этой книги — «о Евангелии Матфея», «явно противной христианству», и препровождена к Аракчееву. Эта «безбожная и богохульная» книга и послужила поводом к ликвидации официальной мистики.

Шишков с друзьями, занявшись ее рассмотрением, нашел в ней явную и очевидную цель «под видом толкования евангельских текстов проповедовать ниспровержение всякой христианской веры». Но этого мало: книга представляет собой «позыв на восстание против всех первосвященников, всех вельмож и царей». Не безынтересно, быть может, привести пример тех толкований, при помощи которых Шишков приходил к выводу о революционности книги.

Госнер писал: «Христианин не желает иного отечества, кроме обширного шара земного, принадлежащего Господу».

Шишков: «Не развратy ли, не сущу ли разрушению всех добродетелей, учит нас здесь проповедник?» Он «не велит иметь отечества, следовательно, ни алтаря ни государя».

— «Спаситель избавил народ свой от грехов мучения и власти». Шишков: «Темнота выражения сего смешивает адское мучение и дьявольскую власть с законною властью земных правителей».

В результате Госнер был выслан 25 апреля 1824 г. за границу, а цензор предан суду. 15 мая перестал быть министром и кн. Голицын, а его помощники сменены, причем Попов также был предан уголовному суду.

«Избиение ваалoвых жрецов» произошло. «Несчастие пресеклось, — писал по этому поводу Фотий, — армия богохульная паде… общества все богопротивные, якоже ад, сокрушились». Кто же спас отечество от всех неисчислимых зол, которые ему грозили? «Молился об Аракчееве, — сообщает Фотий: — он явился раб Божий; за святую церковь и веру, яко Георгий Победоносец».

Радостью встречают весть об отставке Голицына и его присных московские патриоты, боровшиеся ревностно заодно с петербургской православной ратью: «Мартинисты, — восклицает в письме известный нам Александр Булгаков, — пора их всех истребить. Общее мнение столь поражено карбонарами, что все секты относятся к ним. По крайней мере, сим обнаружен благонамеренный дух нашей столицы».

Министром на место Голицына сделался за «сочинение нелепого разбора» книги Госнера вождь литературных староверов, «выживший в то время из ума бестолковый Шишков». Если ужев 1820 г. Тургенев в тисках русской жизни восклицал с отчаянием: «Душно, душно!…» «Тут невежды со всех сторон ставят преграды просвещения, там усиливают шпионство…»

Что же приходилось сказать теперь, когда действительно «гас последний луч надежды». Ортодоксальная реакция была еще мрачнее мистической. Прежде всего, естественно, изгнана была мистика.

11 декабря 1824 г. митрополитом Серафимом под влиянием «православной дружины» была представлена Александру записка о необходимости закрыть библейские общества[193], ибо «чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и провести в нем междоусобие и бунт». Библейские общества придумали «хитрый и злодейский план»… Переводов. Писания на простое наречие одно из средств к по-колебанию веры, ибо «если язык домашнего воспитания в законе Божием будет различен с языком служения в церкви, то из сего

непременно долженствует произойти соблазн». Оставалось только ввести и в домашний обиход церковно-славянский язык. По словам Шишкова, Александр отклонил представление митрополита на том основании, что «правительству надлежит быть твердым в своих постановлениях». Тогда уже Шишков принимается за составление более сильной записки в доказательство вреда, могущего последовать от перемены «языка церкви на язык театра в священных книгах». Библейские общества имеют одно намерение — «составить из всего рода человеческого одну какую-то общую республику и одну религию: мнение мечтательное, безрассудное, породившееся в головах или обманщиков или суемудрых людей». «Не странны ли, — писал Шишков, — даже не смешны ли в библейских обществах наши митрополиты и архиереи, заседающие вместе с лютеранами, католиками, кальвинами, квакерами, словом, со всеми иноверцами».

«Будь прямо, русский царь, — заключает Шишков свою записку. — Возвысь дворян, ограду твоего престола! Будь отец народу, но не давай возмущать себя преждевременным внушением о вольности, вовлекающим его в своевольство… Одно слово твое, один взор рассеет в царстве твоем всех вольнодумцев…»

Наряду с библейскими обществами, конечно, подверглись опале все «богохульные книги», изданные за время господства мистицизма. С другой стороны, по мнению Магницкого, от книг русских профессоров пошло все новое вольнодумство в Европе; поэтому надо усилить цензуру. Шишков совершеннно согласен с таким положением. Еще в 1815 г., когда цензура искореняла довольно тщательно «затеи буйной философии», Шишков входил с представлением о слабости цензурной. Сделавшись министром, он находит необходимым «поскорее устроить цензуру, которая до серо времени, нужно сказать, не существовала». И 25 мая 1824 г. Шишков испрашивает Высочайшее позволение: «Сделать план, какие употребить способы к такому и скорому потушению того зла, которое, хотя и не носит у нас имени карбонарства, оно есть точно оное».

И начинается полное мракобесие, когда уже ничто не могло, по словам Фадея Булгарина, будущего шишковского продолжателя, защитить «бедную литературу от невежественных когтей цензора», когда даже филаретовский катихизис и тот был заподозрен чуть ли не в революционности.

Когда не кто иной, как сам Магницкий, прислал под псевдонимом в цензурный комитет рукопись «нечто о конституции», где доказывал превосходство неограниченной

монархии перед конституционной, то комитет ответил уже так, как в свое время Голицын ответил по поводу рассуждений о крепостном праве: комитет «не находит нужным, ни полезным в государстве с самодержавным образом правления публично рассуждать о конституциях».

Да, «худая песня соловью в когтях у кошки», — заметил по этому поводу Крылов в соответствующей своей басне.

Весь александровский либерализм окончательно был похоронен.

Осуществляется целиком принцип Жозефа де Местра: «Замедлять царство науки и присоединить к верховной власти могущественного союзника во власти церковной».

В период мистической реакции, пожалуй, была одна хорошая сторона — это некоторая веротерпимость. Теперь и в церковные дела проник дух «застенков и казарм» — Суздальская монастырская тюрьма становится уделом религиозных мыслителей, не подчинившихся увещаниям «отче преподобного» Фотия (есаул Колесников).

Реакция углубляется и во всех других сторонах жизни. Если административный произвол не редкость и в прежние годы (ссылка Лабзина в 1822 г., Пушкина и т. д.), то теперь он достигает циничной прямоты. Вместе с тем происходит полный развал государственного механизма. Высшие государственные учреждения теряют свой авторитет и над ними высится единоличная власть временщика. Допустим, что Аракчеев, сам называвший себя «пугалом мирским», действительно был человеком «большого природного ума» (мнение де Местра), «необыкновенных способностей и дарований» (фон-Брадке), умевшим «расставить людей сообразно их способностям» (Батенков), во всяком случае, «злодейские качества Аракчеева[194], то исключительное положение, которое занял грузинский отшельник в управлении государством, когда "Члены Государственного Совета и министры относились к нему по повелению императора в большей части случаев, где требовалось высочайшее разрешение" (Якушкин), делали совершенно несносным положение вещей: «все государство трепетало под железною рукою любимца-правителя». И «никто не смел жаловаться».

«Едва возникал малейший ропот, — вспоминал впоследствии Н.А. Бестужев, — и навечно исчезал в пустынях Сибири и в смрадных склепах крепостей». И тот же Бестужев отметил еще одну черту: «Где деспотизм управляет, там утеснения — закон». И действительно, состояние администрации во вторую половину царствования Александра I представляет самую «жалкую»

картину. Уже сенаторские ревизии 1815–1816 гг. достаточно ярко показали, что «народ страждет от грабительств» чиновников. Честным людям не было места при Аракчееве; «для нынешней службы, — писал еще 7 апреля 1818 г. матери молодой Рылеев, — нужны подлецы». Каховский в таких словах охарактеризовал состояние России в последние дни, казалось, столь «блестящего» царствования: «У нас нет закона, нет денег, нет торговли, у нас внутренние враги терзают государство; у нас тяжкие налоги, повсеместная бедность».

Многим из современников казалось, что Россия пошла по такому пути потому, что Александр с каждым днем «все более и более отчуждался от России» (Якушкин), потому что Александр, «забыв все свои обязанности относительно России… к концу своего царствования предоставил все дело управления страною известному Аракчееву» (А.Н. Муравьев). В другой статье мы уже указывали, что это была только иллюзия современников. Предоставляя Аракчееву за своей подписью бланки, «вследствие чего, — говорит В.И. Семевский, — он мог даже без доклада государю заключать в Шлиссельбургскую крепость вызвавших его гнев и ссылать в Сибирь», Александр тем не менее тщательно следит за всеми фазами внутреннего управления.

«Цари преступили клятвы свои, - писал Каховский по поводу Священного союза. — Монархи лишь думали об удержании власти неограниченной, о поддержании расшатавшихся тронов своих, о погублении и последней искры свободы и просвещения». Но и в этом «монархи» были лишь отголосками той социальной среды, которая поддерживала их во имя борьбы с «преступной» революцией.

Мы только что видели результаты, к которым привела реакция в России, когда «исступленных любителей метафизики» сменили ортодоксальные изуверы и Скалозубы с их девизами в школах «лишь учить по-нашему: раз! два! а книги сохранять так, для больших оказий»; рвение к мистике в аристократическом обществе исчезло как «по сигналу». И это более чем понятно. «Все зависело от двигателя, пускавшего в ход машину, — замечает в своих записках Рунич: — во время министерства Кочубея и его души — Сперанского все были ханжами. Во время милости Аракчеева все были льстецами».

Полуофициальный мистицизм, так легко павший под ударами ортодоксальной реакции, еще раз показывал, как, в сущности, неглубоко захватывал он русское общество. Правда, это общее увлечение неизбежно должно было оказывать некоторое влияние на миросозерцание современников, окрашивать его известной долей религиозной мечтательности. Мы ее видим

отчасти даже среди будущих декабристов. Но, конечно, эта мечтательность в своей сущности была очень далека от выше очерченного мистицизма, враждебного всему тому, что носило отпечаток научности. Мечтательность эта скорее приближалась к раннему философскому идеализму николаевского времени; она являлась скорее плодом реакции, когда люди вообще склонны уходить от мира реального в мир воображаемый. Если александровская мистика питалась в противовес мистике. Во имя позитивизма, во имя разума они поднимали знамя борьбы против всех иррациональных начал жизни. Недаром реакционер Рунич писал, что вся новая «немецкая философия… дерзко подрывает основы Священного Писания…»

Мистицизм не оказал никакого влияния на русскую литературу. И его одиночество показывает, что он был наносным явлением, не имевшим под собой реальной почвы. На смену слащавого и бессодержательного сентиментально-романтического (направления начала александровских дней шел новый романтизм полный гражданского гнева: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. И эта гражданская поэзия Рылеева с ее смелым обращением «к временщику», с ее горячими призывами к борьбе за свободу родины и к самопожертвованию; вольнолюбивые произведения Пушкина - вполне гармонировали с теми карбонарскими настроениями, которые действительно, а не только в воображении Шишковых растут в просвещенном русском обществе под влиянием роста реакции, а не той мистической, конечно, литературы, в связь с которой впоследствии в своих записках ставил Шишков события 14 декабря 1825 г.[196]

Эти события были, таким образом, неизбежной развязкой царствования Александра. Стоит прочитать замечательное письмо Каховского из крепости 24 февраля 1826 г., чтобы понять психологию тех, кто вошел в историю с наименованием декабристов. «Народы, — писал Каховский, — постигли святую истину, что не они существуют для правительства, но правительства для них должны быть устроены. И вот причина борений во всех странах; народы, почувствовать сладость просвещения и свободы, стремятся к ним; правительства же, огражденные миллионами штыков, силятся оттолкнуть народ в тьму невежества. Но тщетны их все усилия; впечатления, раз полученные, никогда не изглаживаются. Свобода есть светоч ума, теплотворная жизнь была всегда и везде достоянием народов, вышедших из глубокого невежества». В литературе не раз были совершены неудачные попытки представить декабрьское движение как движение дворянское. Но каковы бы ни были оттенки воззрений отдельных декабристов, все движение носило

яркий отпечаток протеста во имя народных интересов. «Дворянство, — констатировал Бенкендорф в своей записке о тайных обществах в 1820 г., — по одной уже привязанности к личным своим видам, никогда не станет поддерживать какого-либо переворота». Или, вернее, поддержит его тогда, когда этот переворот не направлен против попрания сословных привилегий. Александр I не был антидворянским царем в первые годы своего царствования и был царем по преимуществу дворянским, начиная с 1812 г., хотя и не любил так дворянства. И дворянский публицист Ростопчин, в конце концов, по-своему верно определил характер движения 14 декабря 1825 года: обыкновенно сапожники хотят быть дворянами, а у нас дворяне захотели быть сапожниками.

notes

Примечания

1

С. Мельгунов. Мережковский и его роман Александр I. 1923 г. // Дела и люди Александровского времени. Берлин: изд. «Ватага», 1923.

2

Шильдер Н.К. Александр Первый. В 4 т. СПб.: изд. А.Ф. Маркса, 1897.

3

Рисунки и альбомы А. Бенуа, Е. Лансере, В. Добужинского, К. Сомова, тематические статьи А. Трубникова, М. Чулкова, и стихотворения А. Ахматовой в журнале «Аполлон» за 1909–1917 гг. и проч.

4

Мы не говорим, конечно, о той ранней истории царствования Александра, которая, по одному меткому выражению, представляла собой «только восторженные восклицания». Типичным образцом такой оценки может служить, например, апофеоз наивного Федора Глинки в «письмах русского офицера»: «Когда поколебаются царства и потрясутся престолы, тогда Государь, над главою которого зашумят бури, взглянет с доверенностью в бытия прошедших времен, увидит лучезарное имя Александра I, возьмет с него пример твердой непоколебимости».

5

Настоящая статья была напечатана в 1912 г. в юбилейном издании «Отечественная война и русское общество», выходившем под редакцией А.К Дживелегова, В.И. Пичета и моей. Приходится оговориться, что мое упрощенное понимание «загадочного сфинкса» начала XIX в. вызвало возражение в печати. Напр., в рецензии А. А. Кизеветтера в «Русской Мысли», согласного в общем, однако, с точкой зрения автора; в рецензии Б.И. Сыромятникова в «Вестнике Воспитания», по-видимому, склоняющегося к старому пониманию и мало считающегося с новыми данными. Наконец, совершенно отрицательно отнесся к моей характеристике рецензент «Современника» г. Бороздин (с чем, впрочем, не согласилась сама редакция).

Не знаю компетентность г. Бороздина в данном вопросе, но не могу не отметить одного курьеза: рецензент торжественно говорит, что мои взгляды являются шагом назад после работы великого князя Николая Михайловича. Может быть, но только почтенный рецензент забыл сделать существенную оговорку, что моя статья появилась в свет за год слишком до указанной работы. Насколько субъективна оценка личности, показывает то, что если один рецензент готов признать мою статью публицистическим упражнением на историческую тему, почти памфлетом, за отрицательное отношение к личности Александра, то другие (Н. А Рожков в «Современном Мире») упрекали меня за шаблонную идеализацию. Очевидно, истина лежит посередине. Сам по себе факт столь противоположной оценки свидетельствует, что статья моя не является тенденциозным памфлетом и в ней дана в общем правильная, неизбежно, конечно, субъективная, характеристика Александра.

Статья в этом сборнике появляется, в сущности, без изменений. Считал лишь необходимым дополнить изложение новыми фактами, подтверждающими высказанную точку зрения. После написания статьи появилась большая работа в. кн. Николая Михайловича, изобилующая, особенно в приложениях, ценным документальным материалом (важная публикация в 1913 г. была сделана еще Ник. Мих. изданием донесений за 1816—1826 гг. Меттерниху, австрийского посланника при русском дворе, гр. Лебцельтерна, женатого на графине Л аваль, сестре жены декабриста Трубецкого. Ценный материал для характеристики Александра находится в книге Ал. Фурньера «Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress», вышедшей также в 1913 г.). Мое отношение к исследованию Ник. Мих. ясно из помещаемого ниже

разбора его книги. Включая и эту последнюю статью в свой сборник, я не считал уже нужным отмечать разность взглядов при характеристике Александра. Одновременно с работой Ник. Мих. появилась и значительная статья А.А. Кизеветтера «Александр I и Аракчеев», вошедшая в его сборник «Исторические отклики». Обе эти работы не изменили точки зрения автора на личность Александра. Скорее в них нашлось подтверждение многих предположений, которые мне осторожно приходилось делать, ввиду отсутствия еще достаточного материала. Там, где мне подчас приходилось ставить в тексте «может быть», теперь с полным основанием можно поставить — «наверное». Так, не совсем соглашаясь с Вандалем при его характеристике Тильзитского свидания, приходилось указывать, что здесь Александр проявил свое обычное «в высшей степени рассчитанное притворство» и что он вел определенную, заранее намеченную, политику. Материалы, заключающиеся в работе Ник Мих., с совершенной очевидностью подтвердили эту точку зрения. И другие предположения нашли ныне себе более тщательное фактическое обоснование во вновь опубликованных документах.

Характеризуя роль и значение Аракчеева в царствовании Александра, мне приходилось отмечать в своей статье несоответствие шаблонного представления об этой роли с действительностью: я указывал, что Аракчеев был, в сущности, «лишь верным исполнителем велений своего шефа». Подобный взгляд подробно развит и блестяще доказан в упомянутом этюде А.А. Кизеветтера.

6

Припомним пастушеские идиллии в швейцарских домиках Марии Антуанеты в Трианоне.

Еще Воронцов справедливо замечал в письме к Строганову в 1803 г.: «Если бы вместо путешествий по большим дорогам он (т.е. А.) посвятил это время на изучение полезных для России реформ, положение было бы иное».

8

В. кн. Ник. Мих. отрицает возможность такой фразы у Александра. Это отрицание, так сказать, психологическое. Нам представляется, напротив, рассказ Якушкина правдоподобным.

9

См. в главе «Мелочи» заметку «Александр I и женщины».

Природа наделила его щедро самыми любезными качествами» (Чарторижский); «природа наделила его всякими достоинствами» (Массой).

11

Недостаток умственной дисциплины отмечает уже всю жизнь Александра Об этой непривычке к умственной работе говорят нам почти все иностранцы, имевшие возможность наблюдать русского императора в каждодневной работе во время Венского конгресса. Их описание времяпрепровождения Александра можно характеризовать коротко: он не сидит за письменным столом, днем на маневрах, вечером танцует (см. еще в отделе «Мелочей»). Александр, от «природы ленивый», вообще не утруждал себя серьезной мыслью и серьезным чтением. Во время уроков Лагарпа преимущественно дремал. В юности знания его были поверхностные, и пока он был великим князем, «не прочел до конца ни одной серьезной книги» (по свидетельству Чарторижского), а позже, по словам Греча, он читал одни только французские романы и выписки из иностранных газет. До конца жизни он не знает и не интересуется русской литературой. Он не только ничего не читает по-русски, но даже плохо объясняется на своем родном языке. Совершенно таким же было и его знакомство с мистикой.

12

Также перлюстрируется в позднейшее время переписка ближайшего друга Александра кн. Петра Волконского.

13

Их должна была отметить еще Екатерина: «этот мальчик соткан из противоречий».

14

Позднейший историк Венского конгресса, Фурньер, посвятивший много страниц роли Александра на конгрессе, говорит: «Еще и теперь историки считают его (т.е. А.) трудно уловимой натурой. Таким же он был и для своих современников, которые видели, как этот умный, способный, широкообразованный, беспрерывно колебался между патетическим идеализмом и хитрым расчетом (и затем осуществлением), быть любезным и противоположным капризом».

15

Взаимные отношения Луизы и Александра очень ярко изображены в этюде А.К. Дживелегова, напечатанном в «Голосе Минувш», 1913 г., № 1.

16

Причина непонятной привязанности Александра не так уже будет непонятна, если отрешиться от традиционного взгляда на благородный идеализм его натуры. Как было указано, интеллектуальность Александра не так уже была велика и не так уже была чужда понятия истиннорусского неученого дворянина Аракчеева. Роднили их одинаковые интересы и вкусы. Оба в жизни были к тому же большие актеры, и эта черта их также роднила. Чего стоит, напр., одна только поза Аракчеева, заведовавшего всем, пользующегося расположением Александра, хотя и временным, и униженно просящего кн. С.Г. Волконского замолвить «словечко» за него перед Винцегероде. Привязанность личная к Аракчееву объясняется в значительной степени, как показывает А. А. Кизеветтер, той ролью, которую играл Аракчеев во время юности Александра, ролью «самоотверженного дядьки, прикрывающего молодого барчука от грозного отца». Аракчеев исполнял более чем добросовестно эту роль дядьки. Как характерны, напр., такие сцены, когда Аракчеев являлся в спальню молодых супругов и, заставая их обоих в постели, тут же давал подписывать Александру рапорт о дежурствах и т.п. Лишь раз пробежала кошка между друзьями, когда в 1809 г. Аракчеев при организации Государственного Совета, т.е. при осуществлении якобы плана либеральных начинаний Александра, попросился в отставку. Он хотел испытать свою силу. И Александр очень определенно показал, что он без труда пожертвует своим другом. Он выразил в письме надежду впредь видеть лишь прежнего Аракчеева. И последний уже более не пытался прямо противоречить своему покровителю, идя путем обволакивающим, когда ему чего-либо надо было достигнуть, напр., свалить личного друга царя кн. Голицына. И Аракчеев стал единственным человеком, который мог быть почтен именем доверенного, как замечал гр. Ноаль в 1816 г. Александр работает только с Аракчеевым. Александра интересует главным образом «необыкновенное дело», им затеянное, т.е. военные поселения. Аракчеев же сумел, как никто, положить «хорошее начало», по собственному его выражению, после одной из жесточайших экзекуций в Высоцкой волости. И так как Аракчеева ненавидели действительно все другие сотрудники Александра, то последний в полном соответствии с истиной мог писать ему 22 сентября 1825 г. после убийства аракчеевской любовницы: «У тебя нет друга, который бы тебя искреннее любил».

17

Реальной «виной» Сперанского было лишь самовольное присвоение себе права читать дипломатическую перлюстрацию (см. Ник. Мих. «Александр»).

18

См. заметку С. Мельгунова: «Был ли Александр католиком». Факты, характеризующие эту своеобразную политику Александра, собраны в исследовании Ник Мих.

19

См. статью «Вожди армии».

20

«M. de Bock a perdu la raison», по словам Александра в письме к Паулуччи.

21

Так называл Александра Наполеон.

Антипатия к дворянству проявлялась и позже: царь не любит аристократии, последняя отвечает ему той же монетой — доносит французский атташе при русском дворе гр. Ноалль в 1816 г.

23

Уступчивость Александра — «психологический мираж» (Кизеветтер).

24

Его упрямство проявлялось иногда в удивительных мелочах. Михайловский-Данилевский в доказательство твердости характера Александра рассказывает о таком случае. Однажды во время дороги император сказал Михайловскому, что он намерен ехать три или четыре станции, «не закрывая коляски и не выходя из оной», и сдержал свое слово, «невзирая ни на какую погоду, на ветер, дождь или бурю». Но неужели в этом заключается та сила воли, о которой говорит в своей записке гр. Эделинг?

25

«Лишнее самолюбие, а оттого упорство во мнениях своих».

26

Противниками являлись и Багратион с Ростопчиным — оба неавторитетные для Александра лица.

27

См. переписку с Екатериной Павловной.

28

См., напр., отзыв Фарнгагена (1822): «Ум совершенно посредственный».

29

Между русскими и так называемыми всеобщими историками существует разногласие по вопросу о том, кому принадлежит план идти на Париж. Русская военная историческая школа утверждает, что идея эта разработана в русском штабе. Западная историография приписывает инициативу Шварценбергу — эта инициатива спасла положение союзников и погубила Наполеона. Для нас в данном случае важно то, что Александр был горячим сторонником движения на Париж. Мотивы, вероятно, были более сложны, чем то рисовалось Кесльри.

30

Личное самолюбие для Александра всегда стояло на первом плане. Александр был крайне оскорблен, что Людовик XVIII не оказал ему достаточного почтения, как спасителю трона. И только после Фонтенебло, когда вырисовалась опасность, что восторжествует вновь его соперник Наполеон, Александр сделался сторонником Бурбонов.

31

Крюденер агитировала в пользу восставших греков. Но она не понимала, что политика для Александра куда выше христианской морали. И Александр никогда не согласился бы на вмешательство, потому что прежде всего опасался быть в союзе с радикалами Европы (Меттерних Лебцельтерну 6 окт. 1821 г.).

См. ниже: «Правительство и общество после войны».

Так смотрит и последний биограф Александра вел. кн. Ник. Мих.

Даже и внешние впечатления от России и Польши у Александра были различны. От Петербурга до Волыни во время своей поездки в Варшаву в 1818 г. Александр находил лишь «разорение и жалобы*, а по въезде в пределы Польши «все облекалось в радостный вид». Если в Москве ему представилось 42 дворянина, в Житомире он видел 200. Это, по свидетельству Михайловского-Данилевского, тешило самодержца.

35

См.: Семевский «Политические и социальные идеи декабристов.

36

Новосильцев советовал Александру в ответ на протесты первого польского сейма уничтожить конституцию.

37

Любопытен отзыв об Александре Талейрана: для него Александр простак (niais) — «гибкость ума не соответствует благородству характера».

38

Путешествия Александра на конгрессы возбуждают насмешки в гвардии — доносил Буальконт.

39

То же самое он не раз говорил и Лебцельтерну: «Я должен теперь заняться интересами подданных».

40

См. ниже «Правительство и Общество после войны».

41

Популярна песенка: «Le roi de Danem: trinkt mr alle, L'empereur de Russie: liebt fur alle».

Эти отрицательные отзывы политиков Венского конгресса, конечно, объясняются тем, что освободитель Европы не так уже оказался податлив меттерниховской интриге. Его собственная политика в данном случае столкнулась с интересами других. До Венского конгресса Александр был для Европы как бы в перспективе. Он был нужен — и нет недостатка в дифирамбистах. С падением Наполеона он уже становится опасным. Страсти разыгрались именно на польском вопросе. И в закулисных беседах определенно говорилось, что, если Россия получит Польшу, Александр «будет опаснее Наполеона». И как прежде не хватало дифирамбистов, так теперь пытаются отметить отрицательные стороны. Но, отмечая их, как видим, попадают не в бровь, а в глаз.

43

Напечатано в сокращенном виде в берлинских «Днях» (1923 г.).

«Голос Минувшего*, 1914, XI, 115.

Говорят еще о связи Александра с небезызвестной фрейлиной княжной Туркестановой, умершей после родов в 1819 г. Утверждали, что кн. В. Голицын взял как бы на себя вину и воспитал дочь Туркестановой от Александра. Прямых свидетельств этому нет и факт представляется сомнительным.

46

В книге «Наполеон и Александр».

Припомним характеристику Меттерниха, данную Шатобрианом, — очень близкую к характеристике Александра: «Это человек посредственный, без основ, без взглядов…, фальшивый…, ловелас в молодости, старается прельстить все, к чему он приближается, а когда это ему не удается, делается врагом».

См. статью Ашкенази в «Гол. Минувшего» (1916, № II) «Императрица Елисавета и кн. Адам Чарторижский».

Естественно, что в этот период она «очень холодна» по отношению к мужу, как отмечает в своем дневнике 1 янв. 1807 г. с. сек. Вилламов.

Барант утверждает, что оба супруга добровольно возвратили друг другу свободу. Мало того, Александр изо всех сил покровительствовал связи с Чарторижским. Барант сообщает, что, когда у Елисаветы родилась девочка и она была показана Павлу, последний будто бы заметил статс-даме Ливен: «Сударыня, полагается ли, что у блондина мужа и блондинки жены может быть ребенок брюнет?» «Государь, Бог всемогущ», — ответила Ливен.

Курсив мой.

Для тогдашних нравов любопытно, что в роли сводни выступает Нарышкин, муж возлюбленной Александра, быть может, таким путем мстящий своему властелину.

53

Гр. Эделинг говорит об изменении отношений между супругами еще в 1812 году: «В дни страшного бедствия пролился в сердце их луч взаимного счастья. Елисавета, убедившись, что он несчастен, сделалась к нему нежна и предупредительна»-. Возможно, что у такого отзывчивого человека, каким была Елис. Алек., была попытка примирения и поддержки моральной мужа.

54

«Мама, наш ангел на небе, а я еще прозябаю на земле… Не покидайте меня, мама, я совершенно одинока в этом мире страданий».

55

Из письма Лебцельтерна Меттерниху 1822 г.

56

«Увы, я не могу воспользоваться своим старым правом осыпать ваши ножки самыми нежными поцелуями в вашей спальне в Твери».

Напечатано в «Голосе Минувшего».

Кстати, о самом издании в русском переводе книги Пирлинга. Издательству «Современные Проблемы» предоставлено автором «исключительное право перевода». Эта привилегия оказалась для автора весьма невыгодной. Перевод и самое издание, несмотря на привлекательную внешность, из ряда вон выходящие по своей небрежности. Не говоря уже о бесчисленных корректорских погрешностях (напр., вместо «генерал» — «гендаль», Италийский — Кралинский и т. д.), которые можно объяснить спешностью издания или невниманием типографии (хотя какая же спешность при издании небольшой брошюры в 140 стр. маленького формата), трудно уже бывает разобрать, кто виноват, переводчик или издатель, когда Гаетано Морони именуется Гастоно Мозани, «Подражание Иисусу Христу» — подражанием «Эрнсту», Юнг Штиллинг — то Джон Стилинг, то Дженг Шиллинг, г-жа Гюйон — то Гюно, то Гюпон. Недогадливость или небрежность переводчика удивительная. Пирлинг, естественно, переводил русские материалы на французский язык. Переводчики вторично переводили на русский язык, делая здесь свои изумительные ошибки. Не проще ли было заглянуть в русский оригинал, на который делается у Пирлинга точная ссылка. В данном случае книга была доступная: переписка Александра I с его сестрой Екатериной. Не доказывает ли это, что литературная конвенция сама по себе отнюдь не гарантирует хорошего качества переводов.

Это вполне подтверждается свидетельством самого ген. Мишо, найденным мною в бумагах С.С. Татищева. К сожалению, все эти документы остались в Москве.

60

Эту небольшую рецензию, напечатанную в «Голосе Минувшего», автор помещает в «Мелочах» в целях отметить лишь свою точку зрения на легенду о Феодоре Кузьмиче.

61

Перес. «О том, что Наполеон никогда не был» (изд. «Задруги»).

62

Статья напечатана в издании «Отечественная война и русское общество». Автор предполагал дать характеристику всех наиболее видных полководцев 1812г. Задача осталась, однако, невыполненной. Помещаемый очерк посвящен взаимным отношениям Барклая и Багратиона, иллюстрирующим характерные черты эпохи; поэтому статья и вводится в сборник.

См. также письма А. Б. Куракина к императрице Марии Феодоровне.

Историк Отечественной войны А. Попов, сопоставляя донесения Ростопчина с сообщением английского генерала Вильсона императору Александру, также от 15 сентября, где говорится, что армия «изобилует хлебом, мясом, водкою» и что ее состояние прекрасно, приписывает характеристику, сделанную Ростопчиным, его личному раздражению. В это время Ростопчин, негодуя на Кутузова, всеми средствами старался очернить фельдмаршала, отмечая его нераспорядительность («он спит, ест, ничего не делает и столь равнодушно взирает на бедственное положение армии, что нимало не принимает мер для перемен оного»). Однако указание Попова лишь отчасти справедливо: оно показывает, что Ростопчин, попав в «оппозицию», не считал уже нужным прикрашивать действительность, как он это делал, когда был у власти. Показания Ростопчина совпадают с указаниями многих современников. Напр., 12 сентября Виллие указывает Аракчееву, что причина умножения больных в армии «недостаток хорошей пищи и теплой одежды» (злосчастные «летние панталоны»). То же говорит и переписка Александра I с Кутузовым по поводу дезертирства и т. д.

«Войска, кои делают грабеж, не могут быть храбры», — говорится, напр., в приказе Барклая 22 июня.

Приказ 22 авг. предписывает без пощады наказывать мародеров; 3 сент. предписывается расстреливать на месте всякого мародера, оказывающего сопротивление.

См. также мою статью «Русские под Данцигом». (Из дневников кн. Д.М. Волконского.) Напечатана в «Гол. Мин>, 1912, кн. 6.

Поводом послужили слова, сказанные будто бы Кутузовым Вильсону после сражения при Малоярославце: «Я нисколько не полагаю, чтобы совершенное истребление Наполеона и его войск было таким благодеянием для вселенной. Наследство его достанется не России»…

Часто они и по внешности даже не носят принципиальной подкладки, напр., когда Д.В. Давыдов жалуется, что все его «обходят» в наградах, тогда как ему принадлежит инициатива действий партизанов, он первый подал «прожект» по этому поводу. Когда, наконец, Ермолов порицает своего соперника гр. Толя, и т. д.

Чичагов вообще был большой поклонник революционной Франции (воспоминания Эделинг).

71

Возможность плана отступления была подсказана Александру I Бернадотом. Тот же план отстаивал ген. Пфуль.

По плану Пфуля.

Вот еще несколько черт для характеристики Багратиона, сообщаемых Ермоловым: «Неустрашим в сражении, равнодушен в опасности. Не всегда предприимчив, приступая к делу, решителен в продолжении его. Неутомим в трудах. Блюдет спокойствие подчиненных; в нужде требует полного употребления сил. Отличает достоинство, награждает соответственно. Нередко, однако же, преимущества на стороне тех, у кого сильные связи, могущественное у двора покровительство. Утонченной ловкости перед государем, увлекательно лестного обращения с приближенными к нему. Нравом кроток, несвоеобычлив, щедр до расточительности. Не скор на гаев, всегда готов на примирение. Не помнит зла, вечно помнит благодеяния…» Подчиненный, «почитая за счастье служить с ним, всегда боготворил его. Никто из начальников не давал менее чувствовать власть свою».

«Националисты» 1812 г. усердно распространяли такое мнение в общественных кругах. Любопытно привести отзыв по этому поводу современника, небезызвестного Греча: «Отказаться от участия иностранцев было то же, что по внушению патриотизма, не давать больному хины, потому что она растет не в России»… «Да и чем лифляндец Барклай менее русский, нежели грузин Багратион. Скажут: этот православный, но дело идет на войне не о происхождении Св. Духа».

«Русск. Арх», 1875, IX, 17.

А.Н. Попов («Русск. Арх>, 1875, X, 144), ссылаясь на письмо Кутузова к Ростопчину с просьбой «уверить всех московских жителей…, что еще не было ни одного сражения с передовыми войсками, где бы наши не одерживали поверхности, а что не доходило до главного сражения, то сие зависело от нас, главнокомандующих», говорит, что Кутузов не только не отделял себя от своих предшественников и не желал отклонить от себя те укоры, которыми их осыпало общественное мнение, но, покрывая своим значением все их действия, готов был принять на себя самого». Вряд ли с этим можно согласиться. Скорее Кутузов всегда отделял себя от своих предшественников. И если первые его обращения к войскам, выражавшие удивление, что с подобными молодцами можно отступать, следует, пожалуй, объяснить тактическим приемом возбуждения энергии в войсках, то отношение к Барклаю скорее следует объяснять желанием набросить «тень» на действия своего предшественника, как и указывает Ермолов.

Записки Ростопчина могут служить еще раз примером того, как впоследствии современники вольно или невольно изменили свои взгляды на людей и события. В «Записках» Ростопчин очень тепло отозвался о Барклае, признавал за ним все хорошие качества полководца и отдавал ему несомненное предпочтение перед Багратионом. «Барклай, — пишет Ростопчин, — был человек честный, благоразумный, методический… У него не было других забот, как сохранить армию… Он отличался необыкновенной храбростью и часто удивлял своим хладнокровием… Багратион, обладая многими дарованиями для того, чтобы быть хорошим генералом, был слишком необразован для того, чтобы быть главнокомандующим. Он очень хвастался тем, что был ученик и любимец Суворова. Он хотел непременно драться… и если бы он начальствовал войсками… может быть, погубил их…» А между тем в начале кампании 1812 г. Ростопчин совсем по-другому относился к деятельности Барклая; лучшим свидетельством является его письмо Александру 23 июля: «Москва и войска в отчаянии от бездействия и слабости военного министра, который совершенно подчинился Вольцогену. В главной квартире спят до десяти часов утра».

78

Напечатано в издании «Отечественная война и русское общество».

М. Евреинов. Память 1812 г. («Р. Арх», 1874,1).

Segur «Vie de Rostopchine». Александр не любил непрошеных советчиков, в числе которых, как мы знаем, пытался выступать с 1806 г. вождь русских «националистов» Ростопчин. Очень чутко относящийся к малейшим намекам на свое воцарение, Александр не забывал и фразы, дошедшей до него, будто бы сказанной Ростопчиным одной из своих родственниц: «Бог не может покровительствовать войскам плохого сына». Сказано это было по поводу неудачи под Аустерлицем. Между тем Александр весьма болезненно воспринимал свои военные неудачи.

81

В своей шуточной автобиографии «Жизнь Ростопчина, списанная с натуры в десять минут», довольно верно сам определил свое самодурство: «Я был упрям, как лошак, капризен, как кокетка, весел, как дитя, ленив, как сурок, деятелен, как Бонапарте; но все это — когда и как мне вздумается». И далее: «Голова моя была разрозненная библиотека, в которой никто не мог добиться толку, и ключ к которой был только у меня». Здесь Ростопчин, пожалуй, ошибался — ключа от головы не было и у него самого.

82

В эпоху французолюбия Ростопчина (в 1800 г. Р. был сторонником союза с Францией против Англии) придворные льстецы, как свидетельствует Чарторижский, также любили Ростопчина сравнивать с Наполеоном — это два человека современности.

83

«Мелкое ничтожество» — таков отзыв о Ростопчине кн. А.Б. Лобанова-Ростовского.

Для нас нет никакого сомнения в том, что Ростопчин не верил в ту фантастику, которую он создавал вокруг остававшегося в Москве кружка масонов. Надо лишь сопоставить различные этапы отношения Ростопчина к Новикову, Лабзину, Лопухину и др., чтобы отчетливо увидеть всю лживость ростопчинской натуры. См. в «Мелочах о Ростопчине».

85

Верещагинское дело наиболее полно изложено в «Бумагах, относящихся до Отечественной войны 1812 г>, изданных П. И Щукиным, ч. VI и VIII.

Возможно, впрочем, что это было действительно так, т.е. что он мог получить запрещенную газету через сына Ключарева. Так, по крайней мере, по словам свидетелей, сказал Верещагин отцу. Верещагин на допросе отвергал это, указывая, что он с сыном Ключарева даже не был знаком и что «сказал так единственно потому, чтобы тем сделать уверение в справедливости, опасаясь, что если скажет о сочинении оной им, то не только что ее не примут за справедливость, но получит еще наказание от отца». Верещагин показывал обер-полицмейстеру Ивашкину, что нашел газету, «шедши с Лубянки на Кузнецкий мост… против французских лавок».

Верещагин поступал благородно, принимая на себя всю ответственность и не желая замешивать никого в процесс. Этим благородством Ростопчин, руководивший следствием, воспользовался для усиления вины Верещагина. Запутанный на следствии, Верещагин 26 июня дает письменное показание, в котором он отрекается от прежнего показания; он показывает, «что не только не находил газетного листа, но даже нигде и ни от кого не получал такового, не видал и не переводил, а чувствуя поступок свой, противный закону, думал, не оправдает ли его такое несправедливое показание о найдении им будто бы газетного листа и о переводе с него». Следовательно, Верещагин сочинитель. Этим признанием и воспользовался Ростопчин.

Следствие выяснило, что Верещагин читал 17 июня своей мачехе бумагу, чтобы показать: «вот что пишет злодей французов». Рассказывал о ней и отцу. Затем — встретившись в кофейной с губернским секретарем Мешковым, рассказал и ему, но перевода не дал. А Мешков, интересуясь содержанием, пригласил его в гости и под винными парами выманил бумагу и списал. Отсюда пошли списки в публике. «Я сам видел их у многих моих чиновников в департаменте и списал для себя копии, — рассказывает Бестужев-Рюмин, — но, прочитав в «Московских Ведомостях» объявление графа Ростопчина и чтобы не подвергнуть себя неприятностям, сжег их у себя».

Приводим эти места в том виде, как они записаны Бестужевым-Рюминым. Уничтожив у себя списки, Бестужев «потом уже в 1814 г. списал их вновь из печатной русской книги».

Это прибавлено по предложению Ростопчина.

Впоследствии в том же Ростопчин заподозрил и черниговского архиепископа Михаила. См. письмо от 8 ноября.

91

Ростопчин интриговал против него уже давно. «Москва» сделала Сперанского козлом отпущения за проектируемые в Отечественную войну налоги. В своих записках Сперанский в значительной степени Ростопчину приписывает причину своей опалы: «лучший из государей дал себя опутать внушениям знаменитого проходимца».

92

Из бумаг Московского губернского архива старых дел.

93

Москва, 1812 г., «Р. Арх», 1875 г.

Любопытно, что в Нижнем, по предписанию Ростопчина, высланные со держатся в остроге.

95

Обращение не соответствовало действительности, ибо «из сорока арестованных четвертая часть были немцы из разных германских земель… которые все, разделяя национальную вражду того времени, обнаруживали антипатию к нам», — замечает Домерг. В этом и заключалась «нелепость» ростопчинской меры. Глинка в своих воспоминаниях ошибочно говорит о высылке из Москвы «некоторых уроженцев Франции на барке в струи волжские».

96

Цитирую по переводу Попова («Р. Арх>, 1875, X, 135). В французском тексте и в переводе «Ист. Вест.» нет выражения «mauvais sujets».

97

Харон по поздней греческой мифологии перевозил в своей барке души умерших через реку Ахерон в царство мертвых.

Бестужев-Рюмин этот случай относит к 30 августа.

Еще в июле он гордо говорил Хомутовой: «Поверьте мне, пока я главнокомандующий в Москве, не отдам ключей Наполеону».

И позже, по оставлении Москвы, когда Глинка предложил Ростопчину вооружить охотничьи дружины, последний, как рассказывает в своих записках Глинка, ответил: «Мы еще не знаем, как повернется русский народ. Мое дело выпроводить теперь дворян из уездов московских». А ведь «расположение народа» заставляло Ростопчина все время «плакать от радости».

101

См. ниже.

Толычев. Рассказы очевидцев о 1812 г.

103

Говорят, что за донос на него Ростопчин уплатил будто бы 1000 руб.

104

Рунич говорит, что эта толпа явилась, чтобы под начальством ростопчинским отправиться на неприятельское войско. Другой современник (В.И. Сафонович) ставит появление ее в связь с шаром Леппиха. В конце концов подоплека одна и та же.

105

Непосредственным очевидцем убийства Верещагина пришлось быть, между прочим, известному художнику Тончи, женатому на кн. Гагариной и бывшему «другом» Ростопчина. Тончи в последние дни жил в доме Ростопчина. «Страшное убийство Верещагина», по словам Рунича, произвело на него такое впечатление, что он «сошел с ума». Отправленный во Владимир, он дорогой убежал в лес, а затем покушался на самоубийство. Во Владимире, находясь на попечении у брата Рунича, бывшего директором канцелярии Ростопчина, Тончи воображал, что «Ростопчин держит его под надзором, чтобы сделать вторым Верещагиным». А.Я. Булгаков объяснил по-другому сумасшествие Тончи. Его потрясло «вторжение французов». «Его преследовала несчастная мысль, что, подозреваемый в шпионстве, предательстве и неблагорасположении к французам, он сделается первой жертвой Наполеона». Ростопчин дал еще иное объяснение в своей беседе с князем А.А. Шаховским: «Ужас быть убитым крестьянами, а, может быть, и слугами своими, распалил пламенное воображение и загнал его в лес». То, что рассказывает более осведомленный брат Д.П. Рунича, и само по себе более правдоподобно.

Говоря о расправе Ростопчина с Верещагиным и примыкая здесь к выводам автора статьи о верещагинском деле в «Щукинском сборнике», автор новейшей работы о Ростопчине, А.А. Кизеветтер, не согласен с теми, которые считают, что расправа эта была вызвана в значительной степени страхом перед толпой.

Не анализируя этого мнения и не опровергая фактической стороны, автор считает необходимым лишь отметить два обстоятельства: 1) Ростопчин сначала смотрел на толпу с балкона и потом вышел говорить с ней на крыльцо, что указывает на то, что он толпы не боялся, и 2) настроение толпы вовсе и не было страшно. Мутона она не тронула, а Верещагина начала терзать по призыву Ростопчина.

В эти категорические суждения следовало бы ввести ряд фактических поправок — и прежде всего в изложение обстоятельств появления Ростопчина перед толпой в том именно духе, как изложено оно в настоящей статье. Затем все почти современники (и те, кто были очевидцами) свидетельствуют, что настроение толпы, явившейся на генерал-губернаторский двор с требованием, чтобы Ростопчин, согласно своему обещанию, вел народ на Три Горы, было очень враждебно п о отношениюк Ростопчину. На эти показания современников, находящиеся в полном соответствии со всей реальной обстановкой момента, А.А. Кизеветтер и не обратил внимания.

107

Близкие Ростопчину люди передавали Свербееву, что в Париже Ростопчин «мучился угрызениями совести, что юный Верещагин по ночам являлся ему в сонных видениях».

И напрасно сын Ростопчина, благодаря кн. Вяземского за защиту отца в письме к издателю «Рус. Арх.» (1869, 935), пытался исправить «ошибку, допущенную реабилитатором. «Верещагин,— утверждал он,— был приговорен к смертной казни, и, без всякого сомнения, приговор этот получил бы надлежащее исполнение, если бы не был предупрежден народною расправок»… Призрак Верещагина будет вечно стоять над памятью Ростопчина.

109

Заметка Свербеева была написана для «Русского Архива» по поводу «Мелочей из запаса моей памяти* М.А. Димитриева.

Так казалось впоследствии инекоторым современникам, близким к Ростопчину по своим политическим настроениям. Не любивший Ростопчина Рунич в таких словах охарактеризовывает его значение: «Ростопчин, действуя страхом, выгнал (I) из Москвы дворянство, купцов и разночинцев для того, чтобы они не поддались соблазнам и внушениям наполеоновской тактики. Он разжег народную ненависть теми ужасами, которые он приписывал иностранцам, которых он в то же время осмеивал. — Он спас Россию от ига Наполеона». В таком же духе оценивает Ростопчина — «Юпитера-громовержца» и Вигель: «Если вспомнить, что Москва имела тогда сильное влияние на внутренние провинции и что пример ее действовал на все государство, то надобно признаться, что заслуги его в сем году суть бессмертные».

111

См. ниже «Патриотические настроения в 1812 г».

112

Вывезены были лишь ночью 1 сентября по предписанию Ростопчина викарию московскому Августину иконы: Владимирской, Иверской и Смоленской Богоматери под предлогом, что войска хотят молиться. Это было сделано для того, чтобы «народ ночью сего не приметил».

По поводу этой деятельности Ростопчина, в частности, по поводу прокламаций, выпускаемых во Владимире, другой постоянный корреспондент Воронцова, очень сочувственно относящийся к Ростопчину, писал 17 октября: «Не скрою, что тон и слог не приличествуют его сану. Прокламации подобного рода теперь особенно не у места. Вообще он слишком любит ремесло писаки». Следовательно, тут уже и друзья недооценивали великого мужа.

114

См. статью С. Мелыунова «На войне 1812 г».

115

Напечатано в издании «Отечественная война».

«Бумаги 1812 г>, П.И. Щукина.

117

И вознаграждены, как свидетельствует дочь Ростопчина, Нарышкина, именно за поджог. См. в заметке «Еще о Ростопчине».

Источником этих слухов отчасти были иностранцы, оставшиеся в Москве и, конечно, недостаточно осведомленные о предприятии Леппиха. Вот что говорит, напр., в своих воспоминаниях аббат Серюп на даче Репнина «оп се fabriquaient des pieces de feux artificiels, des fusees a la Congreve et d'autres Instruments, destines a Г execution du grand projet» («Les Francais a Moscou». Relation Inedite publiee par le Libercier. Moscou, 1911).

Ростопчин в позднейших своих объяснениях по этому поводу писал: «Один французский медик, стоявший в моем доме, сказывал мне, что нашли в одной печи несколько ружейных патронов… они могли быть положены после моего выезда, чтобы через то подать еще более повода думать, что я имел намерение сжечь Москву. Равномерно и ракеты… могли быть взяты в частных заведениях» («Правда о пожаре Москвы»).

120

Щербинин передает со слов Шафонского, директора канцелярии кн. Д.В. Го-лицина, преемника Ростопчина, что именно в этих целях, т.е. поджога Москвы, были выпущены Ростопчиным арестанты.

121

Своим упрямством Ростопчин весьма гордился и вырезал даже на печати карманных часов фразу Павла I про него: «Ты прям, да упрям».

122

В статье о Ростопчине, помещенной в сборнике «Исторические очерки», А.А. Кизеветтер, присоединяясь к выводам одного из наиболее авторитетных в свое время историков Отечественной войны, Попова, считает невозможным даже говорить об участии Р. в московском пожаре.

Приводя «новое документальное указание», обнародованное в 1912 г., А.А. Кизеветтер полагает, что оно «должно устранить всякие дальнейшие споры по этому вопросу».

Приходится признать, что у А.А. Кизеветтера заключается здесь просто недоразумение. Говоря о «новом документальном указании», автор имеет в виду письмо Р. к жене (11 сент.), помещенное в отрывке биографии Р., составленной его дочерью Наталией, который был напечатан в «Трудах Яросл. Арх. Ком.» (1912г. вып. 111). Ростопчин указывает в нем, что его «мысль поджечь город была бы полезной до вступления злодея», т.е. Наполеона, но вследствие обмана со стороны Кутузова осуществлять ее «было уже поздно». В сущности, это «новое документальное указание» уже достаточно старо, ибо цитированное письмо находится в серии писем Р. к жене, опубликованных в 1901 г. в «Русском Архиве» (кн. VIII, с. 472). Очевидно, эти материалы вообще ускользнули от внимания А.А. Кизеветтера, а между тем в других письмах (9 сент. и 1 сент.) Р. в таких же интимных признаниях жене (эту интимность А.А.К. считает особенно важной) говорит, что он «хорошо знал, что пожар неизбежен» (9 сент.), «я убежден, что он (т.е. город) сгорит (1 сентября)». Воспоминания Н.Ф. Нарышкиной, отрывок из которых цитирует по «Трудам Яр. Арх. Ком.» А.А. Кизеветтер, имеются в отдельном издании на французском языке (Le comte Rostopchine et son temps). Надо сказать, что источник этот весьма мутен (см. «Родственники о Ростопчине»). Но если к нему и обращаются, то как раз здесь можно найти весьма определенные и действительно новые указания, противоречащие мнению А.А. Кизеветтера.

123

«Ешшуб cГentendre debiter la тёте fable, je vaib faire parler la verite qui seule doit dieter l'histoire».

Неопределенное оправдание Ростопчина производило весьма различные впечатления на читателей брошюры: для Свербеева это полное отрицание, а, по мнению Рунича, Ростопчин в этой брошюре «захотел, как ворона, одеться в павлиные перья, приписывал лично себе дело, за которое он подлежал бы ответственности перед судом разума и совести, если бы он сделал его без монаршего приказания, по собственному усмотрению». Издатель «Русского Архива» П.И. Бартенев считал, что Ростопчин «отрицает только последовательные и преднамеренные правительственные действия».

125

«Голос Минувшего». 1915 г.

Ее книга «Семейная хроника» переведена на русский язык. Гр. Л.А. Ростопчина умерла в июле 1915 г.

127

Издание, по-видимому, выпущено родственниками, так как отрывки из него были напечатаны гр. В.А. Татищевой (рожд. Нарышкиной) в 1912 г. в «Трудах Яросл. Архив. Комиссии», Кн. III, вып. 3, с оговоркой, что в полном виде записки Н.Ф. Нарышкиной появятся на французском языке. Это издание и появилось, при чем указанные переведенные отрывки в значительной степени не совпадают с изданным подлинником.

«Голос Минувшего».

129

Напечатано: «Отечественная Война и Русское Общество».

130

Вошла в сборник А.А. Кизеветтера «Исторические Отклики».

Кстати, нам кажется, что не это было действительной причиной «опалы» Мало ли от кого общество отворачивалось в «нравственной брезгливости»; с этим мало считались у нас во все времена. Причина опалы крылась в том, что Ростопчин не нужен был более Александру, тем более что дворянское общество, восхвалявшее в 1812 г. подвиги Ростопчина, очень быстро отрезвилось от своего патриотического угара и стало поносить Ростопчина, считая, что он виновник убытков, понесенных во время московских пожаров.

«Голос Минувшего».

133

Напечатано в издании «Отечественная война и русское общество». Там статья эта была как бы вводной частью к заключительному очерку «Правительство и общество после войны» (помещена ниже). В отдельном издании казалось более логичным поместить эту часть в виде заключения к очеркам, посвященным 1812 г.; тем более что в ней характеризуется, хотя и бегло, последний этап деятельности Ростопчина.

Жизнь военная и политические деяния Кутузова-Смоленского. Спб. 1813.

135

Письмо к Воронцову 28 апреля 1814 г.

«Вест. Евр*. 1867, кн. 2,197.

Так выражался впоследствии Казимирский в письмах к кн. Оболенскому 3 сентября 1859 г.

138

См., напр., «О пожертвованиях на ярославское ополчение». Щукинский сборник, — VII.

139

«Конечно, всякий старался соблюсти свои выгоды, — замечает Свербе-ев, — «отдавались люди пожилых лет, не отличного поведения и с телесными недостатками, допускаемыми, как исключения, для этого времени в самых правилах о наборе ополченцев».

140

Бумаги по «Отеч. Войне» Щукина. III.

141

Муравьев думает, что Лунин это делает «не из любви к отечеству, а с целью приобрести историческую известность». Зная прямоту Лунина, вряд ли приходится, однако, сомневаться в его искреннем энтузиазме.

См. также вышеприведенные отзывы Рунича и Вигеля в очерке о Ростопчине.

Любопытно, что совершенно аналогичное явление мы, современники второй «великой европейской войны», наблюдали через 100 лет. Так устойчива, в сущности, общественная психология.

144

Из записок Макарова «0 времени обедов, ужинов и съездов в Москве». Бум. Щук., т. II.

145

Письмо 19 янв. 1814 г.

Было обнаружено 21 русских и 37 иностранцев.

147

Насчитано 17.

Вероятно — Поспелов; см. дальше.

149

«Вольнодумец», тит. совета. Поспелов был посажен в «железе», других отдавали в солдаты.

Волкова знала это от своего двоюродного брата, служившего в московской полиции и отказавшегося от своей доли, равно как московский комендант Спиридонов и Б.А. Голицын.

151

Любопытно, что других грабителей Ростопчин наказывал весьма строго: напр., дворовый помещика Власова был прогнан 3 раза шпицрутенами через 1000 человек.

152

Напр., в своей критике русской армии после оставления Москвы. См. выше «Вожди русской армии».

153

Так выражался Жозеф де Местр в своем донесении 2 июня 1813 г.

Правда, как только в Москву приходит известие о ста днях, здесь сейчас же приостанавливаются с новыми постройками, — таков был страх перед «счастливой звездой» Наполеона.

Интересно сопоставить это свидетельство с показанием современника, которому в 1812 г. было поручено «бывать в обществе и опровергать нелепые слухи и клеветы» на императора («Рус. Арх», 1887, II): «Дворянство громко винило Александра в государственном бедствии (оставление Москвы), так что в разговорах редко кто решался его извинять и оправдывать».

Каховский в письме к Николаю.

Эти экскурсы были в моде в эпоху наполеоновского нашествия, при содействии их Наполеон превращался в апокалипсического ангела бед — Аполлиона и т. д. (напр., у свящ. Левитского).

Между «мистиками» происходит своего рода соревнование во влиянии на Александра: противниками Крюденер приводится специально для откровения Александру ясновидица Мария Кумер.

159

Ее единственная заслуга в этой области, кажется, заключается в том. что, по мнению историков литературы, роман Крюденер «Valerie» (1803) оказал влияние на содержание первоначального замысла «Дедов» Мицкевича.

Мало того: Грабянка — глава мистического кружка «Новый Израиль» — был даже посажен в крепость, где и умер.

161

У него к тому же перед этим был еще апоплексический удар.

Правда, официальным расследованиям вообще не приходится давать большой веры, но и решительно нет никаких оснований видеть в Дубовицком какого-то религиозного оригинального мыслителя.

Так свидетельствует Бебер в своих «Заметках о масонстве в России».

Бебер был противником розенкрейцеров, которых он в свою очередь зачислял в среду мартинистов.

165

К этому времени относит эту записку А.Н. Пыпин.

Терпимой была признана основная ложа «Владимира к порядку» (мастером стула ее был Бебер), в управлении у которой находилось три ложи. В них числилось 114 человек, среди которых были семеновские и Преображенские офицеры.

Не все одобряли такую правительственную политику. Напр., Дибич, указывавший, что пропаганда масонства подрывает уважение к собственности.

За что Фесслер и был отнесен старыми масонами к числу «иллюминаторов», т.е. революционеров с точки зрения правоверного розенкрейцерства.

В последней против обрядности выступал проф. Шимкевич, член одной из литовских лож.

Этот союз, как упрощенный, привлек наибольшее число: в то время как, по исчислению В.И. Семевского, в «Великой провинциальной ложе» числилось пять лож при 397 членах; в Астрее в 1817 г. было 12 лож при 910 членах. В1818 г. «Астрея» насчитывает уже 24 ложи, 1300 человек, из коих 882 приходятся на Петербург.

171

См. статью С. Мельгунова «Один из русских розенкрейцеров».

К таким же положительным явлениям, конечно, следует отнести, напр., ранние протесты Лопухина против смертной казни и против употребления пыток.

Ложей называлось и самое учреждение и заседание.

Нельзя не припомнить по этому поводу проделку С. Т. Аксакова, который в юности написал, по его собственному выражению, «бессмыслицу и галиматью», подделавшись под тон Эккартстгаузена, Штиллинга и Лабзина. Ему совершенно удалось одурачить своих друзей-мистиков, восторгавшихся глубокомыслием этой «галиматьи*.

175

См. главу «Александр I».

Все подобные факты собраны с исчерпывающей полнотой у В. И. Семевского: «Политические и общественные идеи декабристов».

177

Ближайшим помощником Голицына явился т. с. Попов — один из наиболее рьяных, как мы видели, членов татариновского кружка; другим был А.И. Тургенев.

Это учреждение возникло в то время для рассмотрения книг, с целью водворения в обществе «постоянного и спасительного согласия между верою, ведением и властью».

179

«Священный союз, — писал Рунич в своих воспоминаниях» — был современным замыслом прекрасной души Александра. Это была божественная поэзия, которую профаны не могли оценить».

Характерный образец крепостнической психологии можно найти в ответе Дм. Мамонова 23 февраля 1825 г. по поводу проекта учреждения над ним опеки. Он заявляет кн. Д. В. Голицыну, что поиному «как палками и плетьми и сажанием в холодную и кандалы» своих крепостных не наказывает, что и впредь не перестанет наказывать, ибо это право «неразрывно сопряжено с политическим и частным домостроительством Российского Государства*.

«Я исповедую, — добавлял Мамонов, — и это политическое правило, что правительство не может нас лишить сего права без общего и нарочитого нашего согласия». В то же время Мамонов считает «подлостью» жаловаться на своего «раба» в полицию. Это нарушает патриархальные начала.

181

«Военные поселения» существовали еще в XVII в., — говорит полковник А.С. Лыкошин, — для защиты пограничных областей от набегов кочевников на южных и восточных окраинах России. В XVIII в. были организованы военные поселения во внутренних губерниях из нижних чинов, уволенных в отставку за ранами, болезнями и старостью (Лыкошин, «Военные поселения», во II т. «Великой Реформы»). Но едва ли военные поселения александровского времени имели даже по идее что-либо общее с поселениями на сторожевых постах XVII в. Сам Александр видел начало военных поселений у римлян.

Общие правила получили утверждение лишь 23 мая 1820 г.

Все эти правила, доклады и т. д. приведены в приложениях к очерку А.Н. Петрова «Исторический обзор устройства и управления военных поселений» в книге, изданной «Русской Стариной» в 1877 г. «Гр. Аракчеев и военные поселения».

Капиталы эти Аракчеев в 1823 г. исчислял в 17 639 392 р.; А.С. Лыкошин исчисляет эти капиталы к концу царствования Александра в 32 мил…

185

Трех или четырех, а наиболее достаточные хозяева 7–9.

Это, право, с «непривычки», по мнению Аракчеева; или из «упрямства», по мнению Александра.

187

При Новгородском бунте 1831 г. было осуждено до 3000 человек, из которых 7 % умерло под кнутом во время экзекуции.

Одним из «мистиков» в среде православного духовенства был и балтовский (Подольской губ.) священник Феодосии Левицкий, сочинения которого изданы были Л.К. Бродским в 1911 г. Этот искренний, но далеко не оригинальный проповедник, видевший в «ужасном вольнодумстве Запада» проявление духа антихриста и усматривавший, что России предназначено сделаться лоном царства Божия, которое начнет осуществляться под мощною десницею «ангела» — императора Александра I (о чем и было им представлено особое пророчество), был за свою проповедь по поводу петербургского наводнения в 1824 г. отправлен под конвоем двух фельдъегерей в Коневский монастырь для усмирения. Его проповедь очень характерна для определения ценности мистицизма. «Страшное оное наводнение, — говорил Левицкий, — не простое и не слепое натуры действие было, но собственно удар праведного суда Божия, воздающего нам по делам нашим, как сие неоднократно мною же, убогим рабом Его, весьма чувствительно в сем храме предвозвещено и самому правительству представлено, но, к несчастью, вместо плодов покаяния и благого исправления, какие торжественно Богу обещаны были, явились в сем граде плоды совсем противные».

189

Любопытно, что аббат Жоржель, приезжавший в Россию при Павле, обвинял самого Ростопчина в сношениях с иллюминатами. Действительно, полная неразбериха.

Паулуччи в тех же кознях заподозревал и бар. Крюденер, и Александру приходилось в 1818 г. убеждать в противном своего подозрительного администратора: «Pourquoi avoir trouble la tranquilite d'etres, qui ne s'occupent, que de prieres ë l'Eternel et qui ne font de mal e personne». Но оказалось, что политическая пифия эпохи Священного союза занималась не только небесным и божественным, и Александр сам удалил ее из Петербурга.

Ярким образцом этой реакционной оценки масонства может служить позднейший донос Магницкого об иллюминатах, поданный в 1831 г. Николаю I. Масоны — это агенты «для разрушения не только алтарей и тронов, но и всех правительств, какого рода они ни были и даже оснований всякого гражданства и образованности». Итак, цель ордена иллюминатов: освобождение народов от государей, дворянства и духовенства. Магницкий далее поясняет название иллюминатов-мартинистов; последние тождественны масонам. С их деятельностью несовместима любовь к отечеству. С дьявольской хитростью, в целях пропаганды, они всех друзей трона выдают за иезуитов… Около масонства объединены заговорщики «берлинские, сенские, веймарские, готские, эрфуртские, брауншвейгские и шлезвигские»… Все данные общества зависят от всемирного братства иллюминатов и т. д.

То же Ермолов говорил и Фонвизину: «Он (Александр) вас так боится».

Он также был деятельный до времени член библейских обществ и на заседаниях произносил громовые речи против вольнодумства и неверия, пробуждающих «самовольство, непокорение власти, Самим Богом для блага обществ установленной». Все это от «врага рода человеческого» — сатаны.

Чуть ли не все современники называют Аракчеева «злодеем», даже «самые преданные государю люди», напр., кн. П.М. Волконский и др. Они «открыто», по словам Завалишина, толковали о необходимости положить конец влиянию Аракчеева. Но не следует слишком полагаться на этих «царедворцев», завидовавших Аракчееву и тем не менее раболепствовавших перед временщиком и считавших, по словам декабриста Булатова, «за счастье целовать руки любимицы графа», т. е. Анастасии Минкиной. Образцом раболепия перед временщиком может служить герой 1812 г. гр. Милорадович. «О нем, — писал С.Н. Глинка, — можно сказать Корнелиевым выражением: «В Риме не было уже Рима». Он облек себя личиною лести. Раболепствовал перед Аракчеевым, толкаясь иногда по получасу в его приемной. И при появлении самого гр. Аракчеева гр. Милорадович изгибался в три погибели».

195

Эту характеристику уместно применить по отношению к самому Руничу.

Потрясена была «вера» всеми лжеумствованиями о так называемой внутренней церкви, т. е. никакой. Подобно Шишкову оценивал декабрьские события и обывательский мир: после 1825 г. тамбовские мещане писали царю Николаю: «Мы за тебя, государь, стояли, хотим истребить масонов».